



**ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ**

**СЕРИЯ:
СОЦИОЛОГИЯ**

2019 Том 19 № 1

**Научный журнал
Издается с 2001 г.**

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-61214 от 30.03.2015 г.
Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

**RUDN JOURNAL
OF SOCIOLOGY**

2019 Volume 19 No. 1

**Founded in 2001
by the Peoples' Friendship University of Russia**

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 выпуска в год.

Языки: русский, английский.

Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.

Публикует статьи по научным специальностям согласно номенклатуре ВАК РФ: 22.00.00 — социологические науки и 09.00.11 — социальная философия. Журнал включен в ядро РИНЦ, Scopus, ERICH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Google Scholar, WorldCat, Electronic Journals Library Cyberleninka. Журнал индексируется в базе данных Web of Science — Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics). Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 20826.

Цели и тематика

Журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология» — периодическое международное рецензируемое научное издание в области социологических исследований. Журнал является международным как по составу редакционной коллегии и экспертного совета, так и по авторам и тематике публикаций.

Цели журнала: публикация результатов фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным вопросам социологической науки, широкий обмен результатами теоретических и эмпирических исследований между специалистами, работающими в различных областях социально-гуманитарного знания. На страницах журнала публикуются материалы по историографии мировой социальной мысли как классического, так и современного периода; статьи по результатам фундаментальных и прикладных исследований по проблематике специальных социологических теорий, по методологии и методике социологических исследований и др. В журнале выступают специалисты, представляющие ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также вузы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность публиковаться в нем представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные. Кроме научных статей публикуется хроника научной жизни, включающая рецензии, научные обзоры, информацию о конференциях, научных проектах.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе *COPE (Committee on Publication Ethics)* <http://publicationethics.org>.

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования к подготовке и публикации статей, архив (полнотекстовые выпуски с 2008 года) и дополнительная информация размещены на сайте: <http://journals.rudn.ru/sociology>.

Электронный адрес: socjournalrudn@rudn.university.

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 issues per year.

Languages: Russian, English.

Indexed/abstracted in Scopus, ERICH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Google Scholar, WorldCat, Electronic Journals Library Cyberleninka. The journal is indexed and abstracted in the Web of Science — Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics).

Aims and Scope

Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia (RUDN Journal of Sociology) is a peer-reviewed international academic journal publishing research in sociology and related fields. It is international with regard to its editorial board, contributing authors and thematic foci of the publications.

The aims of the journal: to publish the results of fundamental and applied research on the topical issues of sociology, and to ensure a broad exchange of the results of theoretical and empirical studies between scientists from different fields of social sciences and humanities. In the journal one can find papers on the historiography of the classical and modern periods of the world social thought; on the results of fundamental and applied research devoted to the problems considered by special sociological theories; on the difficulties in choosing methodological approaches and techniques for the study of complex social phenomena, etc. The journal publishes papers of the authors representing the leading sociological centers, institutes, organizations, and universities in Russia and abroad. The thematic 'repertoire' of the journal presents opportunities for authors from many disciplinary fields (political scientists, historians, economists, etc.) relying on the empirical sociological data in their research. The journal also welcomes book reviews, literature overviews, and conference reports.

The journal is published in accordance with the policies of *COPE (Committee on Publication Ethics)* <http://publicationethics.org>.

Further information regarding the journal, its editorial board, requirements to articles for contributors, and the journal's archive (full-text issues from 2008) and additional information are available at <http://journals.rudn.ru/sociology>.

E-mail: socjournalrudn@rudn.university.

Подписано в печать 08.02.2019. Выход в свет 15.02.2019. Формат 70×100/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. печ. л. 20,93. Тираж 500 экз. Заказ № 8. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ИПК РУДН: 115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, 3

Printed at the RUDN Publishing House: 3, Ordzhonikidze str., 115419 Moscow, Russia,

+7 (495) 952-04-41; E-mail: ipk@rudn.university

© Российский университет дружбы народов, 2019

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ПОЧЕТНЫЙ РЕДАКТОР

Херпфер К., доктор политологии, профессор университета Вены; директор Института сравнительных социальных исследований «Евразийский Барометр»; президент Исследовательской ассоциации «Всемирное исследование ценностей», Австрия. E-mail: c.w.haerpfel@gmail.com

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Нарбут Н.П., доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии РУДН, Россия. E-mail: narbut_np@rudn.university

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Троцук И.В., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии РУДН, Россия. E-mail: trotsuk_iv@rudn.university

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Бакиров В.С., доктор социологических наук, профессор, ректор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, академик НАН Украины, президент Украинской социологической ассоциации (Украина)

Гаспаривили А.Т., кандидат философских наук, доцент, заместитель директора Центра стратегии развития образования МГУ им. М.В. Ломоносова

Голенкова З.Т., доктор философских наук, профессор, руководитель Центра исследований социальной структуры и социального расслоения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН

Гориков М.К., академик РАН, доктор философских наук, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН

Диас Николас Х., доктор политологии, профессор факультета политических наук и социологии Мадридского университета Комплутенсе (Испания)

Иванов В.Н., член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, советник РАН

Куропятник М.С., доктор социологических наук, профессор кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета

Назарова И.Б., доктор экономических наук, директор Аналитического центра Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Пан Д., доктор социологических наук, профессор Института социологии Шанхайской академии общественных наук (КНР)

Подвойский Д.Г., кандидат философских наук, доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Пузанова Ж.В., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, заведующая социологической лабораторией факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Ротман Д.Г., доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (Белоруссия)

Хагендорн Л., доктор философии (социальная психология), почетный профессор Утрехтского университета (Нидерланды)

Хазуров Т.А., доктор социологических наук, профессор, первый проректор Кубанского государственного университета

Чамбаликова М., доктор философии (социология), профессор, научный сотрудник Института социологии Словацкой академии наук, заведующая кафедрой социологии и социальной психологии высшей школы Данубиуса (Словакия)

Шафранец К., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии образования и молодежи Института социологии Университета Николая Коперника в Торуне (Польша)

Шнайдер С., доктор философии (социология), профессор Федерального университета Рио Гранде-ду Суль (Бразилия)

Шубрт И., доктор философии (социология), профессор, заведующий кафедрой исторической социологии факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия)

Шуакович У., доктор социологических наук, профессор кафедры философии и социальных наук, Белградский университет (Сербия)

Литературный редактор *К.В. Зенкин*
Компьютерная верстка *Е.П. Довголевская*

Адрес редакции:

115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3
Тел.: (495) 955-07-16; e-mail: ipk@rudn.university

Почтовый адрес редакции:

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2
Тел.: (495) 434-20-12, e-mail: socjournalrudn@rudn.university

EDITORIAL BOARD

HONORARY EDITOR

Haerpfer C., D.Sc (Political Sciences), Professor, University of Vienna; Director, Institute for Comparative Survey Research “Eurasia Barometer”; President, World Values Survey Association, Austria. E-mail: c.w.haerpfer@gmail.com

EDITOR-IN-CHIEF

Narbut N.P., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociology Chair, RUDN University, Moscow, Russia. E-mail: narbut_np@rudn.university

EXECUTIVE SECRETARY

Trotsuk I.V., D.Sc (Sociology), Professor, Sociology Chair, RUDN University, Moscow, Russia. E-mail: trotsuk_iv@rudn.university

EDITORIAL BOARD

Bakirov V.S., D.Sc (Sociology), Professor, Rector of V.N. Karazin Kharkiv National University, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, President of Ukrainian Sociological Association (Ukraine)

Gasparishvili A.T., PhD in Philosophy, Associate Professor, Deputy Director, Center for Educational Development, Lomonosov Moscow State University (Russia)

Golenkova Z.T., D.Sc (Philosophy), Professor, Head of Center for Social Structure and Social Differentiation, Federal Sociological Research Center of Russian Academy of Sciences (Russia)

Gorshkov M.K., D.Sc (Philosophy), Academician of Russian Academy of Sciences, Head of Federal Sociological Research Center of Russian Academy of Sciences (Russia)

Hagendoorn L., D.Sc (Social Psychology), Professor Emeritus of Utrecht University (Netherlands)

Díez Nicolás J., D.Sc (Political Sciences), Professor of School of Political Sciences and Sociology, Complutense University of Madrid (Spain)

Ivanov V.N., Corresponding Member and Advisor of Russian Academy of Sciences, D.Sc (Philosophy), Professor (Russia)

Khagurov T.A., D.Sc (Sociology), Professor, First Vice-Rector of Kuban State University (Russia)

Kurovjatnik M.S., D.Sc (Sociology), Professor of Chair of Cultural Anthropology and Ethnic Sociology, Saint Petersburg State University (Russia)

Nazarova I.B., D.Sc (Economics), Head of Analytical Center, National Research University “Higher School of Economics” (Russia)

Pan D., D.Sc (Sociology), Professor of Sociology Institute of Shanghai Academy of Social Sciences (China)

Podvoyskiy D.G., PhD in Philosophy, Associate Professor, Sociology Chair, RUDN University (Russia)

Puzanova Zh.V., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociological Laboratory, RUDN University (Russia)

Rotman D.G., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Center for Sociological and Political Research, Belorussian State University (Belorussia)

Schneider S., D.Sc (Sociology), Professor of Sociology of Rural Development and Food Studies, Federal University of Rio Grande do Sul (Brazil)

Szafrańiec K., D.Sc (Sociology), Professor, Chair of Sociology of Education and Youth, Institute of Sociology of Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)

Čambáliková M., PhD in Sociology, Professor, Researcher at Institute of Sociology of Slovak Academy of Sciences, Head of Sociology and Social Psychology Chair, Higher School Danubius (Slovakia)

Šubrt J., PhD (Sociology), Professor, Head of Historical Sociology Chair, Charles University (Czech Republic)

Šuvaković U., D.Sc (Sociology), Professor, Department of Philosophy and Social Sciences, University of Belgrade (Serbia)

Review Editor *Konstantin V. Zenkin*

Computer design *Ekaterina P. Dovgolevskaya*

Editorial office:

Postal Address of the Editorial Board:

10/2 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russian Federation

Ph. +7 (495) 434-20-12; e-mail: socjournalrudn@rudn.university

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО:

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

- Темнова Л.В., Файман Н.С.** Профессиональные деформации в социономических профессиях 7
- Цвык А.В., Цвык Г.И.** Китайская концепция прав человека и ее международное продвижение (на англ. яз.) 20
- Аберра Дегефа.** Генеральный план развития Аддис-Абебы: программа развития или этнической чистки? (на англ. яз.) 31

МАССОВЫЕ ОПРОСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КЕЙС-СТАДИ

- Булатова Т.А., Глухов А.П.** Факторы привлечения образовательных мигрантов (на примере сибирских вузов) 40
- Бурак Т.В.** Взаимные образы Польши и Беларуси в структуре тревел-фото 53
- Русакowa М.М.** Адаптация и погружение в жизненных траекториях женщин, вовлеченных в проституцию 71

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

- Жакупбекова Д.А.** Дихотомия род—государство в концептуализации номадизма 81
- Попов П.М., Капишин А.Е.** Низший социальный класс в традиционных и модернистских обществах 94
- Добринская Д.Е., Мартыненко Т.С.** Перспективы российского информационного общества: уровни цифрового разрыва 108
- Василькова В.В., Легостаева Н.И.** Социальные боты в политической коммуникации 121
- Кученкова А.В.** Прекаризация занятости: к методологии и методам измерения 134
- Ипатова А.А., Рогозин Д.М.** Способы преодоления коммуникативных затруднений в стандартизированном телефонном интервью 144

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

- Нарбут Н.П.** Десятилетний юбилей исторической социологии в Праге: новое перспективное направление чешской социологии (на англ. яз.) 167

- НАШИ АВТОРЫ** 175

CONTENTS

CONTEMPORARY SOCIETY:

THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

- Temnova L.V., Faiman N.S.** Professional deformations in socionic professions 7
- Tsvyk A.V., Tsvyk G.I.** China's human rights concept and its international promotion 20
- Aberra D.** Addis Ababa master development plan: A program for development or for ethnic cleansing? 31

SURVEYS, EXPERIMENTS, CASE STUDIES

- Bulatowa T.A., Glukhov A.P.** Factors for attracting educational migrants (on the example of Siberian universities) 40
- Burak T.V.** Mutual images of Poland and Belarus in the travel photo structure ... 53
- Rusakova M.M.** Adaptation and immersion in the life trajectories of women engaged in prostitution 71

SOCIOLOGICAL LECTURES

- Zhakupbekova D.A.** Dichotomy genus—state in the conceptualization of nomadism 81
- Popov M.Yu., Kapishin A.E.** Lower social class in traditional and modern societies 94
- Dobrinskaya D.E., Martynenko T.S.** Perspectives of the Russian information society: Digital divide levels 108
- Vasilkova V.V., Legostaeva N.I.** Social bots in political communication 121
- Kuchenkova A.V.** Precarious employment: Methodology of measurement 134
- Ipatova A.A., Rogozin D.M.** Techniques for communication repair in the standardized telephone interview 144

SCIENTIFIC LIFE

- Narbut N.P.** Ten years of historical sociology in Prague: A new perspective branch of Czech sociology 167

- AUTHORS** 175

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-7-19

Профессиональные деформации в социэкономических профессиях*

Л.В. Темнова, Н.С. Файман

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Ленинские горы, 1, Москва, 119991, Россия, 119991

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Нахимовский просп., 32, Москва, 117218, Россия

(e-mail: temnova.larisa@yandex.ru; nataliafaymann@gmail.com)

Статья посвящена анализу социальных факторов профессиональной деформации представителей социэкономических профессий. Актуальность их изучения обусловлена рисками клиентов и социального окружения, а также необходимостью комплекса мер по своевременной диагностике и профилактике таких отклонений. Разделяя трактовку профессии как «институционализированной девиации», а профессионала — как человека, имеющего лицензию на отклонение от обывательского поведения и мышления, авторы рассматривают профессиональную деформацию с точки зрения профессионализации — институциональной и личностной — и сочетают психологический и социологический подходы. Использование неовеберовского подхода, вторичного анализа и глубинных интервью позволило авторам выявить следующие факторы профессиональной деформации в социэкономических профессиях: расхождение индивидуальной концепции и модели профессиональной карьеры; непродуктивное разрешение профессиональных кризисов в ходе профессионализации; формирование публичного образа профессиональной группы, ее идеологии и этики в противостоянии идее служения собственным ценностям, что оправдывает привилегии профессионала; создание профессиональных организаций (ассоциаций) с чертами социально-профессиональной дезадаптации (например, синдром профессионального выгорания); социальная закрытость профессионального сообщества как источник отношения к профессионализму как к инструменту доступа к привилегиям и двойных стандартов; углубление дистанцирования в деятельности профессионала (профессиональная «глухота», социолект для завуалирования сообщаемого смысла); бюрократизация (регламентация профессиональной деятельности, противоречащая интересам клиента, оптимальным методам, режиму работы); ценностно-ролевые конфликты. Перечисленные факторы амбивалентны: с одной стороны, они являются признаками институционализации профессии, с другой — индикаторами социальной деформации.

Ключевые слова: профессиональная деформация; профессионализация; социэкономические профессии; риски и факторы; диагностика и профилактика

* © Темнова Л.В., Файман Н.С., 2019.

Статья поступила в редакцию 09.07.2018 г.

Проблема профессиональной деформации личности в отечественной науке наиболее исследована в психологии, однако очевидна необходимость включения в изучение профессиональных деформаций и социологического подхода, т.е. перенос исследовательского акцента с субъективной на объективную составляющую. В классических социологических теориях не указаны прямо причины и ход профессиональных деформаций, однако косвенно о них упоминал еще Э. Дюркгейм [11. С. 516]: он констатирует амбивалентность разделения труда, находя в нем и источник морального развития, и негативные последствия — конкуренцию, рутинизацию труда, эксплуатацию и деградацию рабочей силы.

Понятие «профессиональная деформация» в научный оборот ввел П. Сорокин в «Общедоступном учебнике социологии», указав, что «не приходится сомневаться в деформационной роли профессии» [27. С. 343]. Он считал, что нежелательные профессиональные деформации можно обнаружить практически во всех видах деятельности, связанных с повышенным риском, ответственностью, эмоционально-психологическими перегрузками, причем сила деформации зависит от вовлеченности личности в профессиональную деятельность. П. Бурдье исследовал деформацию поведения и представлений под влиянием социальных структур в теории габитуса: реализуясь в профессиональных практиках, он формирует особый здравый смысл сообщества, определяя путем диспозиционного регулирования ориентации личности, ее поведение, представления о структуре профессиональной институции. Габитус позволяет гармонизировать практики и профессиональный опыт путем постоянного подкрепления, соединяя индивидуальные устремления и коллективные планы корпорации [4. С. 219].

Один из основателей социологии профессий Э. Хьюз мыслил профессию как «институционализированную девиацию»: профессионал имеет лицензию на отклонение от обывательского поведения и способа мышления благодаря своей деятельности [30. С. 36]. Институционализация профессии сопровождается профессиональной деформацией, которая выступает не столько как ее побочное следствие, сколько как цель.

Интеракционистский подход Хьюза позволяет связать профессиональные занятия и «Я-концепцию»: так, борьба за статус («должность» в профессии) аналогична борьбе за признание в обществе [19. С. 69]. Следуя логике Хьюза, деформация социальной структуры меняет систему профессиональных статусов и ролей, что накладывает отпечаток и на личность индивида в отношении той профессиональной роли, которую он исполнял.

Таким образом, в рамках социологического подхода под профессиональной деформацией понимается изменение поведения и ценностей личности под воздействием профессионального сообщества, коммуникации, практик и институтов. В психологической литературе представлено два вида профессиональных деформаций — личности и деятельности, что характерно и для фундаментальных социологических работ, где существует проблема соотношения структуры/функции и действия.

В рамках синтетического подхода, соединяющего деформации личности и деятельности, Э.Ф. Зеер определяет профессиональные деформации как изменение

сложившейся структуры личности и деятельности, негативно отражающееся на взаимодействии с другими участниками профессиональной деятельности и продуктивности труда [12]. Тем самым в профессиональной деформации выражается фундаментальный принцип психологии — единство сознания и деятельности: профессиональная деятельность формирует личность, а личность трансформирует в ходе профессионализации свою деятельность [10]. Профессиональная деформация личности — это изменение ее качеств (стереотипов, ценностных ориентаций, способов общения и поведения) под влиянием профессиональной деятельности и среды, актуализации профессиональной роли. Формируется профессиональный тип личности, который проявляется в профессиональном жаргоне, манерах поведения, физическом облике [22. С. 17]. В целом психологи, говоря о профессиональной деформации, чаще всего имеют в виду расширение профессионального поведения на непрофессиональные сферы жизнедеятельности личности. Ряд исследователей профессиональную деформацию рассматривает как элемент дезадаптации [23], другие пишут об «идентификации» личности со своей профессией и адаптации к ее требованиям [16]. Для каждой профессии характерен свой набор деформаций.

Одной из особенностей социномических профессий, в которых предметом труда выступают малые социальные группы и индивиды («помогающие профессии»), является просоциальная активность личности. Представителям социномических профессий необходимо взаимодействовать, абстрагируясь от повседневного личного опыта, опосредуя свои практики профессиональной этикой, должностными инструкциями и предписаниями, требованиями коллектива. Так, например, врачам свойственен защитный юмор и низкий уровень эмпатии, учителям — авторитарность и категоричность, программистам — алгоритмизация повседневной жизни, подавление эмоций, абстрагирование и отстранение от практической деятельности [16]; синдром «психологического выгорания» свойственен исключительно коммуникативным профессиям [33]. Коммуникативные практики представителей социномических профессий и их восприятие клиента детерминируют наиболее выраженные и типические профессиональные деформации, которые создают риски для клиентов и социального окружения, а потому требуют комплекса мер по своевременной диагностике и профилактике.

Для достижения поставленной цели нами были использованы теоретический анализ, вторичный анализ и глубинное интервью 24 человек — преподавателей вузов (12) и врачей (12), стаж работы которых — от 6 до 35 лет, возраст — 30—63 лет. Что касается теоретической базы исследования, то мы рассматривали профессионализацию как фактор профессиональной деформации — это позиция структурно-функционального подхода, в рамках которого профессионализация — это «стремление видов занятий, „обделенных“ статусом профессии, приблизиться к идеальной модели профессии» [32. С. 27].

Соответственно, все виды деятельности можно разделить на высокостатусные профессии и прочие виды занятости (в категорию «профессий» попадали врачи, юристы, церковные служащие и преподаватели вузов). С позиций институционального подхода (Т. Парсонс [34], Э. Хьюз [30]) профессионализация — процесс

создания профессии как института, ее генезис, формирование и развитие соответствующих институциональных норм и правил. В рамках неовеберианского подхода [15] профессионализация (традиционных профессий) — это процесс (механизм), который позволяет представителям профессий отгородиться от влияния национального государства, организованного капитала и менеджериального контроля посредством солидарных действий для получения доступа к привилегиям (социальным и культурным) [35], выделения уникальной области профессионального знания и ее трансформации в социальный престиж. В результате возникает когнитивное поле, в котором профессионал — специалист с высоким уровнем экспертности и компетентности. Знания, используемые для решения профессиональных задач, становятся инструментом приобретения социального престижа и признания авторитета.

Психологический подход трактует профессионализацию как процесс овладения профессиональной деятельностью конкретным человеком, изменение и приобретение специфических личных качеств. Сложный характер взаимоотношений между прогрессивной и регрессивной фазами профессионального становления получил название «профессионального кризиса» [12]. Ход и итог профессиональной деформации в этом случае определяется стратегией разрешения, которая конструктивно или катастрофически воздействует на личность [20. С. 23].

Непродуктивное разрешение профессиональных кризисов — механизм профессиональных деформаций. Например, наш респондент — преподаватель вуза — отмечает:

«Замуж не надо выходить на пике карьеры, замуж надо выходить, когда уже все надоело. Мне в какой-то момент все надоело, и в 35 я, так вышло, в один год вышла замуж и родила ребенка... Сходила в декрет, вернулась и взглянула на вещи другими глазами» (53 года, стаж 20 лет).

Данный пример иллюстрирует продуктивный выход из профессионального кризиса — в момент нарастания неудовлетворенности на работе женщина уходит в декрет, дает себе временную «передышку» в карьере, переключившись на семейную жизненную сферу.

Успех профессионализации, по Д. Сьюперу [36], зависит от достижения «полноты Я», т.е. удовлетворенности от профессионального поиска, карьеры и жизненного пути, факта достижения определенных карьерных стадий в конкретном возрастном периоде. Адекватность выбора карьерного пути основывается на тождестве индивидуальной концепции и модели профессиональной карьеры, избираемой человеком. Следовательно, факт отсутствия восхождения к данному тождеству уже является деформацией личности. Данный аспект гармоничного единства личности и профессионала иллюстрирует следующий отрывок:

«Абсолютно не мыслю себя без профессии. У меня много разных знаний и умений, но я очень люблю свою основную профессию врача и менять ничего не хочу. Понимаете, я какое-то время работала в иной области, но это была вынужденная мера, работала инженером... Но я всегда знала, что буду работать врачом» (65 лет, стаж 25 лет).

Согласно неовеберовскому подходу, одной из составляющих профессионализации является формирование публичного образа профессиональной группы, ее идеологии, которая подразумевает элементы профессиональной этики и служения. Индивид приобщается к нормам профессионального сообщества в ходе обучения и первичной адаптации в коллективе. В процессе профессионализации происходит принятие профессиональных норм этики и идеи служения или их отторжение. Возможны и иные варианты: когда индивид внешне солидарен с магистральной профессиональной идеей, но его ценности вступают в конфликт с профессиональной этикой.

Идея служения, которая косвенно оправдывает привилегии профессионалов, становится психологической и социальной «ширмой» для реализации индивидуальных профессиональных траекторий. Например, у судей и иных юристов формируется особое профессиональное правосознание, закон для некоторых профессиональных групп — инструмент реализации личных интересов, а отношение к профессиональному долгу и служению формируется исходя из реалий профессии, а не высоких идеалов [26]. Отмечается [3. С. 169], что через 7—10 лет работы у государственных и муниципальных служащих при отсутствии эффективной профилактики деформируется сознание. Выделяют следующие причины деформации правосознания у работников правоохранительных органов: нарушение законности, «конвейерный» и преимущественно обвинительный механизм судопроизводства, подмена значимости закона приказом. Профессиональные разочарования, двойственность профессии порождают конфликт ценностей и профессиональные деформации, детерминируя цинизм и профессиональный эгоизм как противоположность альтруизму.

Наш респондент, врач скорой помощи, так описывает изменение отношения к «мессианству» своей профессии:

«Когда я только начала работать, для меня важно было спасти пациента, продлить ему жизнь. Но потом я постепенно поняла, что продляют пациенту жизнь все-таки другие врачи, и, если я буду об этом задумываться, совершу ошибки. В реанимобиле моя задача — чтобы он доехал до больницы с аппаратом искусственного дыхания или без него, а там уже пусть делают с ним все необходимое, главное — знать свои задачи. Да и пациенты бывают разные» (45 лет, стаж 15 лет).

В отличие от врачей, чья цель — сохранение и поддержание жизни человека, для страхователей жизни и работников похоронных бюро смерть — это бизнес, приносящий деньги, т.е., в отличие от «профессионалов смерти» — врачей и священников, их связь со смертью не легитимизирована ориентацией на оказание помощи. Т. Парсонс и Р. Мертон проводят различие между моделями индивидуальной мотивации и институциональными структурами бизнеса и профессий: независимо от индивидуальной мотивации врачей (корыстолюбия или милосердия) в профессии происходит институционализация альтруизма, а бизнес институционализирует корыстный интерес [13].

Внутри профессиональной группы структурируется система статусов и вырабатываются критерии иерархизации и распределения благ. Профессиональная

группа выступает для личности как референтная и потому оказывает на нее непосредственное и постоянное воздействие, в частности, определяет схожие черты социально-профессиональной дезадаптации и показатели синдрома профессионального выгорания [24]. Профессиональное общение основывается на знании профессиональных норм и готовности к сотрудничеству в профессиональной общности, поэтому деформация может происходить из-за не критичного понимания ценностных основ профессионального взаимодействия или неумения срабатываться и конфликтности [16]. Так, у медицинских работников с высокой или средней степенью конфликтности наблюдается тенденция к подавлению пациентов (коллег) и низкая удовлетворенность работой [16], что приводит к эмоциональному истощению — одному из показателей психологического выгорания.

Для поддержания статуса профессиональной группы необходимо, чтобы она была относительно немногочисленной — инструменты входа становятся дефицитным благом и приобретают все характеристики товара (подлежат купле-продаже) [15]. Т.Б. Щепанская [31] исследовала практики социального закрытия через некросимволизацию пространства профессии как один из разграничивающих методов, обозначающих закрытость профессиональной деятельности для непосвященных. Например, студенты-медики местом, где проходит их приобщение к профессии, считают морг: первый контакт с мертвым телом воспринимается как своего рода испытание на профессиональную пригодность.

«Когда я первый раз вышел на работу, это было в городской поликлинике, стоматологическое отделение, у меня не было опыта, и меня назначили ассистентом к стоматологу. Он в первый же день сказал: „Вот тебе пациент, тренируйся, — входит старушка, — ее не жалко“. Именно так я и научился своему делу, это была моя первая практика и первые уроки» (34 года, стаж 6 лет).

Такое «вхождение» в профессию предполагает действия, о которых (по умолчанию) не должны знать пациенты, некое «сакральное профессиональное знание», отличное и сокрытое от транслируемого профанного. Закрытость профессионального сообщества гарантирует вхождение в профессию, в том числе с помощью овладения «двойными профессиональными стандартами».

Деформации в социоэкономических профессиях обрели особую актуальность в «сервисном обществе» — обществе услуг, где знания и наука в форме современных технологий играют соподчиненную роль в организации производственных отношений, замещая человеческий труд [21]. Массовая персонализация рынка и в частности сферы услуг, диктует иные требования к специалистам, их коммуникативные и личностные качества становятся основой их профессионального успеха. Однако чрезмерная клиентоориентированность не может не приводить к обратному эффекту: усиливается дистанцирование в деятельности профессионала. С одной стороны, дистанцирование выступает защитным механизмом психики, позволяя минимизировать эмоциональную вовлеченность в трудовую деятельность, связанную порой с очень напряженным и постоянным взаимодействием с клиентами. Такое дистанцирование предотвращает идентификацию с клиентом, снижает степень профессионально обусловленных стрессов и является одним из условий успешной профессиональной деятельности.

С другой стороны, чрезмерное дистанцирование ведет к профессиональной «глухоте», невозможности понять клиента и увидеть за «симптомами» уникальную личность с индивидуальными особенностями. И тогда дистанцирование становится фактором профессиональной деформации:

«Я научился немного отодвигаться... разные пациенты бывают, от этих пациентов стараешься абстрагироваться, на свой счет не принимать» (51 год, стаж 19 лет).

«Касается больше студентов, когда ты идешь им навстречу, а они садятся на шею. Особенно на первых годах преподавания. Потом я начал относиться ко всем одинаково, чтобы не было ни любимчиков, ни нелюбимчиков, чтобы не было претензий ко мне как к преподавателю» (31 год, стаж 6 лет).

В исследовании сотрудников скорой помощи [25] было установлено, что степень дистанцирования от объекта своей деятельности возрастает с опытом работы. Для более опытных работников (стаж более 15 лет) фактором профессиональной деформации становятся недостатки организации труда, для молодых — негативные качества больных и их родственников. Это подтверждается и данными социологических опросов [1]: подавляющее большинство недовольных медицинским обслуживанием в системе ОМС объясняют свое негативное отношение не непрофессионализмом врача (отказ принять пациента — 14,6%, неверный диагноз — 8,7%), а невнимательностью, грубостью (54,4%), т.е. эмоциональным дистанцированием медицинских работников от пациентов.

Хьюз подчеркивает, что одна из особенностей профессионализации — формирование отстраненности от клиента, причина чего — разделение профессионального знания на частное и общее: чем сильнее профессионала интересует общий профессиональный контекст, тем сильнее его дистанцирование от клиента [30. С. 36]. Имплицитное дистанцирование как характеристику соционимических профессий мы находим у И. Гофмана в понятии «сервисной сделки» [7], в ходе которой происходит взаимодействие «диффузных» статусов (возраст, гендер, раса и социальный класс). Кроме того, профессиональный опыт зачастую настолько сложен, что для оптимизации профессиональной коммуникации необходимы лингвистические упрощения и обобщения в профессиональном сленг [9]. Так, основная прагматическая функция просторечий в медицине — завуалирование сообщаемого смысла от посторонних, упрощение коммуникации профессионалов [18]. При взаимодействии профессионала с обывателем (клиентом) профессиональный социолект может вызвать у последнего шок. Профессиональный сленг, упрощения и допущения — элементы дистанцирования, так как с помощью таких языковых игр профессионалы конструируют понятийный язык и как символическую границу с клиентом.

Дистанцирование позволяет, пользуясь гофмановской терминологией, установить границу драматургического действия — между сценой и зрительным залом, что напоминает дихотомию сакрального и профанного. Исполнители, использующие методы идеализации и мистификации [8. С. 101], создают у зрителя иллюзию уникальности собственных качеств через ограничение контактов с ними — формируется дистанция, вызывающая у зрителей благоговейный трепет.

«У тебя есть кафедра или стол, это твоя „линия обороны“ от всяких идиотов, лучше бы они дома сидели, чем пришли» (51 год, стаж 16 лет).

Получается, что десакрализация исполнителя (профессионала), его особых качеств не выгодна ни исполнителю, ни зрителям: зрители «обречены на разочарование, если видят „короля“ ходящим по улицам, подобно самому обыкновенному человеку» [8. С. 103]. Вот что говорит один из наших информантов о работе с больными с органическими поражениями мозга:

«Все равно, какой бы он ни был, с какими психическими отклонениями, ты все равно ...должен ...держаться на расстоянии. Это же не твое дите, чтобы ты шел навстречу... Врач не может раствориться в пациенте, какие бы у него не были проблемы, как бы его не было жалко» (59 лет, стаж 30 лет).

Еще одним социальным фактором профессиональной деформации выступает бюрократизация, вследствие которой профессии, зарождаясь как частная практика, перестают быть односложно организованы и обретают черты бюрократической структуры, поэтому связь с клиентом становится лишь частью сложных бюрократических отношений [19]. В социологии широко исследуются бюрократические организации: максимальная рационализация деятельности (М. Вебер), система «предписанных отношений» с жестко регламентированной деятельностью (Р. Мертон), аутопоэтичность системы, в которой нивелируются личностные отклонения от формальных правил (Н. Луман) и др. [29]. Таким образом, происходит отрыв бюрократического аппарата в результате его собственной профессионализации от профилирующей деятельности социального института: бюрократический аппарат обретает собственные нормы, ценности и цели.

«Что касается работы скорой... Я чувствую, что, если бы я оттуда не ушел, я бы уже начал вред наносить людям... Чаще всего чиновники оторваны от непосредственной работы. Они чаще всего пишут свои указания, там, наверху, сидят и строчат. А вот конкретно сядь на машину, поезди месяц с людьми, посмотри, как это можно на практике... „Не хотите — мы других найдем“. ...К сожалению, идет не работа, а только закручивание гаек сейчас» (42 года, стаж 16 лет).

С опытом и с возрастанием количества неформальных связей в правоохранительном и юридическом сообществе следователь все более склонен видеть своей задачей не раскрытие преступлений, а бюрократическое сопровождение уголовного преследования [28. С. 62]. Иными словами, реальное взаимодействие с субъектами профессиональной деятельности уступает место «функционированию» посредством «бюрократического» способа действия. Исследование российских судей также показало, что молодое поколение оценивает опыт юридической работы за пределами суда как более важное качество, нежели богатый жизненный опыт, в отличие от старших поколений [5. С. 23].

«Работа связана больше с какими-то условностями системы ...А система у нас настолько гнилая, насколько это возможно» (28 лет, стаж 4 года).

3. Бауман в определении черт «текучей современности» отмечал, что наблюдаемые изменения труда и занятости предполагают крах профессиональной этики, «мораль без этики», индивидуализацию этики — размытие норм и авторитетов приводит к деформации профессиональных ценностей [17].

«Знаете, раньше, до введения более жестких нормативов со стороны страховых служб, работать было несколько проще, ты понимал, что можешь выявить болезнь,

помочь. А теперь вы не можете выписать пациенту нужное ему лечение, потому что вам предъявят потом... И пациенты недовольны, те же самые, которые к тебе всегда приходили, но и ты ничего сделать не в состоянии» (55 лет, стаж 27 лет).

Изменение нормативов профессиональной деятельности, ее коммерциализация порождают ценностно-ролевые конфликты у специалистов.

Таким образом, можно выделить следующие социальные факторы профессиональной деформации в социономических профессиях: расхождение индивидуальной концепции и модели профессиональной карьеры, а также непродуктивный характер разрешения профессиональных кризисов; формирование публичного образа профессиональной группы, ее идеологии и этики в противостоянии идее служения индивидуалистическим ценностям и оправдания привилегий профессионала; формирование сходных черт социально-профессиональной дезадаптации в ходе создания профессиональных организаций (ассоциаций); практики социального закрытия профессионального сообщества формируют особое отношение к профессионализму как инструменту доступа к привилегиям и поддержания двойных стандартов; углубление дистанцирования в деятельности профессионала; бюрократизации профессиональной деятельности и сообщества (например, регламентация, противоречащая интересам клиента или оптимальным методам и режиму работы, чрезмерная нагрузка документацией); ценностно-ролевые конфликты в контексте деформации профессиональных ценностей. Перечисленные факторы амбивалентны: с одной стороны, они являются признаками институционализации профессии, с другой — индикаторами деформации представителей социономических профессий. По мере институционализации профессии возрастает число и рутинизируется характер нормативных предписаний к профессиональной роли, следовательно, деформирующее воздействие на профессию обусловлено институционально.

Библиографический список

- [1] Антонова Н.Л. Качество медицинского обслуживания в системе обязательного медицинского страхования как социологическая проблема // Известия Уральского государственного университета. 2007. № 51.
- [2] Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. СПб., 2004.
- [3] Бондарев А.А. Профессиональное правосознание государственных и муниципальных служащих: Дисс. к.ю.н. М., 2000.
- [4] Бурдые П. Практический смысл. СПб., 2001.
- [5] Волков В.В., Дмитриева А.В., Поздняков М.Л., Титаев К.Д. Российские судьи как профессиональная группа: социологическое исследование. СПб., 2012.
- [6] Волчанский М.Е. Социология конфликта в медицине: Дисс. д.с.н. Волгоград, 2008.
- [7] Гофман И. Порядок взаимодействия // Социология власти. 2014. № 1.
- [8] Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000.
- [9] Деревлева Н.В., Яблонская О.Ю. Проблема использования медицинского сленга в профессиональном общении // Журнал ГрГМУ. 2011. № 2.
- [10] Дружилев С.А. Индивидуальный ресурс человека как основа становления профессионализма. Воронеж, 2010.

- [11] Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996.
- [12] Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.—Екатеринбург, 2003.
- [13] Зелизер В. Человеческие ценности и рынок: страхование жизни и смерть в Америке XIX века // *Экономическая социология*. 2010. Т. 11. № 2.
- [14] Котцова Е.Е. Профессиональная лексика медицинских работников г. Архангельска в номинативно-тематическом аспекте // *Вестник ННГУ*. 2013. № 6-2.
- [15] Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий. История, методология и практика исследований // *Социологические исследования*. 2009. № 8.
- [16] Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996.
- [17] Мартьянова Н.А. Трансформация профессиональной этики в эпоху постмодерна // *Грамота*. 2013. № 10. Ч. II.
- [18] Невзорова М.С. Нестандартная лексика в профессиональном общении медиков // *Вестник ВолГУ. Серия 2: Языкознание*. 2012. № 2.
- [19] Николаев В. Социология занятий и профессий Эверетта Хьюза: забытый интеллектуальный ресурс // *Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности*. М., 2012.
- [20] Поваренков Ю.П. Системогенетический анализ профессионального развития личности // *Организационная психология и психология труда*. 2017. Т. 2. № 4.
- [21] Коллинз Р. Технологическое замещение и кризисы капитализма: Выходы и тупики // *Политическая концептология*. 2010. № 1.
- [22] Профессиональная деформация личности. Томск, 2009.
- [23] Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства. М., 2001.
- [24] Руденко А.Ю. Врачи лабораторно-диагностического профиля в профессиональной структуре отечественной медицины: Дисс. к.с.н. Волгоград, 2012.
- [25] Семкова М.П. Ритуал и выгорание в субкультуре скорой помощи // http://samlib.ru/s/semkowa_m_p/ritualiwygoraniesubkulxtureskorojpomoshi.shtml.
- [26] Соколов Н.Я. Профессиональное правосознание юристов. М., 1988.
- [27] Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. М., 1994.
- [28] Титаев К., Шкляржук М. Российский следователь: призвание, профессия, повседневность. М., 2016.
- [29] Филатова О.В. Профессиональная деятельность и социально-психологические особенности бюрократии // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. 2013. № 6. Ч. I.
- [30] Хьюз Э.Ч. Профессии // *Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности*. М., 2012.
- [31] Щепанская Т.Б. Сравнительная этнография профессий: повседневные практики и культурные коды (Россия, конец XX — начало XXI в.). СПб., 2010.
- [32] Etzioni A. The Semi-Professionals and their Organization: Teachers, Nurses and Social Workers. N.Y., 1969.
- [33] Maslach C., Jackson S.E. The measurement of experienced burnout // *Journal of Occupational Behavior*. 1981. Vol. 2.
- [34] Parsons T. Some problems confronting sociology as a profession // *American Sociological Review*. 1959. Vol. 24. No. 4.
- [35] Saks M. Professionalization, politics and CAM // Kelner M. et al. (Eds.) *Complementary and Alternative Medicine: Challenge and Change*. Amsterdam, 2000.
- [36] Super D.E. et al. *Vocational Development: A Framework of Research*. N.Y., 1957.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-7-19

Professional deformations in sociomic professions*

L.V. Temnova, N.S. Faiman

Lomonosov Moscow State University
Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991, Russia

Institute of Social-Economic Studies of Population of RAS
Nakhimovsky Prosp., 32, Moscow, 117218, Russia

(e-mail: temnova.larisa@yandex.ru; nataliafaymann@gmail.com)

Abstract. The article considers social factors of professional deformation in sociomic professions. This is an important sociological issue due to the risks of professional deformation for customers and social environment, thus, there is a need for a set of measures for the timely diagnostics and prevention of such deviations. The authors support the interpretation of the profession as an “institutionalized deviation”, and of the professional as a person licensed to deviate from the philistine behavior and thinking; consider professional deformation from the point of view of professionalization (institutional and personal) and combine psychological and sociological approaches. The combination of the neo-Weberian approach, secondary analysis and in-depth interviews allowed the authors to identify the following factors of professional deformation in sociomic professions: discrepancy of the individual concept and model of professional career; unproductive resolution of professional crises during professionalization; formation of the public image of the professional group, its ideology and ethics as opposing the idea of serving its own interests and getting professional privileges; creation of professional organizations (associations) with the features of social-professional disadaptation (for example, the syndrome of professional burnout); social closure of the professional community as a source of considering professionalism an instrument of access to privileges and double standards; increasing distance in the activities of the professional (professional ‘deafness’, sociolect for hiding the reported meanings); bureaucratization (regulation of professional activity contrary to the clients’ interests, best practices, and work schedule); value-role conflicts. These factors are ambivalent: on the one hand, they are signs of the institutionalization of the profession; on the other hand, they are indicators of social deformation.

Key words: professional deformation; professionalization; sociomic professions; risks and factors; diagnostics and prevention

References

- [1] Antonova N.L. Kachestvo meditsinskogo obsluzhivaniya v sisteme obyazatel'nogo meditsinskogo strahovaniya kak sotsiologicheskaya problema [Quality of medical care in the system of compulsory health insurance as a sociological problem]. *Izvestiya Uralskogo Gosudarstvennogo Universiteta*. 2007; 51 (In Russ.).
- [2] Beznosov S.P. *Professionalnaya deformatsiya lichnosti* [Professional Deformation of Personality]. Saint Petersburg; 2004 (In Russ.).
- [3] Bondarev A.A. *Professionalnoe pravosoznanie gosudarstvennykh i municipalnykh sluzhashchih* [Professional Legal Consciousness of State and Municipal Employees]: Diss. k.yu.n. Moscow; 2000 (In Russ.).
- [4] Bourdieu P. *Prakticheskij smysl* [Practical Sense]. Saint Petersburg; 2001 (In Russ.).

* © L.V. Temnova, N.S. Faiman, 2019.
The article was submitted on 09.07.2018.

- [5] Volkov V.V., Dmitrieva A.V., Pozdnyakov M.L., Titaev K.D. *Rossijskie sudii kak professionalnaya grupa: sociologicheskoe issledovanie* [Russian Judges as a Professional Group: A Sociological Study]. Saint Petersburg; 2012 (In Russ.).
- [6] Volchansky M.E. *Sociologiya konflikta v medicine* [Sociology of Conflict in Medicine]: Diss. k.s.n. Volgograd; 2008 (In Russ.).
- [7] Goffman E. Poryadok vzaimodejstviya [The interaction order]. *Sociologiya Vlasti*. 2014; 1 (In Russ.).
- [8] Goffman E. *Predstavlenie sebya drugim v povsednevnoj zhizni* [The Presentation of Self in Everyday Life]. Moscow; 2000 (In Russ.).
- [9] Derevleva N.V., Yablonskaya O.Yu. Problema ispolzovaniya meditsinskogo slenga v professionalnom obschenii [The problem of using medical slang in professional communication]. *Zhurnal GrGMU*. 2011; 2 (In Russ.).
- [10] Druzhilov S.A. *Individualny resurs cheloveka kak osnova stanovleniya professionalizma* [Individual Human Resource as the Basis for the Development of Professionalism]. Voronezh; 2010 (In Russ.).
- [11] Durkheim E. *O razdelenii obschestvennogo truda* [The Division of Labour in Society]. Moscow; 1996 (In Russ.).
- [12] Zeer E.F. *Psihologiya professij* [Psychology of Professions]. Moscow—Ekaterinburg; 2003 (In Russ.).
- [13] Zelizer V. Chelovecheskie tsennosti i rynek: strahovanie zhizni i smert v Amerike XIX veka [Human values and the market: The case of life insurance and death in 19-th century America]. *Ekonomicheskaya Sociologiya*. 2010; 11 (2) (In Russ.).
- [14] Kottsova E.E. Professionalnaya leksika medicinskih rabotnikov g. Arhangelska v nominativno-tematicheskom aspekte [Professional vocabulary of medical workers of Arkhangelsk in the nominative-thematic perspective]. *Vestnik NNGU*. 2013; 6-2 (In Russ.).
- [15] Mansurov V.A. Sociologiya professij. Istoriya, metodologiya i praktika issledovanij [Sociology of professions. History, methodology, and research]. *Sociologicheskie Issledovaniya*. 2009; 8 (In Russ.).
- [16] Markova A.K. *Psihologiya professionalizma* [Psychology of Professionalism]. Moscow; 1996 (In Russ.).
- [17] Martyanova N.A. Transformatsiya professionalnoj etiki v epohu postmoderna [Transformation of professional ethics in the postmodern era]. *Gramota*. 2013; 10. Ch. II (In Russ.).
- [18] Nevzorova M.S. Nestandardnaya leksika v professionalnom obschenii medikov [Non-standard vocabulary in the professional communication of doctors]. *Vestnik VolGU. Seriya 2: Yazykoznanie*. 2012; 2 (In Russ.).
- [19] Nikolaev V.G. Sociologiya zanyatij i professij Everetta Hughesa: Zabyty intellektualny resurs [Everett Hughes' sociology of occupations and professions: A forgotten intellectual resource]. *Antropologiya professij: granitsy zanyatosti v epohu nestabilnosti*. Moscow; 2012 (In Russ.).
- [20] Povarenkov Yu.P. Sistemogeneticheskiy analiz professionalnogo razvitiya lichnosti [System-genetic analysis of the personal professional development]. *Organizatsionnaya Psihologiya i Psihologiya Truda*. 2017; 2 (4) (In Russ.).
- [21] Collins R. Tehnologicheskoe zameshhenie i krizisy kapitalizma: Vyhody i tupiki [Technological displacement and capitalist crises: Escapes and dead ends]. *Politicheskaja Kontseptologija*. 2010; 1 (In Russ.).
- [22] *Professionalnaya deformatsiya lichnosti* [Professional Deformation of Personality]. Tomsk; 2009 (In Russ.).
- [23] Pryazhnikov N.S., Pryazhnikova E.Yu. *Psihologiya truda i chelovecheskogo dostoinstva* [Psychology of Labor and Human Dignity]. Moscow; 2001 (In Russ.).
- [24] Rudenko A.Yu. *Vrachi laboratorno-diagnosticheskogo profilya v professionalnoj strukture otechestvennoj meditsiny* [Doctors of the laboratory-diagnostic profile in the professional structure of the Russian medicine]. Diss. k.s.n. Volgograd; 2012 (In Russ.).

- [25] Semkova M.P. *Ritual i vygoranie v subkulture skoroj pomoschi* [Ritual and Burnout in the Ambulance Service Subculture]. http://samlib.ru/s/semkowa_m_p/ritualivygoraniewsubkultureskorojpomoschi.shtml (In Russ.).
- [26] Sokolov N.Ya. *Professionalnoe pravosoznanie yuristov* [Professional Legal Consciousness of Lawyers]. Moscow; 1988 (In Russ.).
- [27] Sorokin P.A. *Obschedostupnyj uchebnik sociologii* [Public Textbook of Sociology]. Moscow; 1994 (In Russ.).
- [28] Titaev K., Shklyaruk M. *Rossijsky sledovatel: prizvanie, professiya, povsednevnost* [Russian Investigator: Vocation, Profession, Everyday Life]. Moscow; 2016 (In Russ.).
- [29] Filatova O.V. Professionalnaya deyatel'nost' i socialno-psihologicheskie osobennosti byurokratii [Professional activities and social-psychological features of bureaucracy]. *Istoricheskie, Filosofskie, Politicheskie i Yuridicheskie Nauki, Kulturologiya i Iskusstvovedenie. Voprosy Teorii i Praktiki*. 2013; 6. Ch. I (In Russ.).
- [30] Hughes E.Ch. Professii [Professions]. *Antropologiya professij: granitsy zanyatosti v epohu nestabilnosti*. Moscow; 2012 (In Russ.).
- [31] Shchepanskaya T.B. *Sravnitel'naya etnografiya professij: povsednevnye praktiki i kulturnye kody* (Rossiya, konets XX — nachalo XXI v.) [Comparative Ethnography of Professions: Everyday Practices and Cultural Codes (Russia, end of the 20th — early 21st century)]. Saint Petersburg; 2010 (In Russ.).
- [32] Etzioni A. *The Semi-Professionals and Their Organization: Teachers, Nurses and Social Workers*. New York; 1969.
- [33] Maslach C., Jackson S.E. The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*. 1981; 2.
- [34] Parsons T. Some problems confronting sociology as a profession. *American Sociological Review*. 1959; 24 (4).
- [35] Saks M. Professionalization, politics and CAM. Kelner M. et al. (Eds.) *Complementary and Alternative Medicine: Challenge and Change*. Amsterdam; 2000.
- [36] Super D.E. et al. *Vocational Development: A Framework of Research*. New York; 1957.



DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-20-30

China's human rights concept and its international promotion*

A.V. Tsvyk, G.I. Tsvyk

RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia)
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, Russia, 117198
(e-mail: tsvyk-av@rudn.ru; tsvyk-gi@rudn.ru)

Abstract. In the contemporary inter-state relations, human rights are not only a subject of disputes but also a lever of influence or pressure, a set of material and non-material structures, institutions and processes that determine the course of international life. Thus, human rights have become a full-fledged factor of international relations. In recent decades, the problem of human rights in China has been one of the most controversial issues in the relations of China and the Western countries. It is the specific nature of China's human rights concept that determines contradictions between China and the West. The authors argue that the concept of human rights in China is based on the national tradition of the primacy of the state over the interests of an individual. China's human rights concept rethinks Confucianism and Marxism emphasizing the need to respect the collective rights of the people to the socio-economic development as well as to ensure stability and security of the state and preserve its sovereignty. At the same time, as the authors point out, in recent years China, which traditionally takes a defensive position on the human rights issue in its international agenda, has promoted its own concept of human rights at the international level. In this regard, in the authors opinion, it is necessary to analyse the factors, which have affected the formation of China's human rights concept, as well as the position of China's authorities on this issue, and the purposes and tools of China's so-called 'human rights diplomacy'. At the conclusion the authors summarize the basic features of China's human rights concept, which form the theoretical basis of 'human rights diplomacy' of the PRC.

Key words: China; Western countries; human rights; political discourse; Confucianism; Marxism; diplomacy

Human rights are a comparatively new topic in the studies of China which has been influenced by the social-political events in China and by intra-disciplinary changes in sinology and human rights research. Before 1989, when the events in Tiananmen Square took place, human rights in China had not been an object of international scientific interest. Very few scholars considered human rights in China in philosophy, history, law, and international relations. In the post-1989 period, a number of scholars focused on such topics as the relations of human rights concept with Chinese culture and philosophy, the role of human rights in the democratic development of the country; China's perception of the international human rights system and the role of human rights in international relations in general.

* © A.V. Tsvyk, G.I. Tsvyk, 2019.

The research was supported by the Russian Foundation for Humanities. Project No. 17-27-21002.
The article was submitted on 21.11.2018.

According to Wenhui Zhong, the Chinese works on human rights are presented mainly by incriminating documents of abuses and lack theoretical-conceptual analysis [35]. However, there are scientific works with relevant information that consider the history of human rights in China and the current situation in the country. R. Edwards was among the first Western scholars that systematically studies the human rights concept in China. His theory and works of W. De Bary, S. Deklerck, S. Heilmann, A. Kent, S. Mueller, R. Weatherley and M. Svensson provided the historiographical basis for the article. The study is also based on the articles of Chinese scholars who have a different interpretation of the human rights concept as compared to Western scientists. The issues of integrating China in the international human rights system and the analysis of China's agenda in the field of human rights in the UN are considered in detail in the Chattham House's report *China and the International Human Rights System* (2012) that helped the authors to understand aims and mechanisms of the international realization of China's concept of human rights.

Human rights as a factor of international relations

Today the actors of international relations differ in terms of economic development, culture, historical traditions and religion, but they all are at the stage of strengthening the inter-civilizational interaction, i.e. globalization [31]. Globalization and democratization of international relations contribute to the fact that all political actors are influenced by international processes, including the states that previously protected their internal affairs from external interference [9]. On the one hand, human rights are an inherent part of domestic policy; on the other hand, they are regulated by the international norms, declarations and agreements supported by the UN, although their understanding is transformed under the globalization.

Primarily, it is the principle of human rights universality that is called into question. The idea of human rights universality is based on the Western idea of their natural origin [33]. The Western concept of human rights developed over centuries and is reflected in the works of J. Locke, S. Montesquieu, J. Rousseau, T. Jefferson, etc., and in such documents as 'Bill of Rights' (1689), 'Declaration of Independence' of the United States (1776), 'Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen' (1789) etc. The Western origin of the idea of human rights universality makes it difficult to apply it in other regions where it did not follow the same course of historical development. As a result, there are certain difficulties with its universal application to the modern world for some rights are not accepted at the national level.

At the same time the expansion of human rights to the national level inevitably increases responsibility of the state to respect and protect them for both its citizens and international community. Therefore, human rights become more vulnerable and controlled for such a system can be imposed and be alien to the national interests. More successful are the states whose interpretation of human rights prevail, and they export their human rights concept, thus, creating levers of pressure on other states.

Today human rights are not only an object of debates but also a full-fledged factor of international relations. The institutional framework of the international human rights system is extensive and includes the UN Human Rights Council, United Nations Human Rights Treaty system, a number of NGOs (Amnesty International, Human Rights Watch) — they are elements of the system for implementation and protection of human rights based on the Universal Declaration of Human Rights (1948), international covenants on rights, UN treaties and conventions, and international legal practices. However, these institutions and normative documents mainly reflect the Western liberal understanding of human rights and call for its implementation by all countries of the world. All states-signatories of the Universal Declaration of Human Rights are to implement its provisions and to propagate human rights ideas but the lack of clear definition of the ‘jurisdiction’ of states and of mechanisms to monitor the implementation of Declaration obligations creates obstacles to ensuring the global rule of human rights.

Thus, there is a comprehensive system of international organisations, national governments, expert community, non-governmental organisations (in particular, in the sphere of human rights protection) that register human rights violations [24]. As the global nature of the contemporary international relations excludes the absolute isolation of an individual actor, every state takes a certain position in this system within a ‘group of like-minded states’. There is a powerful mechanism of influence on domestic and foreign activities of all states but its work is complicated by the fact that violation of human rights can be ambiguous due to the differences in national law systems and difficulties in finding consensus on this issue in international relations. Moreover, as a factor of international relations human rights are beyond the competence of special international institutions and become an object of debates for the UN Security Council, UN General Assembly, etc.

The positions of states on the human rights violations can differ significantly. In the article ‘Human rights in the context of international relations’ B. Fortman divides actors into two groups according to their political behaviour: on the one hand, there are offensive countries that focus on human rights violations in other states: on other hand, there are defensive states that integrate into their laws all kinds of human rights covenants and declarations [13]. Today there is another group of countries — they are accused of numerous human rights violations but stand for independence of their policy and partial isolation from the jurisdiction of international law. Official representatives of such countries appeal to the principles of sovereignty and non-interference in internal affairs and often do not recognize the supremacy of international law. This situation has negative consequences for such isolationism can be aggressive and go beyond public debates. The analysis of armed conflicts in the 2000s showed that most contemporary wars are waged under the pretext of protecting human rights and establishing liberal democratic regimes. Therefore, there are deep contradictions between different categories of international human rights laws, and in such a context China becomes one of the most powerful and controversial participants of the international relations system.

China's official human rights policy is criticised by Western countries. There are still sanctions against China imposed after the events in Tiananmen Square in 1989. The Chinese government is accused of violation of national minorities' rights and freedom of speech, corruption of judicial system, etc. [14]. In turn the Chinese authorities claim that states and regions differ in cultural and civilizational development, therefore, the Western human rights model cannot be considered universal. Moreover, China promotes its own human rights concept, and it is necessary to consider factors that affected the development of this concept and the Chinese authorities' position on human rights issue at domestic and international levels.

Traditional foundations of China's human rights concept

Today's human rights concept in China is based primarily on the traditions of Confucianism and Marxism. According to R. Weatherley, interpretation of individual roles and human rights in the Chinese society is rooted in the principles of Confucius that are still relevant in contemporary China [34]. The key idea of Confucius is that every individual has clearly defined duties [11]. First of all, these are self-improvement and law-abiding, ability to be satisfied with little and priority of common good. In Confucianism, collective/group rights prevail over individual rights, i.e. every individual has obligation to the group. Thus, in Confucianism there are no individual rights [8]. Furthermore, individual rights are inconsistent with Confucianism because rights are (necessarily) role-independent obligations and entitlements, whereas in Confucianism all obligations and entitlements are role-dependent [30]. Thus, individual rights threaten family-like community bonds and are incompatible with hierarchical social structures that Confucians value [20].

The main social aim in this context is the maintenance of order and respect for hierarchical relations [28]. According to this theory, an individual finds meaning of his life in his social roles. Confucianism emphasizes individual responsibility of both ordinary people and rulers to other people and society [2]. Thus, the issue of individual rights is directly related to one's position and duties in society, and the state is considered a large family headed by the father-ruler: he takes care of Chinese people that in turn treats him with due respect (the same applies to the relationship of the elderly and younger generation) [21].

In addition to Confucianism, it was Marxist interpretation of human rights that determined the human rights concept in contemporary China. R. Weatherley notes that Confucianism and Marxist ideas of human rights have many parallels, in particular in the belief that human rights have class and collective nature [34]. According to Marxism, human rights and freedoms are determined by the position of an individual in the social-economic structure of society and by its political system. An individual finds its worth through interaction with society. In the liberal human rights concepts, despite all individual duties, the relations between an individual and the state are based on individual freedom, and human rights are mainly meant to protect an individual from the state. Unlike the liberal human rights concepts, Marxism insists on an inextricable

link between individual rights and duties. Such a unity of rights and duties contributes to the consolidation of fair social relations, which excludes any privileges for individuals or communities together with any discrimination. The Marxist concept proceeds from the fact that the unity of individual rights and responsibility for one's actions ensure an individual freedom [5]. The Marxist concept recognizes the importance of all categories of human rights but emphasizes that only true economic rights create real conditions for the effective use of civil and political rights.

Chinese researchers add that under capitalism 'collective human rights' (affecting interests of millions of people) are infringed upon, so collective rights have priority over individual rights. Thus, the Chinese approach to the human rights issue differs from Western models: China does not recognize human rights as a 'universal concept' and refuses to separate them from the duties of a citizen, i.e. does not agree with the priority of human rights over national laws.

Chinese authorities' understanding of human rights

As Xin Chunying notes, "before the founding of the PRC in 1949, the term 'human rights' was used by the Chinese Communist Party to oppose rule by the Kuomintang. However, after the founding of the PRC, this term disappeared. 'Human rights' were replaced by 'citizen's rights' and 'people's rights' in order to make more explicit the socialist nature of the Chinese state" [1]. The Chinese government promotes its own human rights concept consisting of the following basic elements:

- The principle of non-interference and sovereignty: "Despite its international aspect, the issue of human rights falls by and large within the sovereignty of each country... China used the principles of sovereignty and non-interference in internal affairs to ward off foreign criticisms on its human rights situation. Human rights have been perceived as a part of domestic matters, which fall within the sole jurisdiction of individual countries" [10].
- Human rights and civil rights: in China, human rights are considered a domestic issue, and the overall importance is attached to 'citizen' rights' in the legislation. S. Muller argues that "there wasn't a single reference to 'human rights' in any of the Chinese laws, indicating that 'rights' only exist as something given by the state" [17].
- Rights and duties: the Chinese government stands for a very close connection between rights and duties. According to the Article 33 of the Constitution of the PRC, "every citizen is entitled to the rights and at the same time must perform the duties prescribed by the Constitution and the law" [7].
- 'Special' importance of collective rights: according to the Article 51 of the Constitution of the PRC, "citizens of the People's Republic of China, in exercising their freedoms and rights, cannot infringe upon the interests of the state, society or collective, or upon the lawful freedoms and rights of other citizens" [16].
- Right to subsistence and right to development (both will be analyzed further).

Since 1991, there have been many editions of the so-called ‘China’s White Papers on human rights’ [29]. The first White Paper published in November 1991 was a sort of response of the Chinese government to the criticism of Western countries on human rights violations in China after Tiananmen events in 1989 and to the subsequent sanctions imposed by the West. Since 1991, the State Council of China has published more than ten White Papers titled *Progress in China’s Human Rights*. The last White Paper on human rights was published in 2017.

It should be noted that the contents of White Papers differ not only statistically but also in the definition of human rights. According to the White Paper *Progress in China’s Human Rights in 1995*, ‘right to subsistence’ and ‘right to development’ are the most important human rights for the Chinese people. There is some contradiction to Western countries in the very interpretation of the basic rights of the Chinese people — ‘right to subsistence’ and ‘right to development’. In its description of the ‘right to subsistence’, the White Paper combined the independence of the Chinese nation from colonial domination and the right to development with the right of Chinese people to adequate food, clothing and shelter [23]. The 1995 White Paper argues that the Chinese authorities, guided by the aims and principles of the UN Charter on human rights protection, oppose some countries’ double standards to human rights in other countries, particularly the developing ones, and resists imposing some countries’ patterns on others, i.e. “oppose hegemonic attempts of interfering in the internal affairs of other countries by using ‘human rights’ as a pretext” [23].

At the same time the ‘right to subsistence’ and ‘right to development’ are related to the modernization of the Chinese economy, which is the main factor contributing to the implementation of these rights. There is a close connection between economic and social policies in China and a priority of individual social-economic rights over political ones. The Chinese leaders believe that for developing countries (China considers itself a developing country) the key criterion for respecting human rights can only be conformity of the political model to the requirements of the economic development and growth of citizens’ welfare, i.e. individual rights are connected to the basic interests of the entire Chinese society.

According to P. Potter, China’s interpretation of right to subsistence and development leads to the normative conflict with international standards of human rights [22]: China’s reliance on the development discourse to justify its policies and its concomitant rejection of universality of civil and political rights reflect the incompatibility of international liberal norms with the primacy of one-party rule in China’s governance system. Moreover, there are specific issues in the field of human rights in China such as fighting poverty and building a ‘xiaokang’ society (moderately prosperous) by the centenary of the Communist party of China (2021) that are associated with the implementation of the ‘Chinese dream’. Thus, based on the fact that China is a developing country, the Chinese leaders identify human rights as primarily the rights to subsistence and development which determine the relationship between economic and social policies in China.

Becoming a major power: Human rights diplomacy with Chinese features

The Chinese authorities make efforts to create a positive image of China as one of the main protectors of human rights not only within the country but also at the international level. In legal terms, China entered the international human rights system by signing a wide range of human rights treaties. In recent years China's government has also accepted the principle of human rights universality. According to the White Paper *New Progress in the Legal Protection of Human Rights in China*, China actively participates in creating a legal system of international human rights as a part of building 'a community of shared future for humanity' [19]. Thus, China's government admits the importance of global human rights in the 'new era' of international relations: China is engaged in more than 50 human rights dialogues with Western and developing countries.

One of the main international platforms that China uses to promote its human rights concept and to rebuff the accusations of human rights violations is the system of the UN bodies [28]. China's interaction with the UN began in 1971 when the UN General Assembly Resolution 2758 recognized the People's Republic of China (PRC) as 'the only legitimate representative of China to the United Nations': China became a member of all the UN bodies and structures [15]. The UN Commission on Human Rights was one of the last major UN bodies that China joined. China sent observers to the Commission in 1979 and became a full member of it in 1982.

In the 1990s, China started an active cooperation with the international community of human rights within the UN [18]. China acceded to a number of the UN human rights treaties such as the International Covenant on Civil and Political Rights (signed in 1998, not ratified), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (signed in 1997, ratified in 1980), UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (signed in 1986, ratified in 1988), UN Convention on the Rights of the Child (signed in 1990, ratified in 1992), etc.

In 2006, China became a member of the UN Human Rights Council that replaced the UN Commission on Human Rights. In the following ten years, China was regularly re-elected as its member (in 2016, China received this status for the fourth time).

What are China's main goals in the UN Human Rights Council (HRC): to prevent adoption of resolutions accusing China of the human rights violations; to promote principles of sovereignty and non-interference in the internal affairs of the state in the Council's decision-making; to ensure China's membership in the HRC for subsequent periods; to focus on the principle of solidarity with the developing member-states of the HRC; to promote the Chinese human rights concept by adopting pro-Chinese HRC resolutions [25].

One of the main platforms for implementing China's human rights diplomacy and human rights concept is the Beijing Forum on Human Rights held annually. The first Forum took place in 2008 on the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (1948). In addition to the Beijing Forum on Human Rights there is

the ‘South-South Human Rights Forum’ also hosted by China (the first forum was held in 2018). The key elements of the ‘human rights concept with Chinese characteristics’ are as follows:

- Development and peace: China’s officials declare that the rights to peace and development are basic rights of people all over the world. The right to peace is defined not only as the absence of war and conflicts but also as freedom from structural, institutional and other forms of pressure and coercion, i.e. China appeals to the solidarity with the developing world.
- Importance of collective rights, focus on the rights of the many: as the head of the Chinese delegation at the World Conference on Human Rights in Vienna Liu Huaqiu said, “nobody shall place his own rights and interests above those of the state and society, nor should he be allowed to impair those of others and the general public” [27].
- Priority of social-economic rights: according to the Chinese officials, in developing countries the priority of social-economic rights can lead to achieving sustainable development goals.

Despite the efforts of the Chinese authorities to create a positive image of the country as a human rights protector, human rights in China are one of the problem issues in China-West relations. At the international level, both within multilateral and bilateral relations with the West, China takes a tough stance on human rights: any criticism of China in the Human Rights Council by the UN officials or special procedures entails a tough response. China’s officials successfully use principles of sovereignty and non-interference in internal affairs to refuse all accuses of human rights violations [25]. At the bilateral level, the human rights issue has a negative impact on the relations between China, the USA and some European countries. Besides, Beijing uses various diplomatic measures: thus, in response to the annual Country Reports on Human Rights Practices issued by the U.S. State Department from 1998 the Information Office of the State Council of the PRC publishes annual reports on human rights violations in the United States entitled *Human Rights Record of the United States*.

The Chinese authorities react extremely negatively to some activities of the Europeans authorities [26]. Thus, the meetings of the Western European leaders with Dalai Lama whom China considers a separatist and extremist led to negative consequences in the relations with China. The meetings of Dalai Lama with the German Chancellor Angela Merkel in 2007 and French President Nicolas Sarkozy in 2008 led to the decline of trade turnover between China and these countries and to the Chinese cancellation of high-level visits and meetings [32]. Besides, after the Norwegian Nobel Prize Committee in 2010 awarded the Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo for his long and non-violent struggle for basic human rights in China, China froze diplomatic relations with Norway (the parties announced the resumption of political contacts only in December 2016).

The interpretation of human rights in contemporary China differs greatly from the liberal concept of human rights in the West. The Confucian tradition and Marxist ideas had a great influence on the human rights concept in China. The definition of China

as a developing country allows the Chinese authorities to declare human rights as mainly the rights of the Chinese people to subsistence and development. At the same time, China, despite traditionally taking a defensive position on human rights in international activities, in recent years has promoted its own concept of human rights at the international level.

We believe that the basic features of the Chinese human rights concept can be summarized as follows:

- Priority of collective rights over individual rights: from antiquity to the present, human rights are basically defined as collective rights rather than rights of a man. The term ‘man’ refers to the singular ‘entity’ of people rather than individuals, i.e. no individual can claim his human rights to protest against the status quo [3].
- Priority of civil rights over human rights: the latter are to be recognized by the authorities and not to be claimed by or for oneself; moreover, ‘rights’ only exist as something given by the state.
- Priority of social-economic rights over other types of rights for the former contributes to the sustainable development of China and developing countries.
- Peace and development: the rights to peace and development are considered not only the most important universal rights but also as a freedom from structural, institutional and other forms of pressure and coercion.
- Non-intervention and sovereignty principles: human rights are defined as a part of domestic policies within the jurisdiction of national governments.

References

- [1] A brief history of the modern human rights discourse in China. 1995. https://www.carnegiecouncil.org/publications/archive/dialogue/1_03/articles/515.
- [2] Angle S. *Human rights and Chinese Thought. A Cross-Cultural Inquiry* Cambridge: Cambridge University Press; 2002.
- [3] Cheng Chung-Ying. Human rights in Chinese history and Chinese philosophy. *Comparative Civilizations Review*. 1979; 1 (1).
- [4] China promotes human rights ‘with Chinese characteristics’. <https://thediplomat.com/2017/12/china-promotes-human-rights-with-chinese-characteristics>.
- [5] Christensen D. Breaking the deadlock: Toward a socialist-confucianist concept of human rights for China. *Michigan Journal of International Law*. 1992; 13 (2).
- [6] Cohen R. People’s Republic of China: The human rights exception. *Human Rights Quarterly*. 1987; 9 (4).
- [7] Constitution of the People’s Republic of China. 2004. http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2825.htm.
- [8] De Bary W.T., Tu Weiming (Eds.). *Confucianism and Human Rights*. New York: Columbia University Press; 1998.
- [9] Degterev D.A., Li Yan, Trusova A.A. Rossijskaya i kitajskaya sistemy okazaniya mezhdunarodnoj pomoshchi: sravnitelny analiz [Russian and Chinese systems of development cooperation: A comparative analysis]. *RUDN Journal of International Relations*. 2017; 17 (4) (In Russ.).
- [10] Deklerck S. Human rights in China: tradition, politics and change. *Studia Diplomatica*. 2003; 6.
- [11] Duering D. Human rights and the case of China. 2013. <http://web.isanet.org/Web/Conferences/HR2016-NYC/Archive/96592905-1017-43f0-bd8c-44f140396186.pdf>.

- [12] Edwards R. Human rights in contemporary China. 1934. <https://archive.org/details/humanrightsincon00edwa>.
- [13] Fortman B. Human rights in the context of international relations. 2011. <http://www.e-ir.info/2011/07/30/human-rights-in-the-context-of-international-relations-a-critical-appraisal>.
- [14] Heilmann S. China, der Westen und die Menschenrechte. *CHINA Aktuell*. 1994; 23.
- [15] Kent A. *China, the United Nations, and Human Rights: The Limits of Compliance*. University of Pennsylvania Press; 1999.
- [16] Liu Junhai, Li Zhong (Eds.) *中国当代现正与人权热点* [Topical Issues on Constitutionalism and Human Rights in Present-Day China]. 昆仑出版社 [Kunlun Press]; 2011 (In Chinese).
- [17] Mueller S. Konzeptionen der Menschenrechte im China des 20 Jahrhunderts. *Mitteilungen des Instituts für Asienkunde*. 1997; 274.
- [18] Na Jiang. *China and International Human Rights: Harsh Punishments in the Context of the International Covenant on Civil and Political Rights*. Springer Science & Business Media; 2013.
- [19] *New Progress in the Legal Protection of Human Rights in China*. 2017. <http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1613604/1613604.htm>.
- [20] Peerenboom R. *Confucian Harmony and Freedom of Thought in Confucianism and Human Rights*. New York: Columbia University Press; 1998.
- [21] Perry E. Chinese conceptions of ‘rights’: From Mencius to Mao — and now. *Perspectives on Politics*. 2008; 6 (1).
- [22] Potter P. Selective adaptation and institutional capacity: Perspectives on human rights. *China International Journal*. 2006; 61 (2).
- [23] *Progress of Human Rights in China. 1995*. <http://www.china.org.cn/e-white/phumanrights19/index.htm>.
- [24] Rabet D. Human rights and globalization: The myth of corporate social responsibility. *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences*. 2009; 1 (2).
- [25] Sceats S., Breslin Sh. *China and the International Human Rights System*. London: Chatham House; 2012.
- [26] Shao Kaiyu. EU, China, and the concept of human rights: From a cultural relativism perspective. <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=4001011&fileId=4001012>.
- [27] Statement by Liu Huaqiu, head of the Chinese delegation, at the World Conference on Human Rights in Vienna, June 17, 1993. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/chnint1&div=40&id=&page>.
- [28] Sun Pinhua. Chinese Discourse on Human Rights in Global Governance. *The Chinese Journal of Global Governance*. 2016;1(2):192—213.
- [29] Svensson M. *Debating Human Rights in China — a Conceptual and Political History*. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers; 2002.
- [30] Tiwald J. Confucianism and human rights. T. Cushman (Ed.) *Handbook of Human Rights*. Routledge; 2011.
- [31] Tsyyk A.V. ‘Greater Europe’ or ‘Greater Eurasia’? In search of new ideas for the Eurasian integration. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (2).
- [32] Tsyyk A. Problema prav cheloveka i germano-kitajskie otnosheniya [The human rights issue and German-Chinese relations]. *Sovremennaya Evropa*. 2017; 1 (73) (In Russ.).
- [33] Tsyyk V.A., Tsyyk I.V. Individual professionalization in information society: Challenges and prospects. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (3).
- [34] Weatherley R. *The Discourse of Human Rights in China: Historical and Ideological Perspectives*. New York: St. Martin’s Press; 1999.
- [35] Wenhui Zhong. China’s human rights development in the 1990s. *Journal of Contemporary China*. 1995; 4 (8).

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-20-30

Китайская концепция прав человека и ее международное продвижение*

А.В. Цвык, Г.И. Цвык

Российский университет дружбы народов
Ул. Миклухо-Макля, 6, Москва, Россия, 117198
(e-mail: tsvyk_av@rudn.university; tsvyk_gi@rudn.ru)

В последние десятилетия проблема прав человека в Китае стала одним из наиболее спорных и противоречивых вопросов во взаимоотношениях Китая и Запада. Суть споров, по мнению авторов, заключается в непонимании западными странами специфики прав человека в «Поднебесной», которые во многом отличаются от либеральной концепции прав человека на Западе. Концепция прав человека в Китае основана на национальной традиции верховенства государственных интересов над личными. На формирование понятия прав человека в Китае большое влияние оказали древние философские течения (в первую очередь конфуцианство), а также марксизм. Китайская концепция прав человека придает особое значение необходимости уважать коллективные права и их верховенству над личными правами, преобладанию социально-экономических прав над политическими. Под правами человека руководство страны понимает гражданские права, отмечая их примат над естественными правами. По мнению руководителей КНР, подобное определение прав человека обеспечит стабильность и безопасность государства, защитит его суверенитет, будет способствовать созданию «среднезажиточного общества» *сяокан*. В то же время Китай, традиционно занимавший оборонительную позицию, которая сводилась к публикации с 1991 года Белых книг по правам человека в ответ на критику западных стран, а также к созданию двусторонних диалоговых механизмов по правозащитной проблематике со странами Запада, начал продвигать собственную концепцию прав человека на международном уровне, используя как институты международной системы защиты прав (в рамках Совета по правам человека ООН), так и форумы по правам человека, которые проходят в Китае (Пекинский форум и Форум «Юг—Юг»). По мнению авторов, необходимо изучать факторы, которые определили понимание прав человека руководством страны, а также цели, задачи и механизмы «дипломатии прав человека» в Китае. В частности, авторы обозначают особенности концепции прав человека, которую Китай продвигает на международной арене.

Ключевые слова: Китай; западные страны; права человека; политический дискурс; конфуцианство; марксизм; дипломатия

* © Цвык В.А., Цвык Г.И., 2019.

Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Проект № 17-27-21002.

Статья поступила в редакцию 21.11.2018 г.



DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-31-39

Addis Ababa master development plan: A program for development or for ethnic cleansing?*

Aberra Degefa

Addis Ababa University
P.O. Box 1176, Addis Ababa, Ethiopia
(e-mail: kaberra@yahoo.com)

Abstract. It is the legitimate authority of states to prepare and implement development plans. In the democratic society, preparation and implementation of development plans necessarily imply consultations and consent of the local communities affected by the development plan. Such plans should not be unilaterally prepared and coercively imposed on local communities. Any imposed development plan is incompatible with fundamental human rights and freedoms. Thus, the article aims at identifying whether or not the so-called ‘Addis Ababa Integrated Master Plan’ is a true and elaborate development plan. A real development plan ensures that the intended development project does not result in destruction of the livelihoods and cultural integrity of the local communities living in the project area. The author also considers possible explanations for the Ethiopian Government’s refusal to listen to the continuous protests of the Oromo people against the ‘Addis Ababa Integrated Master Plan’. In the particular context of regional development aiming at the hidden ethnic cleansing, the intent to destroy a certain group’s cultural identity cannot be declared openly by the government but it can be seen in the relevant long-term policies, governmental patterns of actions and facts of everyday life. The article examines from the historical perspective the long-term successive Ethiopian governments’ policies and relevant facts to reveal the state’s intent to destroy the Oromo identity in Addis Ababa and its suburbs. If the Oromo are evicted from the ancestral land their economic life, social networks, language, cultural traditions and norms will be destroyed, and the Oromo in the area of the ‘Addis Ababa Integrated Master Plan’ will eventually disappear as a cultural group with a distinct ethnic identity.

Key words: regional development plan; Addis Ababa; Oromo; government; protests; human rights; ethnic group; cultural identity

Many states were created by conquest or some kind of violence; many states reconstituted themselves on the basis of people’s consent; many former empire-states created by bringing various people together by armed force still exist due to violence. Ethiopia is such an empire-state with no essential changes in the nature of state or the style of governance of its successive rulers. The Ethiopian state was formed and is still maintained by the armed force. In its long history, power has never been transferred from one regime to another peacefully. State institutions have always remained under the hegemony of elites from Amhara or Tigray ethnic groups that are in control of state power and land. Constitutions did not bring any essential changes in the nature of the Ethiopian state institutions and the authoritarian governance. On the contrary,

* © Defega Aberra, 2019.

The article was submitted on 21.11.2018.

successive rulers have always refined and strengthened the inherent exclusivist character of state institutions to make them more suitable for their authoritarian governance and predatory purposes [7; 11].

The embedded structural violence became a key attitude of the government to the Oromo people from the time of conquest, i.e. Menelik's genocidal war to conquer the Oromo people and control their land. After Menelik's war, the Oromo lost not only sovereignty and land but also their governance system, culture, language and dignity. Various forms of brutal and murderous violence were used by Menelik against the Oromo during the genocidal war of conquest [10]. It is in this structurally phobic historical and political setting for the Oromo that the Government of Ethiopia proposed the 'Addis Ababa Integrated Master Plan' that caused immediate protests of the Oromo. The plan developers consider the Master Plan as a true development project for the benefit of local communities. However, in reality, just similar to the previous Ethiopian rulers' development ideas imposed 'from above', the Government again imposed the Master Plan in the 'top-down' approach. The Master Plan was designed unilaterally by the Government without consultations with the Oromo farmers that will be affected by it for they live in the areas intended for the project. Thus, the article considers possible genocidal impacts of the Master Plan on the Oromo people living in the areas within the territorial borders of the Plan.

The term 'genocide' was used first by the Polish-Jewish jurist Raphael Lemkin in 1944. The term comes from the Greek *geno* that refers to race or tribe and the Latin word *cide* that refers to killing. When combined, the term genocide means the destruction of a nation or an ethnic group. Lemkin used the word 'genocide' to refer to violence that destroys a selected group. Such a destruction of an ethnic or national group can be physical, biological, or cultural. Physical genocide aims at annihilation of the group by killing and maiming; biological genocide aims at decreasing the reproductive capacity of the group including policies of separation of sexes and deportation, involuntary sterilization, and undernourishment of parents; cultural genocide aims at weakening and ultimate destruction of cultural values and practices of the group [4].

Lemkin's definition of genocide is broad and holistic and reflects a variety of destructive measures against the group. According to Lemkin, genocide implies a coordinated plan of actions aiming at "the destruction of essential foundations of the life of national groups with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups. Genocide is directed against the national group as an entity, and the actions involved are directed against individuals, not in their individual capacity, but as members of the national group" [9. P. 147]. In its broader sense, genocide refers to both physical destruction and destruction of the group cultural identity. Genocidal acts do not necessarily imply immediate physical destruction of the group but can be part of the general coordinated plan that aims at the destruction of essential foundations of the life of the national, ethnic, racial or religious group.

On December 9, 1948, the UN General Assembly unanimously adopted the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Article II of the Convention defines genocide as any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, such as killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; imposing measures intended to prevent births within the group; forcibly transferring children of the group to another group. In the discussions of the draft of the Convention, two definitional approaches — broad and narrow — were developed. The original draft of the Convention submitted for discussion to the Assembly included the destruction of essential foundations of the group's life like political and social institutions, and also culture, language, national feelings, and religion, i.e. cultural genocide. However, a definition narrower than that of Lemkin was included in the final Convention and adopted by the General Assembly. The main reason for adopting the narrower definition was the USA and France's strong opposition to the inclusion of cultural genocide and the Soviet Union's objection to the inclusion of political group [8]. The big powers' desire not to criminalize their own behavior was the main factor that determined the choice of the definition; thus, the narrow definition adopted by the Convention has been criticized for being too restrictive.

Concerning the ways of identifying an intent to destroy as an element of genocide, also two positions were developed in the debates. Some scientists define genocide as an intended action of a certain agent openly willing to cause destruction; other believe that genocide is a structural process that “does not require any intending agent; they more readily recognize genocide as those events that destroy a social collectivity, even if evidence of a coherent intent is not available” [13. P. 19]. According to the Convention, genocide involves one or more acts of the group aiming at destroying another group as a whole or in part. Therefore, regardless of the definition, the object and purpose of the Genocide Convention is to safeguard the very existence of the human groups. The Convention seeks to protect the groups' rights to existence as distinct groups with distinct cultural identities. Thus, the definition given by the Convention implicitly includes cultural destruction/genocide due to mentioning essential characteristics of a group.

Cultural genocide refers to the systematic destruction of culture without killing its representatives. Cultural genocide aims at destruction of the values, culture and the very soul of the national, racial or religious group [19]. In the broad sense, cultural genocide implies attacks that go beyond physical and/or biological elements of the group and seek to destroy its political, social, cultural and language institutions [14]. According to Lemkin, the term ‘ethnocide’ which is made up of the Greek word *ethnos* (nation) and the Latin word *cide* can be used interchangeably with the term ‘cultural genocide’. As a rule, the latter has a structural support and takes place over a long period of time as a process and manifests itself in government policies and discriminatory practices [8]. Cultural genocide destroys cultural institutions that provide the group with a sense of holistic communal identity, and destroys people's collectivity by “eroding both their self-esteem and the relationships that bind them together as a community” [19. P. 6].

Actually cultural and physical destructions are interrelated, they are interdependent elements of one process taking various forms. Regardless of the form — physical killing or cultural destruction — if the act destroys group characteristics it is genocide [8]. However, cultural genocide aims at the destruction of essential foundations that make up a group without killing its members. Settler colonialism refers to the situation of the direct settlement of colonizing peoples on the territory that they had conquered or subjugated. There is a nexus between genocide and settler colonialism [9; 23] for settler colonialism usually has two phases: first, the destruction of the national patterns of the colonized group, then the imposition of the national patterns of the colonizer group provided that the indigenous population was allowed to remain. If the indigenous people are removed from the territory, it is resettled by colonialists and the land is distributed between settlers.

Settler colonialism has some specific features. First, settler colonialists arrive to the land they colonize to stay. They are not migrants who live under the already established political order — they bring their own sovereignty and establish their own political order. Second, settler colonialists' genocide is structural, it aims at the destruction of the indigenous system and creating its own system to ensure the settler group dominance [9]. P. Wolfe [23] also considers settler colonialism as ongoing structural for it destroys the indigenous structure and creates its own colonial rule. That is why G. Tinker [19] defines such long-term systemic violence of settler colonialists as structural genocide.

Today in many developing countries including Africa, governments use terms 'investments' and 'development' to refer to the ongoing extensive land lease/sale although others prefer the term 'land grab'. Regardless of the government's aims, these ongoing land leases lead to the displacement and destruction of livelihoods of million poor farmers. Such displacements and human rights violations gave rise to serious concerns and criticisms from the human rights perspective. Many started to advocate for development 'with human face' and based on the idea of human rights. Even a perfect development plan involving land has the potential of having negative consequences due to the displacement. In order to prevent such negative consequences of development involving displacement, the concerned state is to meet the requirements of free, prior and informed consent of the affected people. To make development human-friendly, those to be affected by the development are to be consulted and participate in the decision-making and benefit-sharing. Whatever reasons or name the government gives to a certain investment or development plan, if it does not imply free, prior and informed consent of the affected people and if it results in the deprivation of group livelihoods and destroyed cultural identity, it is a genocide under the guise of development even if it does not affect the groups' physical survival but destroy its livelihoods and culture. Thus, a group can be destroyed by eliminating markers of its culture and identity which leads to the eventual disappearance of the group as a collective entity [16].

In the particular context of development, genocide hides behind the development mask. Besides, one cannot expect today's governments to openly declare the intent to destroy a group for the state will be accused of crime against humanity. In such cases,

the intent to destroy a group can be seen in the facts of real life serving as indicators of the government plans for genocide. Moreover, from the historical perspective, genocidal acts in the given country can form a sustainable political pattern of persecuting a group and result in the destruction of the group cultural identity [16]. If there is an already established pattern of persecuting a group, this pattern can serve as an indicator of intentional structural genocide. Whatever its aims or grounds are, the group loses livelihoods and identity under the guise of development. The current genocide is proved by the fact that the declared development has the potential to destroy the essential foundations of the groups' life and identity.

Ethiopia was established as a multi-ethnic empire-state at the end of the 19th century by the emperor Menelik. Among the national groups subjugated by Menelik, the largest were the Oromo that lost their land and sovereignty. After winning their genocidal war of conquest, the Abyssinian rulers created state structure and institutions unfriendly to the Oromo values, beliefs, culture and language. The state institutions were made as exclusivist as possible to satisfy the hegemonic ambitions of the rulers. From the very early period, totally ignoring the diversity of the polity, the Abyssinian rulers adopted assimilation policy aiming at making a nation-state out of the multi-ethnic society so as to turn the empire into a prison for nationalities. However, the nation-building aspirations of the Ethiopian rulers has always met resistance of the oppressed groups including the Oromo. There were no efforts to change the inherently exclusivist and predatory character of the Ethiopian state machinery and the system as a whole, so the empire never had sustainable peace due to being a tyranny and ethnic hegemony. When we consider the Ethiopian political history, there is one thing that remained despite all changes of regimes and constitutions: whatever Abyssinian group established its hegemonic rule, at first it took political and economic powers and then used the established hegemonic political culture to create and maintain the predatory and exclusivist state institutions.

After losing their land and sovereignty, the Oromo continued to live under the rule of the Abyssinian genocidal state institutions. The inherently genocidal policies of the Ethiopian rulers determined the continuous mistrust between the Oromo and Ethiopian state authorities, and the Oromo has never stopped their struggle for sovereignty and land [6]. Many wonder why the 'Addis Ababa Master Plan' caused such sudden and unprecedented Oromo protests. To understand why the Master Plan caused such protests, one needs a clear understanding of the history of Addis Ababa and of the nature of relationship of the city with the Oromo in general and with those living in its suburbs. Before the foundation of Addis Ababa in 1886, its territory was known as *Finfinne* and inhabited by different Oromo clans like the Abbichu, Eekka, Galaan and Gullalle belonging to the Tuulama Oromo. Different Oromo clans in the area had their own Gada governance system and leaders, their own beliefs, language and culture [15].

Before the foundation of Addis Ababa there were prosperous Oromo villages and settlements like *Birbirsa* with the catholic mission. Menelik evicted the Oromo by armed force from their ancestral land and gave this land to his people [1]. The Oromo who lived in and around Finfinnee for generations were evicted by genocidal violence

in the form of ethnic cleansing. Menelik distributed land between his generals and soldiers to ensure effective control over the Oromo ancestral land. The ruling elites established their own political order and institutions, killed Oromo Gada leaders, christianized Oromo leaders and appointed those who agreed to take Christian name and forget Oromo language, culture and way of life. They changed the names of the places and destroyed the ritual sites of the Oromo people [1; 3]. The Oromo song of that time said: *No more standing on Inxooxo to look down at the green pasture land below the hill; No more taking cattle to Finfinnee water to water at mineral spring; No more assembly on Tullu Daalatti where the Gullallee tribe meet the assemblage; No more going to Gafarsa to collect firewood; No more taking calves to grazing land on Hurufa bombi; The year the Abyssinians came, our cattle were consumed; With Mashasha's arrival our sovereignty is gone.*

After the Oromo were evicted from their ancestral lands, to ensure an effective control over the area Menelik issued the 1907 edict to legalize the Oromo's eviction and to give land titles to his generals and soldiers. It was that edict of Menelik that alienated the indigenous Oromo from their ancestral land. The names of those generals and people with the title *Ras* were used as the names of different localities (*sefers*) in Addis Ababa for many years [1; 3; 15]. Thus, Addis Ababa was founded on the Oromo ancestral land after the brutal and genocidal war against the Oromo. The city was established as a settler garrison town repopulated by Menelik's people and the land was distributed among Menelik's army and his people. Since then, Addis Ababa has expanded by displacing and dispossessing more and more Oromo living in its suburbs. Due to these historical facts and the predatory urban policies, the relationship between Addis Ababa and the Oromo living in its suburbs has never been friendly.

In the historical perspective, the politics of successive Ethiopian rulers towards the Oromo has always involved genocide to eradicate the Oromo language, culture and national identity by the assimilation policy. In Addis Ababa, the intent to destroy the Oromo culture and identity can be seen in the legally sanctioned eviction of the Oromo from Addis Ababa and its suburbs during a century [1; 15]. According to the Oromo, in order to find out whether the 'Addis Ababa Integrated Master Plan' is a true development plan or not, it is important to remember the history of how Addis Ababa was founded and expanded. The city started as a few hectare garrison town on the Oromo land, expanded on the Oromo land and still continues to grow by displacing the indigenous Oromo living in its suburbs [15]. The 'Addis Ababa Integrated Master Plan' aims at integrating the city with the surrounding Oroma towns such as Burayu, Bishoftu, Galan, Sabbata, Sandaafa, Sululta, Laga-Xaafu, Laga-Dhadhi and other semi-urban areas and farmlands. The designers of the Master Plan are aware of the possible negative consequences for the Oromo living in these areas if the Plan is implemented. The designers are also aware of the strong protests against the Plan of wider Oromo public including OPDO officials.

When considering impacts of the Master Plan, one should understand what these areas are meant for according to the Plan: the farmers will be evicted from the farmlands that are the source of their livelihoods and on which they lived for generations.

The Master Plan does not only grab land but also destroys cultural and linguistic identity of the group. Whatever name is given to the project, it destroys the roots of the Oromo living in these areas and deprives them of their collective identity. Moreover, the Plan was designed in total disregard of the interests of millions of Oromo farmers living in these areas. The Plan is imposed ‘from above’ as has always been, while a real development plan needs a free and informed consent of the affected people and includes measures to avoid or minimize any possible destruction to local communities. The designers of the Master Plan refuse to recognize examples from other parts of the world concerning legitimate development and ignore Oromo protests of unprecedented scale that has already led to hundreds of innocent victims. Such patterns are clear indicators of the designers’ intent to destroy the Oromo identity in the area under the guise of the ‘Addis Ababa Integrated Master Plan’. The wider Oromo public believe that the Plan has a double strategy: first, it will legalize the previously illegally annexed Oromo land; then it will create a large territory/region free from the Oromo.

Thus, the history of how Addis Ababa was founded and developed corresponds to what Lemkin [9] and Wolfe [23] wrote about the relationship between settler colonialism and genocide. Addis Ababa’s history is a history of genocide including periods of its growth and expansion. If the ‘Addis Ababa Integrated Master Plan’ results in displacing the Oromo from their ancestral land and in destruction of their cultural identity, then, from the Oromo perspective, the Plan has a genocidal agenda consistent with the previously established government policies.

If we want to understand the aims of the Master Plan and the reasons for the Oromo protests, we should consider the historical power relationship between the Ethiopian state and the Oromo people. Menelik founded Addis Ababa as a garrison town by forcibly taking lands of the Abichu, Eeka, Galan and Gullalle Oromo. The forcible displacement led not only to the total removal of the Oromo but to the destruction of their cultural and identity basis. The city was built, grew and expanded on the graveyard of the Oromo clans that were almost eliminated and replaced by Abyssinian settlers. From its very foundation, the growth and expansion of Addis Ababa has always damaged the livelihoods and identity of the Oromo living in its suburbs, which explains the unprecedented Oromo protests against the unilaterally proposed and imposed ‘Addis Ababa Integrated Master Plan’. One needs to assess social-economic, cultural and political impacts of the past development projects on the displaced Oromo who lived in and around Addis Ababa before and after the current government. The Oromo living in the suburbs of Addis Ababa gained nothing except for the loss of livelihoods from the ongoing growth and expansion of Addis Ababa. For the evicted Oromo farmers, the so called ‘development’ and ‘investments’ determined only the loss of their ancestral land and their Oromo identity (*Oromumma*).

If the Master Plan is implemented it will destroy ethnic features of a significant number of the Oromo by evicting them from their ancestral land as their natural, social, economic and cultural environment. For the Oromo as a group, the loss of their ancestral

land will mean the loss of the essential foundations for preserving their language, culture and identity. What makes the Master Plan genocidal is not the physical destruction of the Oromo as individuals but the destruction of the essential foundations of the Oromo (cultural genocide) which makes it impossible for the Oromo to survive as an ethnic group.

References

- [1] Abba Antonios Albertos. *The Apostolic Vicariate of Oromo [Galla], A Capuchin Mission in Ethiopia (1846—1942)*. Addis Ababa; 1998.
- [2] Alamaayyoo Haayilee. *Sirna Gadaa Siyaasa Oromoo Tuulama*. Finfinnee; 2007.
- [3] Benti Getahun. *Addis Ababa: Migration and the Making of a Multiethnic Metropolis, 1941—1974*. Asmara; 2007.
- [4] Davidson L. *Cultural Genocide*. New Brunswick; 2012.
- [5] Draft Convention on the Crimes of Genocide, UN ESCOR. UN Document E/447(1947).
- [6] Eshetu Erena. *Ye Oromo taarik kaxint iske 1890 wochu macarasha*. Finfinnee; 2009.
- [7] Holcomb, Sisay Ibsa. *Invention of Ethiopia: The Making of Dependent Colonial State in Northeast Africa*. Asmara; 1990.
- [8] Kingston L. The destruction of identity: Cultural genocide and indigenous peoples. *Journal of Human Rights*. 2015; 14.
- [9] Lemkin R. *Axis Rule in Occupied Europe*. Washington; 1944.
- [10] Markakis J. *Ethiopia. The Last Two Frontiers*. Woodbridge; 2011.
- [11] Merera Gudina. *Ethiopia: From Autocracy to Revolutionary Democracy: 1960s—2011*. Addis Ababa; 2011.
- [12] Morsink J. Cultural genocide, the Universal Declaration, and minority rights. *Human Rights Quarterly*. 1999; 21 (4).
- [13] Moses A.D. Empire, colony, genocide: Key words and the philosophy of history. *Empire, Colony, Genocide, Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History*. New York; 2009.
- [14] Nersessian D. Rethinking cultural genocide under international law, human rights dialogue: Cultural rights. http://www.carnegiecouncil.org/publications/archive/dialogue/2_12/section_1/5139.html.
- [15] Pankhurst R. *State and Land in Ethiopian History*. Addis Ababa; 1966.
- [16] Roos S.R. Development genocide and ethnocide: Does international law curtail development induced displacement through prohibition of genocide and ethnocide? *Center for Human Rights and Humanitarian Law*. 2002; 9 (3).
- [17] Silina E. Genocide by attrition. *International Affairs Working Papers*. San Francisco; 2008.
- [18] Strauss S. Contested meanings and conflicting imperatives: A conceptual analysis of genocide. *Journal of Genocide Research*. 2001; 3 (3).
- [19] Tinker G.E. *Missionary Conquest: The Gospel and Native American Cultural Genocide*. Minneapolis; 1993.
- [20] Tronvoll K. *War and the Politics of Identity in Ethiopia: The Making of Enemies and Allies in the Horn of Africa*. New York; 2009.
- [21] Vaughan S., Tronvol K. (2003). *The Culture of Power in Contemporary Ethiopian Political Life*. Sida Studies; 2003.
- [22] Veracini L. *Settler Colonialism: A Theoretical Overview*. London; 2010.
- [23] Wolfe P. Settler colonialism and the elimination of the native. *Journal of Genocide Research*. 2006; 8 (4).

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-31-39

Генеральный план развития Аддис-Абебы: программа развития или этнической чистки?*

Аберра Дегефа

Университет Аддис-Абебы
А/я 1176, Аддис-Абеба, Эфиопия
(e-mail: kaberra@yahoo.com)

Власти любой страны имеют легитимное право разрабатывать и реализовывать планы регионального развития. В демократических обществах разработка подобных планов и тем более их практическая реализация с необходимостью предполагают консультации с местными сообществами и получение согласия тех групп, жизнь которых подвергнется неизбежным изменениям. Подобные планы не должны разрабатываться в одностороннем порядке и насильно навязываться местным сообществам. Их принуждение к участию в реализации планов развития противоречит фундаментальным правам и свободам человека. Статья призвана ответить на вопрос, можно ли считать так называемый «Объединенный генеральный план развития Аддис-Абебы» планом развития: любой настоящий проработанный план развития предполагает, что задуманный проект не приведет к лишению местных сообществ средств к существованию или к разрушению культурного единства групп, проживающих на данной территории. Автор также выдвигает возможные объяснения нежеланию правительства Эфиопии прислушаться к продолжающимся протестам народности оромо против «Объединенного генерального плана развития Аддис-Абебы». В конкретном контексте регионального развития, тайно нацеленного на этническую чистку, правительство не может открыто декларировать намерение уничтожить культурную идентичность определенной группы, но таковое можно обнаружить в соответствующих долгосрочных политических мерах, предпочитаемых правительством стратегиях и фактах действительности. В статье с исторической точки зрения рассмотрена долгосрочная последовательная политика правительства Эфиопии и факты, позволяющие утверждать наличие у государства стремления уничтожить идентичность народности оромо в Аддис-Абебе и ее пригородах. Если оромо выселят с территорий их предков, их экономическая жизнь, социальные сети, язык, культурные традиции и нормы будут утрачены и, согласно «Объединенному генеральному плану развития Аддис-Абебы», оромо как культурная группа с особой этнической идентичностью исчезнет из районов, где этот план будет реализован.

Ключевые слова: региональный план развития; Аддис-Абеба; народность оромо; правительство; протесты; права человека; этническая группа; культурная идентичность

* © Аберра Дегефа, 2019.

Статья поступила в редакцию 21.11.2018.



МАССОВЫЕ ОПРОСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КЕЙС-СТАДИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-40-52

Факторы привлечения образовательных мигрантов (на примере сибирских вузов)*

Т.А Булатова, А.П. Глухов

Томский государственный педагогический университет
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
(e-mail: bulatowa@mail.ru; GlukhovAP@tspu.edu.ru)

Привлекательность российской системы высшего образования и России в целом как принимающего сообщества для образовательных мигрантов с позиций концепции «человеческого капитала» видится как индивидуальный выбор мигранта на основе оценки издержек/выгод своего последующего роста как компетентного специалиста и проектирования жизненной траектории. Авторы рассматривают региональный аспект проблемы привлечения образовательных мигрантов в Томск и Томскую область, где научно-образовательный комплекс является градообразующим, а доля студентов в населении (в том числе иностранных) — одна из самых высоких по стране. В статье рассматривается качество отношений «иностраный студент — принимающее сообщество», региональный медийный фон, задающий общественные настроения, и возможности использования социальных медиа мигрантами для социально-психологической поддержки как важнейшие факторы одобрения/неприятия региона в целом и его системы высшего образования. Эмпирической базой статьи послужили полужформализованные интервью с образовательными мигрантами, посвященные миграции ресурсы региональных интернет-медиа и общение образовательных мигрантов в российских социальных сетях. Как показали результаты исследования, межэтническая обстановка в Томской области характеризуется образовательными мигрантами как благоприятная, однако в принимающем сообществе сложилась иерархия установок в отношении разных национально-географических сегментов образовательной миграции, многие жители региона, не испытывая открытой вражды к иностранным студентам, считают, что образовательную миграцию следует приостановить, видимо, под влиянием негативного информационного фона, создаваемого местными медиа в отношении трудовых мигрантов. Социальные сети как поддерживающая коммуникативная инфраструктура частично снимают негатив или равнодушие принимающего сообщества, выступают в эмоционально-компенсаторной роли квази-института, конвертирующего социальный капитал общения в экономические преференции и психологическую удовлетворенность.

Ключевые слова: миграция; образовательные мигранты; межэтнические отношения; этническая иерархия; социальные сети; цифровые диаспоры; региональная специфика

* © Булатова Т.А., Глухов А.П., 2019.

Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Проект № 17-13-70005.

Статья поступила в редакцию 14.10.2018 г.

В мае 2017 г. Правительство Российской Федерации запустило приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», направленный на повышение привлекательности российского образования на международном рынке образовательных услуг [13]. Этот проект соответствует общемировым трендам повышения мобильности иностранных студентов и роста объемов экспорта образовательных услуг. Количество иностранных студентов в мире, по данным ЮНЕСКО, выросло с 2000 по 2012 гг. вдвое — с 2,1 до 4,5 млн [7. С. 155]. В период с 2007 по 2017 гг. во всех развитых странах прослеживалась положительная динамика численности иностранных студентов [26]. Затраты на получение иностранного образования оцениваются в последние годы примерно в 150—155 млрд долларов США в год [5. С. 102]. В России же доля иностранных студентов пока в разы ниже, чем в странах — лидерах по приему студентов из-за рубежа: в 2017/2018 учебном году в России на всех уровнях обучения и всех типах программ получали образование чуть более 240 тысяч иностранных студентов.

Центр социологических исследований при Министерстве образования России в 2015 г. провел опрос среди 3 тысяч иностранных студентов из 100 российских вузов, чтобы выявить причины выбора российского образования. 27% опрошенных иностранных студентов заявили, что выбрали Россию за высокий уровень образования, на втором месте — доступная стоимость обучения (24%). В качестве факторов, повлиявших на выбор вузов, респонденты также назвали рекомендации членов семьи, преподавателей и коллег, а также направление национального министерства образования (особенно студенты из стран Центральной Азии) [3].

В то же время в совместном докладе Центра стратегических разработок и НИУ ВШЭ [15] обозначен целый ряд проблем, связанных с российским экспортом образования: структурный перекос в пользу начальных уровней высшего образования за счет более высоких (магистратура, аспирантура); парадоксальный факт низкой доходности российского образовательного экспорта при сравнительно больших потоках иностранных студентов, отсюда — малая емкость российского рынка образовательных услуг и дешевизна (низкое качество) инфраструктуры проживания, питания и развлечений.

Привлекательность российской системы высшего образования и России в целом как принимающего сообщества для образовательных мигрантов (которые часто, но не всегда могут выбирать региональные локации обучения) имеет смысл оценивать с позиций концепции «человеческого капитала», интерпретирующей предпочтение конкретной образовательной локации как сознательный выбор индивида на основе оценки издержек/выгод своего обучения. Г. Беккер определил человеческий капитал как совокупность навыков, знаний и умений человека, а инвестиции в него — как затраты на образование и обучение [17]. Соответственно, задача принимающей страны — снизить издержки и увеличить количество и качество факторов привлекательности системы образования и страны в целом.

Региональный аспект проблемы привлечения образовательных мигрантов состоит в том, что для Томска научно-образовательный комплекс является градообразующим, вклад вузов в валовый региональный продукт Томской области

составляет около 6—7%, инвестиции томских студентов в экономику города его администрация оценивает в 7 миллиардов рублей в год (затраты студентов на проживание в общежитиях, аренду жилья, питание, гостинично-ресторанный бизнес, телекоммуникации, транспорт и развлечения), при «среднем чеке» каждого студента в 17 тысяч рублей в месяц [9]. При этом порядка 60% томских студентов — иногородние и иностранные граждане: более 10 тысяч из них — иностранные студенты, в основном из Китая, Монголии, Вьетнама, стран Средней Азии [14]. Количество иностранных студентов в городе постоянно растет: доля иностранных студентов всех форм обучения в томских вузах за десять лет выросла с 5,1% до 18,2% [1]. В настоящее время в томских университетах обучаются 59,6 тысяч студентов из 78 регионов России и 68 стран, 10,2 тысячи из них приехали из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для повышения привлекательности региональной системы высшего образования в Томской области важно выявить факторы аттракции томских вузов и региона в целом, что предполагает разведение их на прямые — качество и востребованность высшего образования (в том числе в регионе/стране исхода), качество языковой и профессиональной подготовки, имидж вуза) и др. — и косвенные, связанные с пребыванием в стране/регионе — инфраструктура проживания, возможности и качество связи, что важно для поддержания связи с родиной и диаспорой, возможности сохранения национально-культурных и диаспоральных автономий в общежитиях и кампусах, отправления религиозных обрядов, языковое сопровождение, уровень безопасности и расовой и национальной толерантности, стоимость проживания, питания и сопутствующих услуг, транспортная доступность, возможности дополнительной занятости, культурно-развлекательная притягательность региона, возможности для занятий спортом и др.

Межэтнические отношения в томском регионе всегда привлекали внимание исследователей [11]: в томских вузах уже проводился ряд исследований, направленных на оценку привлекательности и факторов отталкивания российской системы образования для иностранных студентов. В частности, в 2012 году исследовательская экспедиция проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» НИУ ВШЭ рассматривала комплекс проблем, связанных с адаптацией иностранных студентов, в Томском политехническом институте. По итогам проведения полуструктурированных интервью были выявлены следующие трудности адаптации (по убыванию значимости для иностранных студентов): языковой барьер (незнание английского языка преподавателями и студентами, а также городским населением), трудности включения в российское студенческое сообщество (вариант негативной адаптации — этническая сегрегация, общение внутри диаспоры-«гетто»), плохие социально-бытовые условия проживания в кампусе, суровые климатические условия, невозможность трудоустройства во время обучения (чему препятствует выдача только образовательной визы без разрешения на работу) [4].

Важнейшими факторами аттракции иностранных студентов выступает качество отношений с разными группами принимающего сообщества, общий медий-

ный фон освещения миграции, задающий тональность общественного мнения и установки населения по отношению к мигрантам, а также развитость диаспорального (в том числе виртуального) дискурса и поддерживающей коммуникативной инфраструктуры мигранта, физически оторванного от родины. Перечисленные факторы не оказывают прямое влияние на качество образования и компетенции, но могут способствовать/препятствовать позитивному психологическому климату и социальной адаптации иностранного студента.

Коллектив ученых Томского государственного педагогического университета в 2017—2018 гг. провел социологическое исследование межэтнических отношений в поле взаимодействия «иностраный студент — принимающее сообщество» на основе полуструктурированных интервью с иностранными студентами, обучающимися в университетах Томска, опроса населения Томской области и мониторинга региональных новостных интернет-изданий. Целью исследования была оценка отношений между мигрантами и местным населением и качества коммуникаций как факторов привлекательности города и образовательной системы для иностранных студентов. Задачи исследования включали в себя характеристику отношений в связке «иностраный студент — принимающее сообщество», выявление медийного освещения проблемы миграции и анализ использования образовательными мигрантами социальных сетей и виртуальных сообществ.

Теоретическим базисом исследования послужила гипотеза Р. Форда [23], что отношение принимающего населения к мигрантам зависит от их этнической принадлежности и их страны происхождения. В частности, он обнаружил, что в Великобритании негативные поведенческие установки реже встречаются по отношению выходцам из Австралии и Западной Европы, чаще — по отношению к иммигрантам из Африки и Южной Азии [24].

В социальной психологии были выделены три основных принципа построения этнических иерархий: 1) почти все мигранты предпочитают социальные контакты в пределах собственного этнического сообщества; 2) при контактах с другими этническими группами существует иерархия предпочтений, которые разделяются участниками каждой группы (внутригрупповой консенсус); представители разных этнических групп воспринимают иерархию как социальную данность (межгрупповой консенсус). Опросы в Европе, США и Канаде показали, что мигранты североамериканского происхождения, а также из США, Канады и Австралии обычно стоят во главе иерархии, затем идут представители Южной и Восточной Европы, выходцы из стран Азии и Африки находятся на нижних ступенях иерархии [см. также: 18].

В рамках исследовательского проекта в июне—сентябре 2017 г. было проведено двадцать полуструктурированных интервью с иностранными студентами томских вузов — выходцами из Узбекистана, Таджикистана, Бразилии, Вьетнама, Китая, Мали, Индонезии, Палестины, Монголии, Конго, Алжира и Польши. Целью интервью было выявление социально-коммуникативных и психологических проблем в системе «образовательный мигрант — принимающее сообщество», изучение ситуации выстраивания взаимоотношений и «точек напряжения» в ком-

плексе коммуникаций иностранных студентов с ключевыми группами — педагогами, российскими сокурсниками, соседями по кампусу, университетскими знакомыми и жителями Томска. Отношение к мигрантам со стороны данных групп оценивалось самими образовательными мигрантами, поскольку, будучи одновременно объектом и субъектом влияния, они могут охарактеризовать общую картину и выявить неблагоприятные ситуации в контексте межэтнических отношений.

В целом мигранты отмечали благоприятное отношение к мигрантам и отсутствие открытых конфликтов:

«Вообще никогда (не сталкивался с расистскими проявлениями). В Томске нет расизма. В Томске живут спокойные и образованные люди (студент из Нигерии);

«Очень спокойный город» (студент из Италии);

«Это студенческий город, поэтому я могу сосредоточить внимание на учебе» (студент из Южной Кореи).

В ответ на вопросы о выборе образовательной локации респонденты назвали несколько реализованных ими возможностей: некоторые уже имели высшее образование, полученное в своей стране, другие сначала работали в Томске, а затем поступили учиться; выбор места обучения осуществлялся на основе рекомендаций знакомых студентов из своей страны и под воздействием рекламы вуза (выездных приемных комиссий и рекрутеров, что особенно характерно для мигрантов из СНГ); для зарубежных студентов были также важны отзывы прошедших обучение соотечественников, набор предлагаемых стран-участниц программ мобильности, распределение своего министерства образования, интернет-источники о стипендиальной программе и принимающей стороне.

Российские студенты в целом приветствуют привлечение иностранных студентов в вузы, но некоторые опасаются, что им будет уделяться меньше внимания [2]. Негативно сказывается на отношениях иностранных и российских студентов и конкуренция за места в вузах, сравнительно лучшие условия проживания иностранных студентов в общежитиях, большая поддержка иностранных студентов преподавателями, тьюторские обязанности, налагаемые на российских студентов. Кроме того, почти все этнические мигранты предпочитают социальные контакты в пределах собственной этнической группы, расширению ее границ способствует общая религиозная принадлежность (при совпадении), отсутствие трайбалистских предрассудков вне своей страны (для африканских студентов) и хорошее знание русского языка [8].

Респонденты отмечают, что поддерживают связи с представителями своей национальности, проживающими в Томске, — другими образовательными мигрантами и представителями диаспор. Взаимодействие происходит в рамках участия в конфессиональных ритуалах, праздниках, образовательном процессе и бытовой сфере:

«разные мероприятия проходят в Томске, вот мы и участвуем в них, показываем свою национальность... нашу традицию, наш обычай сохраняем» (студент из Узбекистана).

Фактором привлекательности региона для мигрантов является возможность отправления религиозных обрядов и посещения храмов. Томск можно назвать многоконфессиональным городом: хотя религиозные общины и храмы в Томске большинство опрошенных по разным причинам посещают не часто, однако наличие самой такой возможности воспринимается мигрантами как важный предпочтительный фактор.

В рамках изучения межэтнических отношений с принимающей стороной мы выявили иерархию отношений к образовательным мигрантам со стороны российского сообщества. По данным интервью чаще всего нетолерантное отношение к себе отмечают выходцы из Средней Азии, составляющие большинство иностранных студентов в Томске. Китайские и вьетнамские студенты в большей степени удовлетворены отношением к ним принимающей стороны (студентов, преподавателей, местного населения). У африканских студентов внутренний дискомфорт связан, прежде всего, с реакцией местного населения и других студентов на внешние расовые отличия. Европейские студенты легко контактируют с российскими студентами, которые могут использовать для общения с ними английский язык, не столь значительны между ними культурные и ценностные различия, однако доля европейских студентов в томских вузах крайне мала.

В целом можно говорить об иерархии в отношении к иностранным студентам, базирующейся не столько на расовых различиях, сколько на культурно-ценностных и социально-психологических установках. Речь идет о своеобразной иерархии опеки/кураторства иностранных студентов в вузах: так, студенты из азиатских республик СНГ только по формальному признаку относятся к иностранным и часто предоставлены в процессе обучения и адаптации сами себе; студенты из Китая, Вьетнама, Африки, других стран дальнего зарубежья пользуются большим вниманием преподавателей и кураторов из адаптационно-поддерживающих центров вузов; европейским студентам, приезжающим по краткосрочному обмену (например из Польши), уделяется значительно больше внимания со стороны административных структур. «Административный национализм» был отмечен и другими исследователями адаптации иностранных студентов в вузах России [см., напр.: 10].

По данным интервью, большинство иностранных студентов придерживается общепринятых норм принимающей стороны в отношении одежды, поведения, бытовых условий, усваивают традиции проведения российских праздников, пробуют национальную кухню, что можно интерпретировать как стремление иностранных студентов адаптироваться и интегрироваться в принимающую среду [см. также: 12]. Ситуацию дискомфорта зафиксировала одна студентка из Индонезии, строго придерживающаяся национально-религиозных требований в одежде (ношение хиджаба) и отправлениях культа, что вызывало любопытство окружающих и многочисленные вопросы о ее внешнем виде.

В целом способность мигрантов в эпоху транснационализма сочетать в себе несколько идентичностей создает условия, при которых успешное взаимодействие с местным населением становится критически важным фактором привлекатель-

ности региона. Многие томские образовательные мигранты открыты для общения, создают с россиянами деловые и дружеские связи, готовы к широкому диапазону отношений с представителями принимающего сообщества: «*все возможно — дружба, брак*» (студент из Мали); «*вместе учиться и работать*» (студент из Китая); «*соседство, трудовая деятельность*» (студент из Вьетнама). У образовательных мигрантов нет установок на изоляцию, у всех проявляется готовность к совместной учебе и дружеским отношениям.

Как показали данные опроса, по отношению к образовательной миграции установки населения Томской области более позитивны, чем по отношению к трудовым мигрантам: 29,2% (против 3,8% в случае трудовой миграции) считают, что необходимо привлекать больше иностранных студентов, так как томскому региону и вузам нужны финансовые инвестиции. Однако 61% опрошенных опасаются дальнейшего роста образовательной миграции и считают, что следует оставить количество иностранных студентов на том уровне, который уже есть. 8% респондентов проявляют ксенофобию даже в отношении образовательных мигрантов и предлагают полностью ограничить приток иностранных студентов и по возможности избавиться от тех, что уже приехали.

Значительную роль в формировании толерантных/нетолерантных установок принимающего сообщества играют медиа (в том числе цифровые). В рамках исследования был проведен анализ двух ключевых региональных новостных интернет-изданий «Томские новости» и «Новости в Томске» с точки зрения характера освещения и тональности новостей по вопросам образовательной и трудовой миграции (временной интервал — с 1 января 2016 по 1 апреля 2018 г.; каждая новость оценивалась по модальности — положительные, негативные, критические или нейтральные описания).

Следует сразу отметить, что количество новостей по тематике межэтнических отношений и миграции оказалось крайне незначительным. Первое место по числу упоминаний занял тег «*взаимодействие с органами государственной исполнительной власти*»: 10 материалов были посвящены в основном нарушениям закона, нелегальному нахождению мигрантов на территории Томской области, трудовой деятельности без разрешения на работу, кражам имущества; позитивные или нейтральные статьи касались, в частности, внесения поправок в закон, разрешающих продление визы иностранным студентам; на втором месте (6 материалов) оказались статьи по тегу «*межэтнический ивент*» — о шествиях, национальных праздниках, культурно-исторических фестивалях, концертах, организаторами и/или участниками которых являлись коренные и пришлые этносы Сибири, а также образовательные и трудовые мигранты; на третьем месте (3 материала) — материалы по тегу «*образовательные отношения*» — затрагивающие вопросы учебы, проживания и адаптации образовательных мигрантов (например, получение дипломов томских вузов иностранцами или создание справочника Томска для иностранных студентов). Определяя модальность данных материалов, можно сделать вывод, что в целом отношение к мигрантам в Томске, формируемое интернет-СМИ, носит либо отрицательную (половина сообщений), либо нейтраль-

ную окраску (чуть менее половины сообщений), тогда как положительную модальность имеет только 10% материалов.

Содержательный анализ интернет-СМИ выявил преимущественно отрицательную тональность описания мигрантов, поскольку источником информации для большинства публикаций были пресс-сообщения государственных органов, занимающихся проблемами миграции. Основным информационным поводом таких сообщений были вопросы обеспечения правопорядка, применения законодательства, регистрации и проживания мигрантов, несвоевременного оформления документов о пребывании и трудоустройстве. Мигранты в статьях выступают как объекты государственного контроля и регулирования, с которыми связаны многие проблемные ситуации в регионе. Фотоматериалы, сопровождающие сообщения о мигрантах, также в основном связаны с деятельностью правоохранительных органов и правонарушениями. Кроме того, материалы о мигрантах обычно акцентируют их групповые, а не индивидуальные особенности — в результате складывается «обезличенный» образ трудового мигранта, лишенный индивидуальных черт и якобы представляющий опасность для рядового жителя области. Однако все это не относится к образовательным мигрантам: статьи о них обычно имеют нейтральный или положительный характер, но количество репортажей о жизни, учебе и адаптации иностранных студентов в томских интернет-СМИ ничтожно мало.

Критически важной для адаптации образовательного мигранта и, следовательно, для привлекательности региона и системы образования является наличие развитой инфраструктуры коммуникации с диаспорой и страны исхода. Классические теории миграции рассматривали ее как смену родительского общества на принимающее сообщество, позиция мигранта интерпретировалась как маргинальная, «двойное отсутствие», мигрант рассматривался как маргинал, «зависший» в пограничье между двумя обществами, и выход из такой ситуации виделся в политике ассимиляции и адаптации к принимающему сообществу или в «геттоизации» (сохранении маргинальности). Современные подходы, в том числе концепция транснациональной и транслокальной миграции, задают новую глобалистскую перспективу, постулируя «двойное присутствие» мигранта — в принимающем сообществе и обществе исхода (транслокальность) [21].

Исследования адаптационной роли цифровых коммуникаций и социальных сетей стали чрезвычайно популярны в начале XXI века.

К. Лим и Э. Меер [25], рассматривая процесс адаптации корейских студентов к обучению в США, стремились получить ответы на два ключевых вопроса: как иностранные студенты используют социальные сети и как оценивают влияние социальных сетей на их аффективно-эмоциональную и учебно-академическую адаптацию? Результаты исследования показали, что корейские студенты только выиграли от использования социальных сетей: виртуальное взаимодействие позволило им сократить уровень стресса в новой для них западной культуре, предоставив возможность виртуально «подпитываться» от общения с родителями и друзьями, проживающими в Южной Корее.

Э. Дикер [22] подчеркивает важнейшую психоэмоциональную функцию социальных сетей: ежедневный контакт с друзьями и близкими в социальных сетях — важный источник эмоциональной и психологической поддержки. Мигранты сегодня не боятся физической разлуки с членами семьи, поскольку поддерживаются с ними виртуальный контакт, поэтому принимать решение о миграции стало проще [19].

В рамках исследования был проведен анализ использования образовательными мигрантами социальных сетей и виртуальных сообществ как поддерживающей коммуникативной инфраструктуры. Объектом исследования выступили «цифровые диаспоры» (digital diaspora) мигрантов из стран Центральной Азии, прежде всего Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана (в меньшей степени были задействованы мигранты из Монголии и Китая — по причине редкого использования русскоязычных социальных платформ). Данные диаспоры характеризуются широкими возможностями для изучения сетевых сообществ, прозрачностью и общей языковой основой коммуникации (группы в большинстве своем открыты, для их просмотра не требуется приглашение участника, контент и форумы доступны, коммуникация двуязычна или ведется на русском языке).

Сочетание дискурс-анализа контента страниц виртуальных сообществ с методом полужормализованного интервью образовательных мигрантов позволило выявить набор адаптивных функций «цифровых диаспор». Так, социальные платформы, во-первых, способствуют поддержанию близких связей (между родственниками и друзьями), сохраняя пространство интимной коммуникации, благодаря настройкам приватности и наличию разных форматов общения в мессенджерах. Социальные сети предоставляют возможности фоновно узнавать о жизни друзей, не вступая в прямой контакт с ними: подобное «пассивный» просмотр профилей друзей, фотографий и новостей [20] позволяет управлять гораздо большими социальными кругами, чем лишь непосредственный круг общения [16]. Это означает, что пассивный мониторинг обновлений в аккаунте, статусе и ленте новостей друзей и родственников позволяет мигранту «быть в курсе» их жизни и сохранять эффект «виртуального присутствия», что важно для него как психологически, так и с точки зрения поддержания социального статуса и контроля.

Во-вторых, виртуальные этнические сообщества расширяют пространство коммуникаций, масштабируют слабые связи и способствуют их превращению в социальный капитал. Подобный виртуальный социальный капитал очень ценен для мигранта, поскольку открывает доступ к ресурсам, хорошо оплачиваемой работе и психологической поддержке. Кроме того, слабые сетевые связи в виртуальных сообществах — «квазиблизкие», что дает мигранту ощущение наличия виртуальной этнической «квазисемьи» с необходимой психологической и эмоциональной поддержкой и вовлеченностью и создает иллюзию близких сильных отношений. Этнические виртуальные сети генерируют социальный капитал, полезный для каждого их участника, облегчая поиск страны переезда и принятие решения об эмиграции за счет сетевых запросов к уже переселившимся соотечественникам/родственникам, помогая в организации и извещая об этнокультурных мероприятиях, позволяя использовать виртуальные сообщества как бизнес-справочники, доски рекламных объявлений и службы знакомств.

Таким образом, межэтнические отношения в сибирском регионе, в частности в Томской области, образовательные мигранты характеризуют как в целом благоприятные, говоря, что чувствуют себя «как дома» и затрудняясь назвать причины и/или примеры притеснений иностранцев в Томской области. Обнаруженная иерархия установок по отношению к разным категориям образовательных мигрантов со стороны принимающего сообщества связана с социокультурными и социально-психологическими факторами. Образовательную миграцию население Томской области воспринимает более позитивно, чем трудовую миграцию, однако свыше половины опрошенных считают, что образовательную миграцию следует остановить на достигнутом уровне, поскольку не видят ее экономических и других социальных выгод для себя лично и для региона.

Одной из причин тому может быть фрагментарность и выборочно негативная тональность в освещении темы миграции региональными СМИ. Межэтнические отношения в Томской области недостаточно (на фоне масштабов проблем трудовой и образовательной миграции) освещены в региональных интернет-изданиях, а большинство статей имеют отрицательный характер, формируя негативное общественное мнение по отношению к мигрантам, особенно, к трудовым — как непрошенным «гостям», не склонным соблюдать законодательство и пренебрежительно относящихся к нормам поведения принимающего сообщества. Социальные сети и цифровые диаспоры мигрантов как поддерживающая коммуникативная инфраструктура частично снимают негатив или равнодушие принимающего сообщества, выступая также в эмоционально-компенсаторной роли диаспорного квази-института.

Библиографический список

- [1] Власти: более 18% студентов томских вузов — иностранцы // <https://www.riatomsk.ru/article/20180507/inostrannie-studenti-tomsk>.
- [2] Деева А. Из России с дипломом: В томские вузы наберут иностранных студентов // <http://smartnews.ru/regions/tomsk/6833.html#ixzz4w24hzK8i>.
- [3] Иностранные студенты в России // <https://studyinrussia.ru/actual/articles/inostrannye-studenty-v-rossii>.
- [4] Как студенты студентов изучали // <https://www.hse.ru/news/avant/74465897.html>.
- [5] Клячко Т.Л., Краснова Г.А. Экспорт высшего образования: состояние и перспективы в мире и России // Экономика науки. 2015. Т. 1. № 2.
- [6] Кушнарева А.А. Реализация образовательных возможностей студентов-мигрантов в вузах России и Великобритании: на пути к решению // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2012. № 1.
- [7] Нефедова А.И. Масштабы, структура и цели экспорта российского высшего образования // Мир России. 2017. Т. 26. № 2.
- [8] Погодаев Н.П. Владение русским языком как условие адаптации студентов-мигрантов из Таджикистана в университетском пространстве Томска // Вестник ТГУ. Серия: Философия. Социология. Политология. 2015. № 1.
- [9] Приезжие студенты инвестируют в томскую экономику 7 млрд руб. в год // <https://www.riatomsk.ru/article/20141215/studenti-investicii-tomsk>.
- [10] Радина Н.К. Образовательная миграция в контексте новой миграционной политики России // XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Под ред. Е.Г. Ясин. М., 2015. Кн. 4.

- [11] Рыкун А.Ю., Абрамова М.О., Сухушина Е.В. Отношение молодежи Томска к трудовым и образовательным мигрантам (на примере исследования молодежи Томска) // Вестник ТГУ. Серия: Философия. Социология. Политология. 2017. № 37.
- [12] Троцук И.В. Адаптация иностранных студентов к условиям жизни и учебы в России (на примере РУДН) // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2004. № 6—7.
- [13] Утвержден паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» // <http://government.ru/news/28013>.
- [14] Черткова Н. Томск все больше привлекает иностранных студентов // <http://www.tvtomsk.ru/vesti/education/20416-tomsk-vse-bolshe-privlekaet-inostrannyh-studentov.html>.
- [15] Экспертный доклад «12 решений для нового образования» // <https://www.hse.ru/news/expertise/217884372.html>.
- [16] Backstrom L., Bakshy E., Kleinberg J., Lento T.M., Rosenn I. Balance of attention: How Facebook users allocate attention across friends // AAAI International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM), 2011.
- [17] Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago—London, 1993.
- [18] Bessudnov A. Ethnic hierarchy and public attitudes towards immigrants in Russia // European Sociological Review. 2016. No. 2.
- [19] Brinkerhoff J.M. Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement. New York, 2009.
- [20] Burke M., Kraut R.E., Marlow C. Social capital on Facebook: Differentiating uses and users // Proceedings of the 2011 Annual Conference on Human Factors in Computing Systems, 2011.
- [21] De Jong F. The production of translocality. Initiation in the sacred grove in Southern Senegal // Modernity on a Shoestring / Eds. by R. Fardon, W. van Binsbergen, R. van Dijk. Leiden, 1999.
- [22] Diker E. Social media and migration // Review of Political and Social Research Institute of Europe. 2015 // <http://ps-europe.org/social-media-and-migration>.
- [23] Ford R. Acceptable and unacceptable immigrants: The ethnic hierarchy in British immigration preferences // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2011. No. 37.
- [24] Hainmueller J., Hangartner D. Who gets a Swiss passport? A natural experiment in immigrant discrimination // American Political Science Review. 2013. No. 107.
- [25] Lim K., Meier E.B. International student's use of social network services in the new culture: A case study with Korean youths in the United States // Asia Pacific Education Review. 2012. No. 13.
- [26] UNESCO Institute for Statistics. 2015 // <http://www.uis.unesco.org>.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-40-52

Factors for attracting educational migrants (on the example of Siberian universities)*

T.A. Bulatowa, A.P. Glukhov

Tomsk state pedagogical university
Kievskaya St., 60, Tomsk, Russia, 634061
(e-mail: bulatowa@mail.ru; GlukhovAP@tspu.edu.ru)

Abstract. The attractiveness of the Russian higher education system and the country in general for educational migrants in the perspective of the theory of ‘human capital’ is considered in the article as a migrant’s individual choice based on assessing costs/benefits of one’s further life trajectory as a specialist.

* © T.A. Bulatowa, A.P. Glukhov, 2019.

The research was supported by the Russian Foundation for Humanities. Project No. 17-13-70005.
The article was submitted on 14.10.2018.

The authors focus on the regional aspect of educational migration — to Tomsk and the Tomsk Region, in which the scientific-educational complex is a city-forming one, and the share of students (including foreign ones) is among the highest in the country. The article considers the quality of ‘foreign student — host community’ relations, the regional media presentation of migration as affecting the public opinion, and the possibilities of social media for the social-psychological support for migrants as the most important factors for choosing/rejecting the region and its higher education system. The empirical basis of the article consists of the semi-structured interviews with educational migrants, regional Internet media focusing on migration, and educational migrant communication in the Russian social networks. According to the research data, the interethnic situation in the Tomsk Region is estimated by educational migrants as favorable; however, in the host community there is a hierarchy of attitudes towards different national-geographical segments of educational migration; many region’s residents do not show hostility to foreign students but believe that further educational migration must be stopped, which is probably due to the negative information discourse of regional media on labor migrants. Social networks as a supporting communicative infrastructure partially hinder negativity and indifference of the host community acting as an emotional-compensatory diaspora quasi-institution that turns the social capital of communication into economic preferences and psychological satisfaction.

Key words: migration; educational migrants; interethnic relations; ethnic hierarchy; social networks; digital diasporas; regional specifics

References

- [1] Vlasti: bolee 18% studentov tomских вузов — инострaнты [Authorities: more than 18 percent of students at Tomsk universities are foreigners]. <https://www.riatomsk.ru/article/20180507/inostrannie-studenti-tomsk> (In Russ.).
- [2] Deeva A. Iz Rossii s diplomom: V tomskie вузы naberut inostrannykh studentov [From Russia with a diploma: Tomsk universities will get foreign students]. <http://smartnews.ru/regions/tomsk/6833.html#ixzz4w24hzK8i> (In Russ.).
- [3] Inostranne studenty v Rossii [Foreign students in Russia]. <https://studyinrussia.ru/actual/articles/inostrannye-studenty-v-rossii> (In Russ.).
- [4] Kak studenty studentov izuchali [How students studied students]. <https://www.hse.ru/news/avant/74465897.html> (In Russ.).
- [5] Klyachko T.L., Krasnova G.A. Eksport vysshego obrazovaniya: sostoyanie i perspektivy v mire i Rossii [Export of higher education: The state and prospects in the world and Russia]. *Ekonomika Nauki*. 2015; 1 (2) (In Russ.).
- [6] Kushnareva A.A. Realizatsiya obrazovatelnykh vozmozhnostey studentov-migrantov v vuzakh Rossii i Velikobritanii: na puti k resheniyu [Realization of educational opportunities for migrant students in the universities of Russia and the UK: Towards a solution]. *Professionalnoe Obrazovanie v Rossii i za rubezhom*. 2012; 1 (In Russ.).
- [7] Nefedova A.I. Masshtaby, struktura i tseli eksporta rossiyskogo vysshego obrazovaniya [The scale, structure and goals of the Russian higher education export]. *Mir Rossii*. 2017; 26 (2) (In Russ.).
- [8] Pogodaev N.P. Vladenie russkim yazykom kak uslovie adaptatsii studentov-migrantov iz Tadzhikistana v universitetskom prostranstve Tomsk [Fluency in Russian as a prerequisite for the adaptation of migrant students from Tajikistan in the universities of Tomsk]. *Vestnik TGU. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*. 2015; 1 (In Russ.).
- [9] Priezzhie studenty investiruyut v tomskuyu ekonomiku 7 mlrd. rub. v god [Migrant students invest in the Tomsk economy 7 billion rubles per year]. <https://www.riatomsk.ru/article/20141215/studenti-investicii-tomsk> (In Russ.).
- [10] Radina N.K. Obrazovatel'naya migratsiya v kontekste novoy migratsionnoy politiki Rossii [Educational migration in the context of the new migration policy of Russia]. *XV Aprelskaya mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva*: v 4 kn. Pod red. E.G. Yasina. Moscow; 2015. Book 4 (In Russ.).

- [11] Rykun A.Yu., Abramova M.O., Sukhushina E.V. Otnoshenie molodezhi Tomsk k trudovym i obrazovatelnyim migrantam (na primere issledovaniya molodezhi Tomsk) [The attitude of the Tomsk youth to labor and educational migrants (on the example of the Tomsk youth survey)]. *Vestnik TGU. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*. 2017; 37 (In Russ.).
- [12] Trotsuk I.V. Adaptatsiya inostrannykh studentov k usloviyam zhizni i ucheby v Rossii (na primere RUDN) [Adaptation of foreign students to the conditions of life and study in Russia (on the example of RUDN)]. *Vestnik RUDN. Seriya "Sotsiologiya"*. 2004; 6—7 (In Russ.).
- [13] Utverzhden pasport prioritetnogo proekta "Razvitie eksportnogo potentsiala rossiyskoy sistemy obrazovaniya" [The passport of the priority project "Development of the Export Potential of the Russian Educational System" was approved]. <http://government.ru/news/28013> (In Russ.).
- [14] Chertkova N. Tomsk vse bolshe privlekaet inostrannykh studentov [Tomsk attracts foreign students more and more]. <http://www.tvtomsk.ru/vesti/education/20416-tomsk-vse-bolshe-privlekaet-inostrannykh-studentov.html> (In Russ.).
- [15] Ekspertny doklad "12 resheniy dlya novogo obrazovaniya" [Expert report "12 Solutions for New Education"]. <https://www.hse.ru/news/expertise/217884372.html> (In Russ.).
- [16] Backstrom L., Bakshy E., Kleinberg J., Lento T.M., Rosenn I. Balance of attention: How Facebook users allocate attention across friends. *AAAI International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM)*; 2011.
- [17] Becker G.S. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago—London; 1993.
- [18] Bessudnov A. Ethnic hierarchy and public attitudes towards immigrants in Russia. *European Sociological Review*. 2016; 2.
- [19] Brinkerhoff J.M. *Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement*. New York; 2009.
- [20] Burke M., Kraut R.E., Marlow C. Social capital on Facebook: Differentiating uses and users. *Proceedings of the 2011 Annual Conference on Human Factors in Computing System*; 2011.
- [21] De Jong F. The production of translocality. Initiation in the sacred grove in Southern Senegal. *Modernity on a Shoestring*. Eds. by R. Fardon, W. van Binsbergen, R. van Dijk. Leiden; 1999.
- [22] Diker E. Social media and migration. Review of Political and Social Research Institute of Europe. 2015 // <http://ps-europe.org/social-media-and-migration>.
- [23] Ford R. Acceptable and unacceptable immigrants: The ethnic hierarchy in British immigration preferences. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 2011; 37.
- [24] Hainmueller J., Hangartner D. Who gets a Swiss passport? A natural experiment in immigrant discrimination. *American Political Science Review*. 2013; 107.
- [25] Lim K., Meier E.B. International student's use of social network services in the new culture: A case study with Korean youths in the United States. *Asia Pacific Education Review*. 2012; 13.
- [26] UNESCO Institute for Statistics. 2015. <http://www.uis.unesco.org>.



DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-53-70

Взаимные образы Польши и Беларуси в структуре тревел-фото*

Т.В. Бурак

Белорусский государственный университет
Ул. Кальварийская, 9, Минск, Беларусь, 220004
(e-mail: taburak@mail.ru)

Одной из сторон современной реальности является межкультурная коммуникация. Значение ее возрастает, прежде всего, в связи с такими тенденциями развития открытого общества, как стирание границ, визуализация, виртуализация и массовизация социальной жизни. Самостоятельно организованное путешествие как одна из форм туризма представляет собой область социальных практик, реализующих взаимодействие разных типов повседневности (условно «собственной» и «чужой»). В различных дисциплинарных полях, включая социологию, на протяжении всего XX века повседневность постоянно попадала в сферу исследовательского интереса. Однако вопрос о том, как связаны знаки и реальность в повседневных взаимодействиях путешественника, как правило, отдельно и специально не рассматривается. В статье представлены результаты междисциплинарного исследования, цель которого — на основе анализа репрезентаций путешествий, размещенных на туристических интернет-форумах, с помощью методов семиотического и структурного анализа охарактеризовать способы конструирования взаимных образов Польши и Беларуси. Структура этих визуальных образов анализируется с нескольких позиций: новые и социально-типические значения и интерпретации; экспрессивные знаки; тематика и жанр репрезентаций; общие характеристики и различия; нормы и образ жизни; город и природы; прошлое и настоящее; праздники и будни. Проведенное исследование позволило обнаружить содержательное и структурное своеобразие конструкторов повседневности, воспроизводимых в репрезентациях путешествий: интерпретация Беларуси глазами польских путешественников воспроизводит различные соотношения между знаками «сельская местность», «простая жизнь», «сохранение традиций», «спокойный образ жизни»; белорусские путешественники конструируют визуальные образы Польши, в которых друг на друга наслаиваются значения «городской образ жизни», «современный и старый город», «сохранение исторических объектов».

Ключевые слова: повседневные практики; повседневность; путешествие; образ путешествия; тревел-фото; знаковая структура; репрезентация путешествия

Взаимодействие «моей» и иной повседневности осуществляется не только в формате непосредственного общения в конкретном контексте, например, в процессе путешествия, но и в его описаниях. В частности, в сообщениях путешественников, размещенных в Интернете, интеракция подчиняется фрейму виртуального разговора и конвенциональным правилам тематического форума, т.е. контексту-

* © Бурак Т.В., 2019.

Статья поступила в редакцию 23.10.2018 г.

Автор выражает благодарность А. Дмитриеву и Я. Покживницкому (J. Pokrzywnicki) за разрешение использовать их фотоматериалы, представленные на интернет-форумах «Глобус Беларуси» и «Globtroter.pl».

альные характеристики, нормативная структура и распределение статусов и ролей обуславливают форму производства идентичности путешественника и способы конструирования образов повседневности.

Необходимым условием межкультурных взаимодействий, реализуемых в процессе и посредством путешествий, являются представления о разных сторонах другой культуры, преломленные через прочувствованный, увиденный и услышанный социальный опыт, т.е. образы иного социокультурного пространства — это результаты понимания «моей» и чужой повседневности через контексты путешествия. Для выявления и интерпретации структур повседневности рассмотрим визуальные тексты виртуальных форумов самостоятельных путешественников. Основное содержание сообщений на туристических интернет-форумах составляют вербальные и визуальные репрезентации путешествия, но мы ограничимся изучением приемов построения текстов, предназначенных для зрительного восприятия повседневности. Очевидно, что вовлеченность в общение на форумах предполагает наличие сложной системы неявных знаний о соотношении знаковых структур языка (в том числе невербального) и конкретной социокультурной ситуации.

Систематизированная П. Штомпкой [29] методика изучения визуальных текстов демонстрирует возможности качественной методологии в анализе структуры значений и контекста, способов эмоционального воздействия и приемов интерпретации. Разработкой методов анализа иконографических материалов занимались и представители немецкой герменевтической традиции (Х. Кноблаух [23], Р. Хитцлер [22; 28], Х-Г. Зефнер [28] и др.). В современной социологии проблемы социального взаимодействия, стратификации и нормативной структуры часто объясняются усилением значения визуальной коммуникации. Процессы визуализации культуры и массмедиа рассматривались М. Маклюэном [14], Г. Дебором [10], Ж. Бодрийаром [4] и др. В российской социологии роль визуального в повседневной жизни рассматривается в исследованиях городского пространства (С.А. Ильиных [12]), репрезентаций гендерной идентичности (Е.В. Батаева [2]), географических образов путешествий (Д.Н. Замятин [11]) и др.

Междисциплинарный анализ фотографий предусматривает обнаружение взаимной обусловленности знаков, структур участия и вовлеченности. Для развития данного подхода большое значение имеют разработки социолингвистического направления, ориентированного на изучение правил речевого поведения и норм коммуникативного порядка, коммуникативной и языковой компетентности, реализованных в определенной ситуации. Значительный вклад в методологию текстового анализа внесли концепции знаковой структуры (Ю. Лотман [13], Р. Барт [1], У. Эко [19]), теории правил речевого поведения (Л. Витгенштейн [6], Дж. Серль [17], Дж. Остин [15], Э. Сепир [16]) и теория фреймов (И. Гофман [8]). Теоретические аспекты анализа формальной структуры текста представлены в работах Т. Лукмана [24], Н. Лумана [25], Р. Хитцлера [22] и Х. Кноблауха [23].

В отличие от философского и лингвистического подходов социологические теории выходят за пределы анализа структурных отношений языка. Например, И. Гофман [8] обращается к визуальному контексту интеракции, П. Штомпка [29],

П. Бурдые и Л. Болтански [5] — к символической структуре и фоторепрезентации социальных характеристик. Наиболее значимы в изучении отношений между знаком и социальной реальностью концепции А. Шюца [18], Г. Гарфинкеля [7], Ж. Бодрийяра [4], Р. Барта [1], Э. Щеглофа [27], Х. Сакса [7] и др.

Понимание путешествия как повседневного взаимодействия развивается благодаря теоретическим наработкам феноменологии, этнометодологии, символического интеракционизма, структурализма, постструктурализма и конверсационного анализа. В нашем исследовании разграничены понятия «организованный туризм» и «самостоятельно организованное путешествие» [3; 21; 26], чтобы сосредоточиться на области повседневных интеракций, не страдающих унификацией, заданной извне. Принципиальное отличие самостоятельно организованного путешествия состоит в том, что «определение» иной повседневности в нем основано на тщательном поиске информации, и установка на обнаружение нового содержания реализуется не только в разработке маршрута, но и в способах конструирования образов.

В целом путешествие как повседневная практика подчиняется правилам игрового обращения со знаками в пределах процедур кодирования и декодирования, установленных для повседневного разговора. Один из этапов путешествия — создание визуальных текстов: практически всегда автор-путешественник делает большое количество фотографий, а затем формирует фотоисторию, как бы воспроизводя свое путешествие. В одних случаях он сопровождает рассказ визуальными образами в общении со знакомыми людьми, в других — представляет фотоконструкты «поездка» или «путешествие» в публичном пространстве в общении с незнакомыми людьми. Однако и в том, и в другом случае тревел-фото используются в качестве средства поддержания доверия и веры в правдивость образов.

Рассмотрим структуры взаимных образов повседневности двух стран — Польши и Беларуси — посредством изучения знаковых взаимосвязей в репрезентациях путешествий, размещенных на форумах польских и белорусских путешественников: Forum podróżnika (<https://www.fly4free.pl> — сообщения имеют формат кратких советов или непрофессиональных публикаций художественно-публицистического жанра); Globtroter.pl (<https://www.globtroter.pl> — сообщения в формате коротких разговоров, отдельных фотографий и фотогалерей, непрофессиональных художественно-публицистических текстов); Глобус Беларуси (<http://fgb.by> — описания, сочетающие словесную и визуальные части). Была проанализирована 241 публикация визуального контента: авторы 216 сообщений — польские путешественники (12 текстов с фотоисторией и 204 тревел-фото без описаний), 25 текстов, сочетающих вербальную историю и фотоиллюстрации, — белорусские путешественники. Для анализа сообщений использовалось сочетание методов семиотического и структурного анализа — чтобы выявить взаимные образы повседневности Польши и Беларуси у путешественников. В анализе знаково-символической многослойности тревел-фото разведены изображение и значение образа [20], так же как У. Эко различает иконический и иконографический уровни, т.е. создание и восприятие визуальных текстов рассматриваются как сложные

процессы взаимодействия значений и знаков разных систем. Неосознаваемый путешественником прием создания фотоистории как свидетельства соприсутствия в иной повседневности позволяет аудитории воспринимать визуальную репрезентацию как путешествие «изнутри», глазами самого путешествовавшего. Следующие слои тревел-фото образуются посредством кодирования значений и требуют от аудитории использования совокупности повседневных знаний. Построение текста в последовательности и взаимодействии отобранных путешественником фотографий, которые часто не являются постановочными или профессиональными, представляет личное восприятие и интерпретацию реальности. Более того, в структуре визуальных знаков конструируется позитивная идентичность путешественников, стремящихся обнаружить настоящее содержание повседневности. Это намерение, очевидно, заставляет их создавать визуальный ряд как цепочку знаков в определенной очередности «разговора» с иной повседневностью. Так, многослойная знаковая структура фотоистории путешествия организована как система взаимоотношений документально точных изображений (икон), классических значений (иконограмм), экспрессивных знаков (троп), конвенциональных и стереотипизированных формул (топосов), аргументаций и утверждений авторов (энтимем) [19].

В характеристике связей между слоями тревел-фото исследование взаимных образов Польши и Беларуси опирается на несколько показателей: поиск новой информации и/или устойчивых типичных значений; эмоциональные знаки; общепринятые символы и ассоциации и авторские интерпретации (новые значения); тематический и жанровый выбор; признаки общего и инаковости; современность и традиции; нормы и образ жизни; город и природа; прошлое и настоящее; праздники и будни.

Беларусь в репрезентациях польских путешественников

Когнитивную структуру образа белорусского пространства, конструируемого путешественником, составляют традиционные элементы: культура (замки, памятники, достопримечательности, архитектура, кухня), среда и природа, социальные нормы. Однако визуальные и вербальные структуры текста содержат сильную эмоциональную компоненту, например, в комментариях используются языковые формы «белорусская атмосфера», «белорусская картинка», «милые образы», «простая, незатейливая жизнь» и др. Визуализация значений Беларуси в восприятии польских путешественников основана на обнаружении признаков сходства: поиск и выбор образов для презентации иной повседневности реализуют стремление путешественника подчеркнуть общие социокультурные корни: вербальные и визуальные тексты определяют «путешествие в Беларусь» в категориях поиска мест и объектов, связанных с польскими традициями и выдающимися личностями (например, А. Мицкевич, Э. Ожешко).

Милые образы. Простая жизнь. Структура пейзажных тревел-фото представляет буквальное значение в конструировании образа Беларуси — изображения церквей, хат, природы, характерных для сельской местности.

На рисунке 1 обнаруживаются сложные наложения значений: изображенные на переднем плане деревянный жилой дом, вспаханный огород, дрова и хозяйственные постройки указывают на простую жизнь простых людей. Дом окружает обильная зеленая цветущая природа, позади возвышается церковь, что указывает на размеренную, неспешную, медленно текущую сельскую жизнь. Изображение на втором плане конструирует контекст: церковь, упирающейся макушками в голубое небо, символизирует моральный образ жизни, следование религиозным нормам.



Рис. 1. Неспешность бытия
(автор — J. Pokrzywnicki)

Экспрессивные приемы на фото направлены на создание настроения, соответствующего атмосфере Беларуси. Композиционное решение с уходящим вдаль пейзажем и линией горизонта переносит внимание на гармоничную жизнь в природе и выражает восхищение красотой природы. Горизонтальный формат и ракурс обеспечивают спокойствие от соприсутствия. Все знаки и приемы визуального текста работают на конструирование «настоящести» образа, транслирующего спокойствие, радость и счастье.

Социальные утверждения, содержащиеся в данной фотографии, таковы: в Беларуси живут простые люди, отделенные от шума и ритма цивилизации больших городов; белорусам свойственен традиционный деревенский образ жизни; здесь есть места, где жизнь замирает, где нет городской суеты. Образ повседневности Беларуси глазами польского путешественника как бы говорит, что настоящая Беларусь находится за пределами больших городов. Эта часть интерпретации образа Беларуси сопряжена с задачей презентации позитивной идентичности путешественника, отважившегося на самостоятельно организованную поездку в Беларусь: настоящий путешественник (не массовый турист) всегда ищет нетуристические места, стремится попасть в глубинку. Наконец, в совокупности связей

значение «милые образы» включает семы уклада жизни (деревня, простой деревенский дом), ценностного (тишина, чистое небо, зеленая природа) и эмоционального (спокойствие, равновесие) содержания.



Рис. 2. Вечно живой
(автор — J. Pokrzywnicki)

История и традиции. В знаковой структуре интерпретации Беларуси польскими путешественниками особое место отводится традициям — не только в фотографиях мест и предметов культурного прошлого, но и в изображениях объектов памяти, которые связывают две страны общей историей, несмотря на то, что нынешнее отношение к этой истории в Польше и Беларуси может быть разным. В таких тревел-фото иконический уровень содержит изображения культурных и исторических объектов, например, письма А. Мицкевича или памятника В.И. Ленина: в первом случае выбор знаков для презентации белорусской повседневности сопряжен с идентификацией путешественника и характеризует его готовность к обнаружению сходства культуры, запечатлевая объекты, связан-

ные, например, с известными личностями белорусско-польского происхождения. Во втором случае визуальная репрезентация, вероятно, свидетельствует об отношении белорусов к коллективной памяти, и тогда структура визуальных текстов (рис. 2) дополняет конструкт белорусской повседневности значениями, символизирующими намерение чтить память предков, даже когда отношение общества к ним изменилось, а сами события и личности интерпретируются иначе, нередко в категориях «ошибки истории».

Восприятие исторического кода Беларуси основано на поиске польскими путешественниками знаков, обозначающих «сохранение традиций» и в символах советского прошлого. Образ Беларуси дополняют изображения площадей с памятниками эпохи сталинизма, Великой Отечественной войны. Примечательно, что контекст таких фотографий свидетельствует о намерении путешественника конструировать знаки, которые транслируют по-прежнему уважительное отношение белорусов к своей истории, даже к неоднозначно оцениваемым сегодня событиям и фигурам прошлого. Экспрессивность изображений проявляется в выборе вертикального ракурса для подчеркивания значения советского периода в понимании повседневности Беларуси.

Другой слой интерпретации образует традиционный образ Беларуси, представленный наслаивающимися друг на друга значениями культурных объектов (например, колодца, деревянной мельницы или музейных объектов). Все предметы интерьера — вышитые салфетки, плетеные корзинки, деревянная люлька и др. — убеждают в «натуральности» образа, представляют культурные традиции через эстетическое восприятие образа Беларуси. Выбор экспрессивных приемов основан на стремлении зафиксировать чужую повседневность, для которой ценностью является сохранение сложившейся веками традиционной ментальности

предков. В данном случае знаковая структура культурного образа Беларуси характеризует в большей степени эстетическое восприятие, а фото советского прошлого подчеркивает бережное и уважительное отношение к истории.

Различные уровни знаков «сохранения традиции» представляют понимание польскими путешественниками этнической и исторической памяти, отношений настоящего и будущего Беларуси. Органично переплетенные в тревел-фото знаки транслируют запоминающиеся образы Беларуси и придают убедительность аргументации: Беларусь — страна с традициями. Соответственно, презентацию путешествия можно свести к общей формуле: путешествие в Беларусь будет неполным и ненастоящим, если вы не посетите места, сохраняющие традиционную культуру и историю. Поиск знаков уважительного отношения к прошлому своей страны интерпретируется польскими путешественниками как ключ к пониманию белорусской повседневности. Значение «сохранение традиций» образуется семантикой «предки», «памятники истории», «предметы дедов», «предметы из натуральных материалов», «национальная культура», «национальная местная кухня», «советский период», «уважение», «гордость», «память».

Символы и ассоциации. Стереотипы позволяют нам быстро сформировать упрощенное представление о чужой культуре и повседневности. Так, изображение символов представляет значения в сжатом формате и указывает на устойчивые ценности, что во многом объясняет использование в репрезентации путешествий приема ассоциативного восприятия, указывающего на символы Беларуси — белый аист, озера, зубр, леса и заповедники, Минск. Образно-символический ряд тревел-фотографий формируется посредством традиционных способов, отсылающих к связи знака и конвенциональных значений. Структура фотографий, представляющих схематизированный образ Беларуси, транслирует намерение польских путешественников подчеркнуть атмосферность белорусской жизни. Так, на рисунке 3 изображены деревянная срубная изба с замшелой двускатной крышей, окна со ставнями, частичные элементы деревянного забора, вскопанный огород, зелень вокруг, почти по центру — столб, на нем большое гнездо с аистом.



Рис. 3. Полеская атмосфера
(автор — J. Pokrzywnicki)

Образы-иконы на фотографии отсылают нас к семам классических значений: изба как часть национальной культуры, крестьянская хата, сельское хозяйство, чистота. Эмоциональное и эстетическое воздействие на реципиента достигается с помощью разных экспрессивных средств: низкая линия горизонта, обращающая внимание на чистое голубое небо; горизонтальный формат, транслирующий желание охватить перспективу и подчеркнуть спокойствие и тишину; в композиционной структуре на передний план вынесено изображение аиста в гнезде. Следующий уровень знаков на фото образует формула: Беларусь — Белая Русь, чистая и светлая. Отношения между значениями и семами, между буквальными и коннотативными знаками формируют следующее понимание образа Беларуси: настоящую Беларусь ищите в деревне.

Любовь к Родине, патриотизм. Отдельный слой в визуализациях путешествий по Беларуси составляют знаки патриотизма. В зависимости от способа построения семиотической структуры и выбора эмоциональной точки можно различить две группы фотографий польских путешественников: одни тревел-фото не содержат интерпретации образов иной повседневности, воплощенных во взаимодействии, контексте или объектах культуры, а транслирует только буквальное значение «отношение к родной стране» — тогда визуальный конструкт основан на стремлении к документальной достоверности, а его структура не имеет эстетических форм (второй план либо отсутствует, либо имеет несущественное значение). В тревел-фото первой группы, например, могут быть представлены элементы государственной символики, объект с надписью «Я люблю Беларусь!» или в цветах белорусского флага. Экспрессивные приемы конструирования образа не используются для зонирования, они сведены к изображению фрагмента объекта и игнорируют фон. Автор не пытается создать объемный образ, выхватывает только ту часть объекта, что необходима для фокусировки взгляда, например, «вырезая» текст растяжки на здании. Способы конструирования визуального образа Беларуси в данном случае придают особенное значение самоидентификации граждан: повседневность Беларуси наполнена чувствами к своей стране, белорусы дорожат Родиной.

Вторую группу образуют фото, основным содержанием которых является понимание иной действительности. Значения «любовь к родине» устанавливаются с помощью приемов, которые реализуют стремление автора к поиску новой интерпретации. Например, на рисунке 4 по центру изображен автомобиль с белорусским номером на обычной улице. Визуальный текст «работает» вместе с комментарием автора, убеждает в том, что «чудеса» советского автопрома до сих пор ездят по белорусским улицам. Транслируемое таким образом утверждение, что белорусские мастера или автовладельцы стараются сохранять в рабочем состоянии автомобили, на которых, вероятно, передвигались еще их родители, призвано вызывать восхищение, подчеркивая гордость белорусов прошлыми достижениями, и/или удивление консерватизмом и привязанностью к устаревшим, но привычным объектам. Образ Беларуси в подобных фотографиях включает предлагаемую путешественником интерпретацию: на обычных улицах в Беларуси вы можете встретить ретро-автомобили советского периода, и они еще ездят.



Рис. 4. Чудо моторизации
(автор — J. Pokrzywnicki)

Люди и образ жизни. Для понимания иной повседневности необходима характеристика образа жизни. Несмотря на то, что спокойный ритм, вероятно, составляет лишь некоторую часть жизни современного человека, конструирование образа Беларуси не обходится без фотографий отдыха. Фотографии польских путешественников убеждают в том, что белорусы любят отдыхать на природе, их увлечения характеризуют размеренный и неспешный образ жизни (рис. 5). В целостном восприятии путешествия внимание реципиента смещается в сторону эмоционально спокойных образов: тревел-фото транслируют концепцию путешествия в Беларусь как поиска опыта проживания спокойствия, естественности и традиционности в соотношении будней и отдыха.



Рис. 5. Рыбалка
(автор — J. Pokrzywnicki)

Польша глазами белорусских путешественников

Польская повседневность в восприятии белорусских путешественников в первую очередь помещена в пространство города и представлена в переплетении двух образов: старый город и современность. Визуальные образы Польши выстраиваются в череду фотографий таким образом, чтобы обратить внимание на существование прошлого и модерна в целостном образе Польши.

Старый город. Простые значения «старого города» на тревел-фото белорусских путешественников транслируются в изображениях исторических объектов, улиц, перекрестков, площадей и мостовой, т.е. связаны с элементами понятия «образ жизни». Например, в изображениях прогуливающихся людей и движущихся автомобилей на фотографиях старой части польского города (рис. 6) путешественник указывает на то, что внутренняя динамика сложно структурированного городского пространства начинается в историческом центре, что только в Старом городе можно осознать, как изменилось его первоначальное предназначение, и увидеть взаимодействие атмосферы уже несуществующего города с ритмом жизни современного горожанина, обнаружить связи национальной культуры, истории и легенд с нынешними повседневными практиками. В многослойную структуру тревел-фото включена и концепция путешествия, которая выстраивается вокруг многомерного образа «польского города»: всякий, кто приезжает в Польшу, должен обязательно посетить историческую часть города, заметить прозрачность границ между Старым городом и современным.



Рис. 6. Ритм города
(автор — А. Дмитриев)

Современный город. Интерпретация, представленная в визуальных текстах, подчеркивает элементы развитой инфраструктуры, рассогласованность и разнонаправленность современной части города. Элементами, означающими понимание нового города, в фотографиях белорусских путешественников становятся

не только стереотипные составляющие постиндустриальной эпохи (изображения фрактальности архитектуры и структуры города, однотипных высотных и стеклянных зданий), экологии (образы природы в городе) и технологичности (фотографии заводов или транспорта), но и знаки новых форм социальных практик.

Уличные арт-объекты, очевидно, привносят новые толкования в знаковую структуру путешествия. Если в изображениях города они усиливают значения «современность» (рис. 7), то в фотографиях исторической части смещают понимание повседневности к отношениям прошлого и настоящего, человека и городской среды (рис. 8).



Рис. 7. Мурал
(автор — А. Дмитриев)



Рис. 8. Бразильский стрит-арт
(автор — А. Дмитриев)

Элементы прочтения города средствами уличного искусства служат способом перекодирования публичных пространств, поэтому когнитивно-эмоциональная конструкция подобных фотографий несет в себе значения изменения структуры города, перехода от утилитарности к динамичности, эмоциональности и интерактивности, от агрессивности городской среды к ее эстетизации. Взор путешественника постоянно перемещается между значениями динамики города и интерпретациями его внутренних связей. Поскольку смыслы, заложенные в гипертексте, стиле и концепции новых объектов, вступают в разговор с городским пространством, то и понимание городской среды основывается на значениях соседства разных жанров и текстов городской среды, свойственных современному образу повседневности.

Общее прошлое. Для белорусского путешественника обязательной составляющей взаимодействия с иной, но близкой культурой становится обнаружение сходств, поэтому репрезентации путешествия в Польшу отсылают нас к иконам общего советского прошлого и Речи Посполитой. Подобные тревел-фото отображают не только историческое время, но и коллективную память, а в фоторяде путешественника представлена субъективная интерпретация событий прошлого. Разные элементы образа «прошлое» складываются в результате множества выборов, оставляя за пределами кадра все несущественное. Сначала — выбор путешественником объекта для фотографирования и направления взгляда (например, в восприятии части оригинального изображения), затем — выбор фотографии для репрезентации путешествия и вида фотографии при редактировании. Комплекс приемов построения собственного видения подчеркивает, что в понимании повседневности Польши знаки исторической памяти характеризуют ее настоящее и символический капитал — взгляд путешественника охватывает историю чужой повседневности фрагментарно, выбирая те события, что значимы для настоящего или будущего. Закодированная в структуре кадра информация тематизирует актуальность вневременной структуры социально-исторического образа, позволяет «ощутить прошлое острее, чем реальные предметы старины» [14]. Семантический уровень подобных фотографий маркирует знаки прошлого и социальной идентичности, ценность истории и культуры, оценку и значимость событий прошлого.

Время. Взгляд белорусского путешественника выхватывает как существенное содержание польской повседневности слой знаков «сохранения истории в нетронутости». Трепетное отношение к исторической архитектуре, намеренное сохранение разрушенности или естественной разрушаемости воспринимается в путешествии как характерная, удивляющая и странная, непривычная и непонятная особенность польской повседневности, которая конструируется в тревел-фотографиях в нескольких измерениях, сводимых к формуле «европейский город с большой историей»: ценность состаренности, стремление сохранить оригинальную архитектуру транслирует значение укорененности в культурной традиции; другой пласт значений — подлинность жизни — содержит образы сохранившихся исторических объектов; третье измерение — «время — лучший архитектор». Например, знаки времени на рисунке 9 представлены двумя зданиями: слева —

объект без ретуши, с заметным возрастом, справа — образ украшенный, подчищенный за счет вмешательства настоящего. Визуальное сообщение не столько обособляет момент времени «здесь и сейчас», сколько описывает коллаж реальности и взаимоотношение эпох. Знаковые и экспрессивные элементы фотографии предлагают комплекс значений «чувство времени»: свидетельство времени, воздействие времен, здание с историей, дух времени, подчеркивание возраста, искренняя некрасивость возраста. Когда в репрезентации путешествия структура фото транслирует смешение жанров, образов и стилей, отмечая изменения социальности города, образу повседневности придается динамика отношений прошлого, настоящего и будущего.

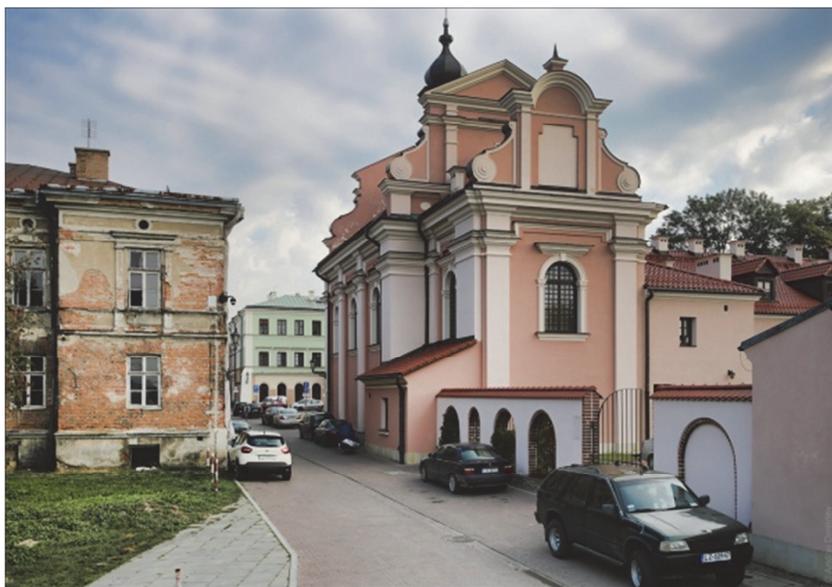


Рис. 9. Время
(автор — А. Дмитриев)

Отдых и праздники. Также как визуальный образ Беларуси в восприятии польского путешественника включает значения сходства и обнаруживает знаки общности польско-белорусской культуры, путешествие в Польшу предполагает конструирование интерпретации иной повседневности в знаках «белорусское в Польше». Этот компонент выполняет эмоциональную функцию и отвечает за воспроизводство собственной идентичности, обнаруживая объекты, напоминающие о родине: фотографии предметов белорусского производства, белорусской символики, рекламы белорусских мероприятий и т.п. Однако основной составляющей визуального описания иной повседневности являются значения инаковости: в структуре образа Беларуси глазами польских путешественников инаковость выражается в знаках традиционного и патриотичного, в отношении к коллективной истории; повседневность Польши в представлениях белорусских путешественников включает знаки праздника, бытовых условий, отдыха и курорта, а контекст

этих знаков обнаруживается на пересечении торжественного и обыденного, отдыха и будней. Используемые экспрессивные средства позволяют транслировать эмоционально окрашенные значения: «горы на юге, море на севере», активный отдых, живописные пейзажи, высокий уровень лечения, мягкий климат и т.п. Таким образом, знаковая структура подобных тревел-фото формирует дополнительную характеристику образа страны как курортной: Польша славится пляжным, горнолыжным, лечебно-минеральным отдыхом, заботится о сохранении природы.

Осуществленный анализ тревел-фото позволяет охарактеризовать путешествие как процесс знакомства с прошлым и настоящим, выявления отношений города и природы, значений праздничного и будничного. Взаимные образы Польши и Беларуси содержат не только документальные свидетельства, а конструируются в ходе путешествия посредством интерпретации непосредственного проживаемого взаимодействия, эмоционального восприятия и усвоенного ранее социального опыта. Поэтому визуализированные представления об иной повседневности являются продуктом позитивной самоидентификации путешественника, основанной на стремлении к обнаружению внутреннего содержания незнакомой культуры, — это «прочитывается» в связях между знаками, образующими понимание «настоящести» иной повседневности и обнаруживающими соприсутствие в структуре образа. Другим важным компонентом, необходимым для поддержания достаточного уровня надежности виртуальных репрезентаций, является символическое и стереотипное содержание.

Образ путешествия сопряжен с поиском культурного сходства и инаковости во взаимоотношениях традиционного и современного, поэтому целостный образ иной повседневности всегда предлагает понимание ее границ, переходов в истории, отношений традиционного и нового. Белорусская повседневность в восприятии польских путешественников сопряжена, прежде всего, с образами сельской местности. Взаимосвязанные элементы тревел-фото характеризуют пересечение визуального, эмоционального и стереотипного понимания Беларуси в значениях «природа», «простая жизнь и простые люди», «спокойствие и тишина». Понимание повседневности Польши, напротив, чаще представлено в уличных фотографиях, конструируя значения «город», «динамика города» в изображениях улиц и дорог.

Любое путешествие предполагает знакомство с иной повседневностью, но самостоятельно организованное путешествие отличается поиском аутентичного содержания. В визуальных интерпретациях Беларуси акцент путешественника сосредоточен на нескольких уровнях взаимосвязанных элементов знаковой структуры: сохранение культурной памяти, вне зависимости от изменений интерпретации событий прошлого; воспроизводство патриотических чувств и образ жизни. Повседневность Польши конструируется белорусскими путешественниками как сложное наслаивание знаков, смыслов и символов: история и настоящее; время; праздники и будни. Многослойная структура тревел-образов, с одной стороны,

привлекает внимание к оригинальным приемам интерпретации, с другой стороны, акцентирует устойчивые ценности и символы. Так, образ польской повседневности в визуальном контенте белорусского туристического интернет-форума конституируется в значениях — Шопен, разрушенный и восстановленный город, горы, море и т.д. Упрощенные культурные образы Беларуси глазами польского туриста представлены на уровне знаков-икон — аист, «Беларусь синеокая», замки, Минск. Тревел-фотографии обладают уникальной способностью отражать многослойность повседневности в сложных взаимосвязях структурных элементов образов, значений и символов. Кроме того, взаимные визуальные образы, создаваемые непрофессиональными фотографами, обнаруживают нелинейный характер реальности путешествия как взаимодействия моей и чужой повседневной жизни.

Библиографический список

- [1] *Барт Р.* Camera lucida. Комментарий к фотографии / Пер., комм. и послесл. М.К. Рыклина. М., 2011.
- [2] *Батаева Е.В.* Гендерная визуальность современной рекламы // *Социология: теория, методы, маркетинг.* 2010. № 3.
- [3] *Бауман З.* От паломника к туристу // *Социологический журнал.* 1995. № 4.
- [4] *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция. М., 2015.
- [5] *Бурдые П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборедон Ж.-К.* Общедоступное искусство. Опыт о социальном использовании фотографии / Пер. с франц. Б.М. Скуратова; послесл. А.Т. Бикбова. М., 2014.
- [6] *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. М., 2010.
- [7] *Гарфинкель Г., Сакс Х.* О формальных структурах практических действий // <http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0klass--00-0-0-00prompt-10>.
- [8] *Гофман И.* Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. М., 2004.
- [9] *Дашикова Т.* Телесность—Идеология—Кинематограф. Визуальный канон и советская повседневность. М., 2013.
- [10] *Дебор Г.* Общество спектакля. М., 2000.
- [11] *Замятин Д.Н.* Образы путешествий: социальное освоение пространства // *Социологические исследования.* 2002. № 2.
- [12] *Ильиных С.А., Табарков А.В.* Городское пространство: специфика управления // *Теория и практика общественного развития.* 2015. № 13.
- [13] *Лотман Ю.М.* Семиосфера. СПб., 2010.
- [14] *Маклюэн М.* Понимание медиа: Внешние расширения человека. М., 2014.
- [15] *Остин Дж.* Как производить действия при помощи слов. Смысл и сенсibiliли / Пер. с англ. В.П. Руднева, Л.Б. Макеевой. М., 1999.
- [16] *Сенур Э.* Бессознательные стереотипы поведения в обществе // *Сенур Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 2002.
- [17] *Серль Дж.* Что такое речевой акт? // *Новое в зарубежной лингвистике.* 1986. Вып. 17.
- [18] *Шюц А.* О множественности реальностей // *Социологическое обозрение.* 2003. Т. 3. № 2.
- [19] *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2006.
- [20] *Bohnsack R.* The interpretation of pictures and the documentary method // *Forum Qualitative Sozialforschung.* 2008. Vol. 9. No. 3.
- [21] *Cohen E.* A phenomenology of tourist experiences // *Sociology.* 1979. Vol. 13. No. 2.
- [22] *Hitzler R.* Sinnrekonstruktion. Zum Stand der Diskussion (in) der deutschsprachigen interpretativen Soziologie // *Forum Qualitative Sozialforschung.* 2002. Vol. 3. No. 2.

- [23] *Knoblauch H., Baer A., Laurier E., Petschke S., Schnettler B.* Visuelle Analyse. Neue Entwicklungen in der interpretativen Analyse von Video und Fotografie // Forum Qualitative Sozialforschung. 2008. Vol. 9. No. 3.
- [24] *Luckmann T.* Some remarks on scores in multimodal sequential analysis // Knoblauch H. et al. Video Analysis: Methodology and Methods. Qualitative Audiovisual Data Analysis in Sociology. Frankfurt am Main, 2006.
- [25] *Luhmann N.* Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Frankfurt am Main, 1995.
- [26] *Podemski K.* Socjologia podróży. Poznań, 2004.
- [27] *Schegloff E.* On some gestures' relation to talk // J.M. Atkinson, J.S. Heritage (Eds.) Structures of Social Action. Cambridge, 1984.
- [28] *Soeffner H.-G., Hitzler R.* Hermeneutik als Haltung und Handlung // Schröer N. (Hrsg.) Interpretative Sozialforschung. Auf dem Wege zu einer hermeneutischen Wissenssoziologie. Opladen, 1994.
- [29] *Sztompka P.* Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa, 2005.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-53-70

Mutual images of Poland and Belarus in the travel photo structure*

T.V. Burak

Belarusian State University
Kalvariyskaya St., 9, Minsk, Belarus, 220004
(e-mail: taburak@mail.ru)

Abstract. One of the key aspects of contemporary society is intercultural communication that is important mainly due to the relations with such trends in the development of an open society as the erasure of boundaries, visualization, virtualization, and massification of social life. Self-organized travel as one of the forms of tourism is a combination of social practices that implement interaction of various types of everyday life (one's own and others'). In various disciplinary fields, including sociology, throughout the twentieth century, everyday life was always in the focus of interdisciplinary research. However, the question of how signs and reality are connected in the daily interactions of the traveler was not considered separately. The article presents the results of an interdisciplinary research based on the analysis of travel representations posted on the tourist Internet forums and on the methods of semiotic and structural analysis to characterize the ways of constructing mutual images of Poland and Belarus. The structure of these visual images is analyzed in several perspectives: new and social-typical values and interpretations; expressive signs; type and genre of representations; their general characteristics and differences; social norms and lifestyle; city and nature; past and present; holidays and weekdays. The study revealed substantial and structural originality of the everyday life images reproduced in travel representations: the image of Belarus presented by Polish travelers is based on various combinations of relations between the signs "countryside", "simple life", "preservation of traditions", "quiet lifestyle"; Belarusian travelers construct visual images of Poland based on the interconnected ideas of "urban lifestyle", "modern and old city", "preservation of historical objects".

Key words: daily practices; everyday life; travel; travel image; travel photo; sign structure; travel representation

* © T.V. Burak, 2019.

The article was submitted on 23.10.2018.

References

- [1] Barthes R. *Camera lucida. Kommentariy k fotografii* [Camera lucida. Comment on the Photo]. Per., komm. i poslesl. M.K. Ryklina. Moscow; 2011 (In Russ.).
- [2] Bataeva E.V. Gendernaja vizualnost sovremennoj reklamy [Gender visuality of contemporary advertising]. *Sociology: Theory, Methods, Marketing*. 2010; 3 (In Russ.).
- [3] Bauman Z. Ot palomnika k turistu [From pilgrim to tourist]. *Sociological Journal*. 1995; 4 (In Russ.).
- [4] Baudrillard J. *Simulyakry i simulyatsiya* [Simulacra and Simulation]. Moscow; 2015 (In Russ.).
- [5] Bourdieu P., Boltanski L., Castel R., Chamboredon J.-C. *Obshchedostupnoe iskusstvo. Opyt o sotsialnom ispolzovanii fotografii* [Public Art. On the Social Use of Photography]. Per. s frants. B.M. Skuratova; poslesl. A.T. Bikbova. Moscow; 2014 (In Russ.).
- [6] Wittgenstein L. *Logiko-filosofsky traktat* [Tractatus Logico-Philosophicus]. Moscow; 2010 (In Russ.).
- [7] Garfinkel H., Sacks H. O formalnykh strukturakh prakticheskikh deystvy [On formal structures of practical action]. <http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0klass--00-0-0-00prompt-10> (In Russ.).
- [8] Goffman E. *Analiz freymov. Esse ob organizatsii povsednevnogo opyta* [Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience]. Moscow; 2004 (In Russ.).
- [9] Dashkova T. *Telesnost-ideologia-kinematograf. Vizualny kanon i sovetskaja povsednevnost* [Physicality-Ideology-Cinema. Visual Canon and Soviet Everyday Life]. Moscow; 2013 (In Russ.).
- [10] Debord G-E. *Obshchestvo spektaklya* [The Society of the Spectacle]. Moscow; 2000 (In Russ.).
- [11] Zamyatin D.N. Obrazy puteschestviy: socialnoe osvoenie prostranstva [Travel images: Social exploration of space]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2002; 2 (In Russ.).
- [12] Ilyinykh S.A., Tabarkov A.V. Gorodskoe prostranstvo: spetsifika upravleniya [Urban space: Specifics of management]. *Teoriya i Praktika Obshchestvennogo Razvitiya*. 2015; 13 (In Russ.).
- [13] Lotman Yu.M. *Semiosphere*. Saint Petersburg; 2010 (In Russ.).
- [14] McLuhan M. *Ponimanie media: Vneshnie rasshireniya cheloveka* [Understanding Media: The Extensions of Man]. Moscow; 2014 (In Russ.).
- [15] Austin J. *Kak proizvodit deystviya pri pomoshchi slov. Smysl i sensibillii* [How to Do Things with Words. Sense and Sensibilia]. Per. s angl. V.P. Rudneva, L.B. Makeevoy. Moscow; 1999 (In Russ.).
- [16] Sapir E. Bessoznatelnye stereotipy povedeniya v obshchestve [The unconscious patterning of behavior in society]. *Isbrannye trudy po jazykoznaniju i kulturologii*. Moscow; 2002 (In Russ.).
- [17] Searle J. Chto takoe rechevoy akt? [What is a speech act?]. *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. 1986; 17 (In Russ.).
- [18] Schütz A. O mnozhestvennosti realnostey [On multiple realities]. *Sotsiologicheskoe Obozrenie*. 2003; 3 (2) (In Russ.).
- [19] Eco U. *Otsutstvuyushchaya struktura. Vvedenie v semiologiyu* [The Absent Structure. Introduction to Semiotics]. Saint Petersburg; 2006 (In Russ.).
- [20] Bohnsack R. The interpretation of pictures and the documentary method. *Forum Qualitative Sozialforschung*. 2008; 9 (3).
- [21] Cohen E. A phenomenology of tourist experiences. *Sociology*. 1979; 13 (2).
- [22] Hitzler R. Sinnrekonstruktion. Zum Stand der Diskussion (in) der deutschsprachigen interpretativen Soziologie. *Forum Qualitative Sozialforschung*. 2002; 3 (2).
- [23] Knoblauch H., Baer A., Laurier E., Petschke S., Schnettler B. Visuelle Analyse. Neue Entwicklungen in der interpretativen Analyse von Video und Fotografie. *Forum Qualitative Sozialforschung*. 2008; 9 (3).

- [24] Luckmann T. Some remarks on scores in multimodal sequential analysis. Knoblauch H. et al. *Video Analysis: Methodology and Methods. Qualitative Audiovisual Data Analysis in Sociology*. Frankfurt am Main; 2006.
- [25] Luhmann N. *Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft*. Frankfurt am Main; 1995.
- [26] Podemski K. *Socjologia podróży*. Poznań; 2004.
- [27] Schegloff E. On some gestures' relation to talk. J.M. Atkinson, J.S. Heritage (Eds.) *Structures of social action*. Cambridge; 1984.
- [28] Soeffner H.-G., Hitzler R. Hermeneutik als Haltung und Handlung. Schröer N. (Hrsg.) *Interpretative Sozialforschung. Auf dem Wege zu einer hermeneutischen Wissenssoziologie*. Opladen; 1994.
- [29] Sztompka P. *Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza*. Warszawa; 2005.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-71-80

Адаптация и погружение в жизненных траекториях женщин, вовлеченных в проституцию*

М.М. Русакова

Санкт-Петербургский государственный университет
ул. Смольного, 1/3, Санкт-Петербург, Россия, 191124
(e-mail: rusakova.maia@yandex.ru)

В статье рассматриваются адаптация и погружение как части жизненной траектории женщин в проституции, включающей в себя пять последовательных стадий: приближение, вхождение, адаптация, погружение и выход. Цель исследования — описать стадии адаптации и погружения в проституцию на примере женщин, вовлеченных в проституцию в Санкт-Петербурге и Оренбурге. Исследование проводилось по последовательному количественно-качественному смешанному дизайну, состоящему из опроса 896 респондентов и 10 полуструктурированных интервью (выборка конструировалась методом «снежного кома»). В статье представлен анализ данных опроса и тематический анализ полуструктурированных интервью. В ходе исследования были зафиксированы две тенденции в социальном окружении респондентов: разрыв дружеских и детско-родительских связей или отдаление и нежелание раскрывать особенности своей деятельности; наличие партнерских отношений, сопровождающееся разделением деятельности в проституции и вне ее. Женщины, вовлеченные в проституцию, подвержены всем формам насилия со стороны клиентов и организаторов, поэтому неотъемлемой частью адаптации и погружения становится изучение поведения клиентов и выработка путей безопасного взаимодействия с ними, а также способов предотвращения конфликтных ситуаций. Также в ходе исследования была зафиксирована тенденция начала и/или злоупотребления алкоголем и наркотиками по мере вовлечения в проституцию, причем в процессе погружения в эту деятельность тяжесть употребления, как правило, возрастает. Кроме того, многие женщины находятся в пограничном или неудовлетворительном психологическом состоянии. Исследование показало необходимость дальнейшего изучения стратегий вовлечения, адаптации и взаимодействия с клиентами и организаторами секс-бизнеса, а также с ближайшим социальным окружением, не вовлеченным в проституцию, женщин в проституции, причем на всех стадиях их жизненной траектории в проституции.

Ключевые слова: проституция; жизненная траектория; смешанная методика; гендерная социология; девиантное поведение; социальные сети

Проституция является объектом изучения разных дисциплин и вызывает острые общественные дискуссии. Исследователи изучают влияние проституции на общественное здоровье [15; 25], долю проституции в структуре нелегальных доходов [4], особенности организации проституции как бизнеса [8], типы проституции [24], жизненные траектории женщин в проституции [26] и разные этапы этих траекторий [13].

* © Русакова М.М., 2019.

Статья поступила в редакцию 28.06.2018 г.

В нашем исследовании был рассмотрен путь женщины в проституции от предпосылок выбора проституции как деятельности до последствий проституции после выхода из нее. Жизненная траектория женщины в проституции включает в себя несколько этапов: приближение, вхождение, адаптация, погружение и выход.

На стадии приближения женщина еще не рассматривает проституцию как возможную деятельность, однако ввиду плохого материального положения, миграции, употребления алкоголя и/или наркотиков, разрыва с ближайшим социальным окружением и т.п. она может рассматривать разные пути выхода из ситуации.

На стадии вхождения проституция актуализируется как один из возможных выборов, и женщина пробует этот вид деятельности.

На стадии адаптации происходит принятие/непринятие проституции как рода дальнейшей деятельности, выбор типа проституции, а на стадии погружения — активная регулярная деятельность в проституции. Выход из проституции происходит по решению женщины, вследствие невозможности далее заниматься проституцией, ввиду болезней и т.п.

Статья посвящена этапам адаптации и погружения в проституцию, которые были изучены в рамках авторского исследования, проведенного в Санкт-Петербурге и Оренбурге.

По итогам анализа массива исследований можно заключить, что адаптация и погружение в проституцию могут характеризоваться местом оказания услуг [21], условиями [24], уровнем контроля со стороны других лиц [9]. Для деятельности в проституции определяющими являются личные привычки и зависимости женщин [22], стили взаимодействия с мужчинами/клиентами [7], взаимоотношения с социальным окружением [3], изменения в физическом и психическом здоровье, опыт насилия [18]. Так, на этапе адаптации сутенеры играют ведущую роль в вовлечении и удержании женщин в проституции [14]. Даже при работе «независимых» групп одной из девушек обычно приходится брать на себя роль «менеджера» [23].

В секс-бизнес включены и люди, напрямую не являющиеся организаторами проституции — администраторы гостиниц, работники саун, диспетчеры, родственник, друг или партнер, вовлекший женщину в проституцию или отнесшейся к ее желанию заняться проституцией с одобрением [4].

Следующим характерным компонентом адаптации и погружения в проституцию является изменение круга социальных связей. Это касается всех типов взаимодействий — с родственниками и друзьями вне проституции, сексуальными партнерами вне проституции, собственными детьми, клиентами. Женщины обычно стремятся скрывать свою деятельность, зачастую происходит разрыв с друзьями и семьей, в том числе с детьми [16]. Эмоциональная нагрузка, которую подразумевают сексуальные отношения с клиентами, может накладывать серьезный отпечаток на восприятие партнерских отношений вне секс-бизнеса, поэтому женщины в проституции разделяют сексуальные отношения «на работе» и в частной жизни или полностью отказываются от личных сексуальных отношений [10].

Другой особенностью проституции является подверженность всем формам насилия как со стороны клиентов и организаторов бизнеса, так и со стороны партнеров — исследования показывают, что до 75% женщин, вовлеченных в проституцию, подвергаются насилию [12]. Насилие и стрессовый характер пребывания в проституции не только оказывают негативное влияние на психологическое состояние женщин, но и побуждают их разрабатывать защитные стратегии адаптации: контроль за окружающей средой (видеокамеры, административный персонал [19], системы охраны, выбор безопасных локаций на улице), индивидуальные механизмы защиты [2], коллективный контроль (работа в группе) [17].

Важным компонентом адаптации и погружения в проституцию является употребление алкоголя и наркотиков. Исследования показывают, что употребление алкоголя широко распространено среди женщин, вовлеченных в проституцию: алкоголь употребляется в процессе ожидания клиентов, непосредственно перед или во время сексуального контакта, как средство самопомощи, лекарства [1]. В других исследованиях среди потребителей инъекционных наркотиков обнаруживались лица, вовлеченные в проституцию, и среди вовлеченных в проституцию женщин стабильно выявлялись те, что употребляют наркотики инъекционным и неинъекционным путем [11].

Все компоненты адаптации и погружения в проституцию были проверены в ходе эмпирического исследования с последовательными этапами сбора данных по количественной и качественной методикам. В количественном этапе приняли участие женщины, вовлеченные в проституцию ($N = 896$) в Санкт-Петербурге и Оренбурге, опросы были проведены в период с июня 2007 года по март 2008 года (несмотря на то, что данные были собраны десять лет назад, мониторинг результатов аналогичных проектов и собственная эмпирическая работа в рамках качественного подхода позволяют говорить о сохранении обнаруженных тенденций, а, значит, о важности их опубликования). В обоих городах для формирования выборки использовался метод «место—время» (англ. *time-location sampling*) — разновидность кластерной выборки [5]. В Санкт-Петербурге 66% респондентов были рекрутированы на улицах в местах оказания услуг (440), 24% из борделей (160), 5% с железнодорожных вокзалов ($n = 35$) и 5% из гостиниц (30); в Оренбурге — 77% с улиц (177) и 23% (54) из гостиниц.

После определения принадлежности к целевой группе и получения устного информированного согласия все респонденты прошли структурированное интервью в арендованном помещении или мобильном пункте опроса. Интервью длилось от 60 до 90 минут и содержало вопросы о социально-демографических характеристиках (возраст, образование, брачный статус и др.), употреблении наркотиков и сексуальном поведении, опыте в проституции и др. Также в исследовании оценивались такие психологические характеристики, как тревожность (шкала тревоги Ч.Д. Спилберга, адаптированная Ю.Л. Ханиным) и признаки депрессии (шкала самооценки депрессии У. Цунга, адаптированная Т.И. Балашовой). Опросы проводились в рабочее время женщин между встречами с клиентами: если женщина получала уведомление о клиенте во время интервью, оно прерывалось и продолжалось позже. Участницы получали небольшие косметические подарки

после опроса в благодарность за потраченное время. Качественный этап исследования проводился в 2008—2010 годы в формате полуструктурированных интервью для уточнения стратегий взаимодействия с клиентами, негативных последствий деятельности и взаимодействия с социальным окружением.

Итак, возраст опрошенных участниц проституции составил от 18 до 45 лет, большинство (74%) — в возрасте 20—29 лет. Нет законченного профессионального образования у 53%; обучались на момент опроса 9%, из них 60% — в вузе, а 86% связывали дальнейшие жизненные планы с получаемой профессией. Большинство опрошенных на момент исследования представляли сексуальные услуги более одного года: от 1 года до 3 лет — 30%, от 3 до 5 — 32%, от 5 до 10 лет — 22%, свыше 10 лет — 3%. Большинство предоставляли услуги в том месте, в котором были опрошены, на протяжении всего периода деятельности в проституции (83%), 65% когда-либо предоставляли услуги на улице. Замужем оказалось 70% опрошенных, разведены — 17%, вдовы — 4%. У 38% на момент исследования был близкий человек (82% назвали его сожителем), эмоциональное удовлетворение от сексуальных отношений с ним испытывали 89%. В течение жизни беременны были 67%, у более чем половины беременность закончилась родами. На момент исследования несовершеннолетние дети были у 92% родивших женщин, два и более несовершеннолетних ребенка — у 16%. Только в половине случаев несовершеннолетние дети проживали с матерью, у 27% дети проживали в семье родителей женщины или отца ребенка, у 8% — в учебно-воспитательном учреждении, у 7% — в семье отца, у 5% — в семье других родственников, у 3% — в семье опекунов, приемных родителей.

В интервью информанты сообщили, что предпочитают не раскрывать свой род деятельности окружающим:

«В салоне я одна, за пределами работы — совсем другая. Я стараюсь никому не распространяться на эту тему. Ни семья, ни близкие люди никогда не догадаются» (женщина, 30 лет);

«Круг общения в основном из того же бизнеса. Есть подруги, которые этим не занимаются. Но сейчас такое время, что уже никто ничему не удивляется» (женщина, 28 лет).

В ряде интервью прослеживалось разделение жизни на проституцию и личную жизнь: отношение к проституции как к работе, использование презервативов с клиентами и неиспользование их с близким человеком.

«Я внутри охарактеризовала это так: с 12 до 8 — работа. Установила себе жесткий график работы. Вот это работа — все остальное моя жизнь. Она никого не касается, ни моей работы, ни моей жизни» (женщина, 45 лет).

«Я пью противозачаточные таблетки, потому что у меня есть мальчик, с которым я живу без контрацепции. Он же любимый человек, а розы в противозачаточном газе не нюхают» (женщина, 34 года).

Иными словами, погружение в проституцию необязательно влечет за собой полную смену идентичности и ролевого репертуара.

У 40% опрошенных есть люди, которые организуют их деятельность в проституции, при этом в 57% случаев это не один человек (как правило, если один,

то это женщина). Большинство организаторов секс-бизнеса — в возрасте от 30 до 40 лет (64%), на их связь с сотрудниками полиции указали 44%. У 12% девушек единственный организатор секс-бизнеса — их сексуальный партнер. Также в секс-бизнесе участвуют: охрана (13%), владелец заведения (12%), диспетчеры (11%), работники бань/саун и гостиниц (по 6%). Более трети женщин не занимались самостоятельно поиском и привлечением клиентов в течение последних 12 месяцев перед опросом, для тех же, кто искал клиентов самостоятельно, наиболее актуальны были постоянное нахождение в известных клиентам местах (85%) и рекомендации других клиентов (50%).

Информанты не испытывают особой уверенности в том, что организаторы секс-бизнеса или водители, работающие с ними, могут обеспечить их безопасность. Более того, они подвергались насилию и в присутствии организаторов секс-бизнеса:

«Я им не нужна, что они врут-то! Даже если бы я рассказала, что они бы сделали? Да ничего не сделали бы, кому ты нужен? Им нужны только деньги. И тебе нужны только деньги. Но тебе, помимо этого, еще нужно выжить» (женщина, 21 год).

Как правило, на этапе адаптации женщины знакомятся с тем, как на самом деле организован тип проституции, в которую они вовлечены, и выбирают, подходит ли им определенный тип взаимодействия с организаторами и клиентами. На этапе погружения формируются устойчивые стратегии взаимодействия с организаторами бизнеса.

За время работы в проституции 64% подвергались сексуальному насилию, треть переживали его более двух раз. Физическому насилию за время работы в проституции подвергались 54% опрошенных, 20% были избиты более двух раз. Сексуальному насилию подвергались 72% (для 99% опрошенных существуют сексуальные услуги, которые они не готовы оказывать). Хотя бы раз без оплаты услуг оказывались 75%, у 63% насильно отнимали заработанное.

«Приходилось. Через шесть месяцев работы столкнулась. Клиент был в наркотическом опьянении. Водитель, который обязан проверять помещение, не сделал этого, и я осталась с двумя мужчинами, которые были „обнюханymi“ и перекрывали это коньяком. Было и сексуальное, и моральное, и физическое насилие» (женщина, 30 лет).

Среднее и медианное значение клиентов за день по выборке составило 4 человека, максимальное — 12. У 94% опрошенных за последних 12 месяцев перед опросом были постоянные клиенты, их среднее количество — 10, медианное — 7. В среднем рабочий день длится 5,7 часов, треть женщин работает 7 дней в неделю, каждая пятая имеет только один выходной. Две трети опрошенных полагают, что могут жить обеспеченно только благодаря клиентам. 93% считает, что среди клиентов встречаются интересные люди, 83% — что порядочный человек может пользоваться услугами проститутки, 79% — что клиенты понимают преимущества коммерческого секса, 54% — что секс с клиентом может доставить яркие сексуальные переживания. При этом 60% уверены, что любой клиент может заразить проститутку венерическими заболеваниями, 40% — что большинство клиентов

вызывают у женщин только негативные чувства, 28% считают большинство клиентов сексуально неполноценными людьми, 18% — что «для клиента проститутка — не человек». Портрет типичного клиента: мужчина старше 30 лет, состоящий в зарегистрированном браке.

Двойственность отношения к клиентам проявилась и в интервью. В основном отношение информантов варьирует от безразличия до неприятия. В период адаптации взаимодействия с клиентами вызывают сильный эмоциональный отклик, а с погружением в проституцию отношение к клиентам меняется на безразличное, отстраненное, хотя многие девушки стараются зарабатывать постоянных клиентов («постоянников»).

«Первый половой контакт за деньги — это очень страшно. Ты не знаешь, что делать... А сейчас просто работа. Автомат. Есть книга Паоло Коэльо «Одиннадцать минут». По истечении трех лет, которые я отработала, мне посоветовали прочесть. Так оно и есть. Вот он пришел, сходил в душ, лег..., пять минут контакта и все. Я не вкладываю в них душу. Он пришел, я его увидела один раз — он ушел. Может быть, он вернется ко мне, но это его сугубо личные проблемы» (женщина, 22 года).

В интервью девушки также описывают стратегии взаимодействия с клиентами, которые позволяют им обеспечивать свою безопасность: стиль общения не только позволяет избежать конфликта, но и остановить его.

«Чтобы обеспечить свою безопасность, иногда надо лаской, а иногда и прикрикнуть. Смотря какой человек» (женщина, 21 года).

«Мужика нужно правильно осадить. Не надо ему хамить, посылать его, материться. Нужно только правильно его осадить. Даже конченого зэка можно осадить, надо только грамотно подойти к нему» (женщина, 22 года).

Также важной стратегией является отбор клиентов по телефону, отказ вступать в сексуальные контакты с нежелательными мужчинами при личной встрече:

«Что касается безопасности, мы стараемся по телефону определить, что за человек. Конечно, если мы приезжаем, а там было какое-то или бомжатник, то мы не останемся» (женщина, 34 года).

Как правило, при условно «успешном» опыте адаптации женщины находят постоянных клиентов, которые помимо стабильности гарантируют и безопасность.

В течение года перед опросом алкогольные напитки употребляли 93% опрошенных, преимущественно слабоалкогольные напитки (78%) и не каждый день (ежедневно выпивают 1,4% употребляющих крепкий алкоголь, до 36% — слабоалкогольные напитки). Прекратить употребление алкоголя пытались 12%, большинство — более двух раз и самостоятельно. Наркотики в течение года перед опросом употребляли 65%, накануне опроса — 52%: опиаты — 92%, инъекционные наркотики — также 92%. Пытались бросить употребление наркотиков 48%, неоднократно — 79%. Чуть более трети тех, кто совершал попытки бросить наркотики, проходили лечение в наркологическом стационаре, четверть — реабилитацию, но в результате перестали принимать наркотики лишь 11%. 27% принимают наркотики при предоставлении сексуальных услуг.

В интервью информанты утверждают, что наркотики позволяют им снизить стресс от оказания секс-услуг, и тяжесть употребления со временем пребывания в проституции увеличивается:

«Переломный момент у меня длился полгода. Я этим занималась, но на трезвую голову не могла, я принимала наркотики. Мне было тяжело. Я смотрю на клиента, а мне хочется ему в лицо плюнуть» (женщина, 24 года).

«Употреблять со временем я стала больше и чаще. Очень-очень сильно это нарастает» (женщина, 30 лет).

Многие осознают алкоголизм и наркоманию как проблему, но не могут бороться с зависимостью, потому что в их восприятии она помогает справиться с негативными эмоциями от проституции. Действительно, средний уровень тревожности по шкале Спилберга—Ханина продемонстрировали 63% опрошенных, высокий и очень высокий уровень — 31%. Легкая ситуативная или невротическая депрессия по шкале Цунга была обнаружена у 17%, а субдепрессивное состояние, или замаскированная депрессия, — 1,3%.

Помимо того, что женщин, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, в проституцию во многом приводит нужда, их зависимости приводят их в наиболее неблагоприятные типы проституции — уличную, трассовую, салоны с невысокой оплатой. Ввиду опьянения такие девушки хуже следят за безопасностью и попадают в опасные для жизни и здоровья ситуации. Женщины, преимущественно ограниченные в финансах, но не страдающие зависимостями, могут пройти этап адаптации и погружения в проституцию проще из-за большего выбора вариантов проституции. Однако они также могут подвергаться насилию, потому что зачастую не знакомы с организацией секс-бизнеса, далеки от криминальных групп, существующих на территории города. Это лишь два возможных иллюстративных сценария траектории в проституции, но они определяют и дальнейшую траекторию выхода. Так, для женщин с ярко выраженными зависимостями ключом к выходу из проституции станет их преодоление, а для женщин без зависимостей — успешная адаптация и интеграция в легальный рынок труда.

К сожалению, исследований проституции не так много, поэтому в оценке состояния этой сферы приходится обращаться к цитатам из публичных дискуссий о содержании проституции (секс-работы) и связанных с ней проблемах. Так, в относительно недавнем исследовании «Все мы секс-работники» был опрошен 41 информант и сделан вывод, что «основная причина вовлечения в секс-индустрию — тяжелое материальное положение», многие вовлеченные в эту сферу — мигранты «из экономически неразвитых регионов России и республик бывшего Советского Союза, желающие устроиться на работу, зачастую не требующую квалификации» [20. С. 143].

Все обозначенные нами формы проституции, исследованные в 2008—2010 гг., существуют и сегодня, но с небольшим увеличением доли женщин в салонах и большим распространением интернет-рекламы проституции (Интернет сегодня облегчает вхождение в проституцию). В исследовании организации секс-бизнеса [8], посвященном анализу цен за услуги, и параметров, представленных в анкетах

на специализированных сайтах, была выявлена связь цен на услуги не только с индивидуальными параметрами девушек, но и с ассортиментом оказываемых услуг (однако повышенные цены на услуги выезда также связаны с повышенными издержками и рисками такой услуги).

Безусловно, все информанты подобных исследований испытывают трудности с выходом из проституции в результате разрушения прежних социальных связей, стигматизации себя и своей деятельности, изменения своего социального окружения и паттернов взаимодействия с ним [20]. Относительно взаимодействия с клиентами следует упомянуть интервью активистки и представительницы движения секс-работников «Серебряная Роза» Ирины Масловой [6]. В интервью изданию «Такие дела» она рассказала о необходимости считывать невербальные знаки клиентов, налаживать с ними контакт, упоминая, что «постоянный клиент — безопасность». Вопросы безопасности также затрагивались в ряде исследований, показавших, что женщины в проституции подвержены насилию и давлению организаторов, испытывают постоянный психологический стресс: нарративы организаторов секс-бизнеса и самих женщин подтверждают, что период адаптации в проституции вполне целенаправленно связан с насилием и пренебрежением: «*Это школа жизни, плюс выяснится, насколько она готова работать дальше*» [21. С. 140]. Стрессовый характер деятельности в проституции позволяет предположить, что выводы нашего исследования относительно наркотических средств и алкоголя актуальны и сегодня.

Все «издержки» деятельности в проституции проявляются на этапе адаптации — женщины учатся взаимодействовать с новой для них средой, вырабатывают собственные стратегии деятельности, которые в дальнейшем интернализируются на стадии погружения в проституцию. Любое изменение ситуации, будь то смена места оказания услуг, потеря или приобретение постоянных клиентов и т.п., может запускать новый цикл адаптации-погружения на новых условиях.

Библиографический список / References

- [1] Курманова Г., Башмакова Е.П., Бутенко Е.Н. Работники коммерческого секса // Социологические исследования. 2000. № 5 / Kurmanova G., Bashmakova E.P., Butenko E.N. *Rabotniki kommercheskogo seksa* [Workers of commercial sex]. *Sociologicheskie Issledovaniya*. 2000; 5 (In Russ.).
- [2] Любовь за деньги / Под ред. В. Бегальской, А. Вилкина. М., 2017 / *Lyubov za dengi* [Love for Money]. Pod red. V. Begalskoy, A. Vilkina. Moscow; 2017 (In Russ.).
- [3] Покатович Е.В., Матюшонков В.Д. Ценообразование на рынке онлайн-проституции // Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 3 / Pokatovich E.V., Matyushonok V.D. *Tsenoobrazovanie na rynke onlain-prostitutsii* [Pricing in the online prostitution market]. *Ekonomicheskaya Politika*. 2017; 12 (3) (In Russ.).
- [4] Романенко В. Трансформация социального пространства женской проституции (на примере молодых женщин, оказывающих сексуальные услуги в Санкт-Петербурге) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. Т. 18. № 5 / Romanenko V. *Transformatsiya sotsialnogo prostranstva zhenskoy prostitutsii (na primere molodykh zhenshchin, okazyvayushchikh seksualnye uslugi v Sankt-Peterburge)* [Transformation of the social space of female prostitution (on the example of young women providing sexual services in Saint Petersburg)]. *Zhurnal Sociologii i Socialnoj Antropologii*. 2015; 18 (5) (In Russ.).

- [5] Яковлева А.А. Исследования в труднодоступных группах: опыт использования выборки, управляемой респондентом, и выборки «место—время» // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2011. № 33 / Yakovleva A.A. Issledovaniya v trudno-dostupnykh gruppakh: opyt ispolzovaniya vyborki, upravlyаемoy respondentom, i vyborki “mesto-vremya” [Research in hard-to-reach groups: Respondent-driven and time-location samples]. *Sociologiya: Metodologiya, Metody, Matematicheskoe Modelirovanie*. 2011; 33 (In Russ.).
- [6] Я-ведьма // Такие дела. 14.06.2018 / Ya-vedma [I am a witch]. *Takie dela*. 14.06.2018. [14https://takiedela.ru/2018/06/ya-vedma](https://takiedela.ru/2018/06/ya-vedma) (In Russ.).
- [7] Barton B. Managing the toll of stripping: Boundary setting among exotic dancers. *Journal of Contemporary Ethnography*. 2007; 36 (5).
- [8] Brewis J., Linstead S. ‘The worst thing is the screwing’: Consumption and the management of identity in sex work. *Gender, Work & Organization*. 2000; 7 (2).
- [9] Chapkis W. Power and control in the commercial sex trade. *Sex for Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry*. R. Weitzer (Ed.). New York; 2010.
- [10] Chen X.S., Yin Y.-P., Liang G.-J., Gong X.-D., Li H.-S., Pומרerol G. et al. Sexually transmitted infections among female sex workers in Yunnan. *AIDS Patient Care & STDs*. 2005; 19 (12).
- [11] Dalla R.L. “You can't hustle all your life”: An exploratory investigation of the exit process among street-level prostituted women. *Psychology of Women Quarterly*. 2006; 30 (3).
- [12] Dank M.L. *Estimating the Size and Structure of the Underground Commercial Sex Economy in Eight Major US Cities*. Washington; 2014.
- [13] Deering K., Amin A., Shoveller J., Nesbitt A., Garcia-Moreno C., Duff P. et al. A systematic review of the correlates of violence against sex workers. *American Journal of Public Health*. 2014; 104 (5).
- [14] Karandikar S., Prospero M. From client to pimp male violence against female sex workers. *Journal of Interpersonal Violence*. 2010; 25 (2).
- [15] Malta M., Magnanini M., Mello M., Pascom A., Linhares Y., Bastos F. HIV prevalence among female sex workers, drug users and men who have sex with men in Brazil: A systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*. 2010; 10 (1).
- [16] Mandiuc A. The impact of a prostitute mother on the child life circumstances. *European Journal of Research on Education*. 2014; 2 (2).
- [17] Oselin S.S. *Leaving Prostitution: Getting Out and Staying Out of Sex Work*. New York; 2014.
- [18] Raphael J., Myers-Powell B. *From Victims to Victimiziers: Interviews with 25 Ex-pimps in Chicago*. Chicago; 2010.
- [19] Sanders T. A continuum of risk? The management of health, physical and emotional risks by female sex workers. *Sociology of Health & Illness*. 2004; 26 (5).
- [20] Sanders T., Campbell R. Designing out vulnerability, building in respect: Violence, safety and sex work policy. *British Journal of Sociology*. 2007; 58 (1).
- [21] Shannon K., Strathdee S., Goldenberg S., Duff P., Mwangi P., Rusakova M. et al. Global epidemiology of HIV among female sex workers: Influence of structural determinants. *Lancet*. 2015; 385 (9962).
- [22] Thomas J.C., Tucker M.J. The development and use of the concept of a sexually transmitted disease core. *Journal of Infectious Diseases*. 1996; 174 (2).
- [23] Vanwesenbeeck I. *Prostitutes' Well-Being and Risk*. Amsterdam; 1994.
- [24] Weitzer R. Sociology of sex work. *Annual Review of Sociology*. 2009; 35.
- [25] Whittaker D., Hart G. Research note: Managing risks: The social organization of indoor sex work. *Sociology of Health & Illness*. 1996; 18 (3).
- [26] Williamson C. *Entrance, Maintenance, and Exit: The Socio-Economic Influences and Cumulative Burdens of Female Street Prostitution*. Indianapolis; 2010.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-71-80

Adaptation and immersion in the life trajectories of women engaged in prostitution*

M.M. Rusakova

Saint Petersburg State University
Smolnogo St., 1/3, Saint Petersburg, Russia, 191124
(e-mail: rusakova.maia@yandex.ru)

Abstract. The author considers adaptation and immersion as parts of the life trajectory of women engaged in prostitution. This trajectory includes five stages: approach, entry, adaptation, immersion, and exit. The research aims at describing adaptation and immersion on the example of women engaged in prostitution in Saint Petersburg and Orenburg. The research had a mixed-method design consisting of a survey of 896 respondents and 10 semi-structured interviews (based on the ‘snowball’ sample). The article presents a descriptive analysis of the survey data and a thematic analysis of interviews. The study allowed to identify two trends in the respondents’ social environment: the loss of friendship and parent-child relationships, distancing and unwillingness to reveal their activities; the partnerships accompanied by the separation of activities in and out of prostitution. Women engaged in prostitution are subject to all forms of violence; therefore, an integral part of their adaptation and immersion is the recognition of clients’ behavior patterns and the development of safe interaction and conflict prevention strategies. The study also revealed the initiation and/or abuse of alcohol and drugs consumption in the course of activities in prostitution, and during immersion the severity of alcohol and drugs use tends to increase. Moreover, many women engaged in prostitution are in the poor psychological condition. Thus, it is necessary to further study prostitutes’ interaction with clients, sex business organizers, and the closest social environment not involved in sex business at all stages of the life trajectory in prostitution.

Key words: prostitution; life trajectory; mixed methods; gender sociology; deviant behavior; social networks

* © M.M. Rusakova, 2019.

The article was submitted on 28.06.2018.



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-81-93

Дихотомия род–государство в концептуализации номадизма*

Д.А. Жакупбекова

Карагандинский государственный университет
Ул. Муканова, 1/8, Караганда, Казахстан, 100026
(e-mail: dana.tamen@mail.ru)

В статье рассматривается проблема концептуализации номадизма посредством дихотомии род–государство в связи с деконструкцией классической западной парадигмы, в которой социальное является синонимом государственного. Автор исходит из предположения, что противопоставление родовой и государственной общности имеет отношение к оппозиции номадизма и седентаризма. В этой связи наибольший интерес представляют социально-философские исследования сегментарных обществ в аспекте дихотомии рода и государства, согласно которым сегментарное общество не допускает концентрации власти. Обоснованием актуальности темы родовых сегментарных обществ служат тенденции неотрайбализма и реорганизации родовых отношений, обозначенные в работах О.Л. Лушниковой, Ч.М. Ламажаа, Н.Т. Нурулло-Ходжаевой в контексте осмысления концепций европоцентризма, эволюционного и однолинейного исторического процесса, повлиявших на политику модернизации как насильственной седентаризации кочевников. Историографические исследования также свидетельствуют о необходимости пересмотра общепринятого метода изучения генезиса кочевых культур, оказавшихся в теории Дж. Скотта на «периферии» исторического процесса. Социально-политический аспект позволяет рассмотреть родовые отношения через институты дарообмена и потлача (М. Мосс), препятствующих власти на основе подавления. Смену акцентов в дихотомии государство—род, согласно которой государство не является больше безусловным благом, можно отнести к деконструкции эволюционизма и логоцентризма. Позиция Э. Гидденса и П. Бурдьё позволила эксплицировать номадизм как концепт другой социальности, в которой сегментарность становится принципом конъюнкции. Субстанциональная эпистема оседлости противостоит процессуальной эпистеме номадизма, о чем свидетельствует анализ социально-политических концепций Аристотеля и Ибн Халдуна. Таким образом, противопоставление номадной и седентарной культуры имеет отношение к имплицитной дихотомии *genos—polis* (род—государство), основано на апории тождества и различия, мифа и логоса, феминного и маскулинного, что задает вектор концептуализации номадизма.

Ключевые слова: род; сегментарность; социальность; государство; дарообмен; номадизм; эволюционизм; гетерогенность

* © Жакупбекова Д.А., 2019.

Статья поступила в редакцию 18.10.2018 г.

Современный социально-философский дискурс рассматривает дихотомию государственного и общинного/родового как догосударственного или сегментарного через трансформацию локальных культур [14], оппозицию «Запад—Незапад» [23], деконструкцию парадигм классической западной философии [11]. В статье представлены социально-философские концепции дихотомии род—государство с позиций трактовки номадизма как «другой» социальности. Актуальность данной темы объясняется тенденциями «ретроорганизации», архаизации и возрождения догосударственных элементов социальной жизни в последние десятилетия. В частности, «актуализация родовых отношений в 2000-е гг. была обусловлена стремлением сохранить социокультурное наследие отдельных этнических обществ: культурные традиции, язык, национальные обычаи» [16. С. 3].

Значимость рода определяется духовно-нравственным содержанием, что создает условия для конвертации родовых связей в одну из форм социокультурного капитала: в условиях трансформации советских институтов государственности родовые связи выступили в качестве инструмента социального взаимодействия и самоорганизации. Вопрос в том, насколько седентарной модернизации удалось разрушить родовую общность: «возрождение» родовой жизни — признак того, что, во-первых, драматургия родовой жизни не завершена, во-вторых, само понятие рода требует переосмысления.

Другой пример концептуализации социальных связей посредством понятий клановости и родства — статья Ч.К. Ламажаа, где обозначены методологические проблемы, с которыми сталкивается исследователь родовых отношений [15]. Раскрывая закономерности в истории изучения родовых отношений, Ламажаа обращается к неклассической трактовке клана как социальной группы и особого типа кооперации: клановость или неотрайбализм — проявление гетерогенности современного общества, и эта трактовка характерна для социально-философского дискурса. «Большинство типов общества были гетерогенными. Однако все эти общества строились на власти, гарантирующей функциональную ограниченность упорядоченного целого» [11. С. 3].

Гетерогенность современного общества, будучи фактором трансформации социальных связей, повышает требования к социально-философскому дискурсу, о чем свидетельствуют исследования социально-политических процессов в среднеазиатских республиках. Например, в статье Н.Т. Нурулла-Ходжаевой изучение разновидностей сегментарных обществ, в том числе общинных и родоплеменных, сопровождается вопросами легитимности существующего философского дискурса [22]. Европоцентризм как аналитическая парадигма стал причиной конфронтации в среднеазиатском регионе, преодоление которой возможно посредством сочетания деколонизации с признанием наличия в Центральной Азии «транснациональной интеллектуальной матрицы», а также с изучением наименее изученной части дихотомии «государства—род» — общины.

Длительное догосударственное существование института общины позволяет рассмотреть возможности его реорганизации [21]. Признавая себя гражданами суверенных государств, жители каждой из пяти среднеазиатских республик

осознают себя в качестве представителей родоплеменного союза: например, в Казахстане каждый территориально-административный регион условно означает принадлежность к одному из трех жузов — союзу крупных племенных объединений. Подобная живучесть рода вызывает много вопросов, поскольку формирование централизованного государства сопровождается разрушением авторитета общины. Причины, по которым среднеазиатской общине удалось сохранить некоторые позиции, связаны с ее основными свойствами: коммуникативные функции; сохранение и трансляция моральных устоев и ценностей; опора на авторитет старейшин; механизмы взаимопомощи и поддержки; независимость от государства.

Актуальность тематики сегментарных обществ связана с дискуссией о генезисе государства в кочевнических обществах в современной исторической науке. В частности, Н.Н. Крадин относит кочевничество «к тем составляющим всемирно-исторического процесса, которые с трудом вписываются в общепринятые (и, надо признать, европоцентристские по своей сути) периодизации истории» [13. С. 11].

Решением проблемы может стать обращение к теории вождизма как наиболее релевантной для истории кочевников: она позволяет снять дихотомию общины и государства, поскольку отражает процесс объединения кочевых племен в империи без усложнения социального строя и создания административного аппарата.

Ссылаясь на экологическую составляющую и дисперсный образ жизни кочевников, Крадин указывает на отсутствие потребности в кооперации и создании государства. Однако понятия знатности и богатства у кочевников не связаны с экономикой в ее современном понимании, а номинальное вмешательство предводителей кочевников в хозяйственную деятельность несравнимо с управленческой функцией правителей оседло-земледельческих обществ, в связи с чем возникает вопрос, что же стало причиной создания кочевых империй, поскольку мы видим сложное военно-иерархическое общество, зависимое от личности правителя.

Дж. Скотт видит в кочевой «периферии» убежище от «тягот цивилизации», поскольку «многие „варвары“ предпочитали от государства дистанцироваться — это обстоятельство вносит в прежнюю благостную историческую картину новый компонент политического действия» [25. С. 9]. То есть образ жизни периферий не является архаичным, напротив, их социальная организация и элементы культуры представляют собой целенаправленное предотвращение слияния с государством для сохранения независимости и свободы (торговля, производство, сакральные практики осуществлялись без государственных институтов). Подобный подход интерпретирует эволюционную теорию как «цивилизационный дискурс равнинных государств», с позиции которой безгосударственные народности относятся к примитивным [26].

Скотт ссылается на данные О. Латтимора о том, что древнее кочевое скотоводство в Центральной Азии появилось после оседлого земледелия по причинам политическим и демографическим, т.е. государства и кочевники возникли параллельно.

Работа Скотта призывает к пересмотру теории Аристотеля о полисной сущности человека, согласно которой наличие государственности — непереносимое

условие цивилизованности и отправная точка поступательного развития человечества. Согласно Аристотелю государство состоит из отдельных семей и «по природе предшествует каждому человеку», т.е. человек наделен предикативными свойствами, выраженными в этических понятиях добродетели и справедливости [2. С. 30]. Кроме того, человек — существо общественное в силу того, что общее предшествует частному, т.е. государство первично по отношению к гражданину. Цель государства — накопление богатства, его главная проблема — определение статуса собственности и выбор формы управления. Поскольку к числу правильных государств относятся те, «которые имеют в виду общую пользу», то «имеющие в виду только благо правящих — ошибочны и представляют собой отклонения от правильных: они основаны на началах господства, а государство есть общение свободных людей» [2. С. 186]. Для Аристотеля бесспорно, что наилучшее устройство государства является залогом счастья его граждан, и эта идея легла в основу отношения к «варварским» племенам, у которых государственное устройство не соответствовало эллинской модели полиса.

В отличие от Аристотеля у Ибн Халдуна дихотомия полиса как способа жизни на ограниченном пространстве и родовой общности как способа жизни на открытых пространствах лишена антагонизма. Специфика родоплеменной жизни арабов и представление об общественном устройстве мусульманской уммы повлияли на представления о государстве. Кроме того, в арабоязычных текстах «картина мира» носит процессуальный характер, что отличает ее от субстанциональной картины мира, исходившей из понимания сущего как совокупности связанных вещей-субстанций [10. С. 56]. В частности, в арабской этике большое значение имеет понятие «амал» — интенция, поступок. В этом же ключе следует интерпретировать предложенное Ибн Халдуном понятие «асабийя» — процесс достижения естественной сплоченности, солидарности: «людям по природе свойственно родственное чувство. Вот почему мы не можем пережить, когда нашим близким и единоутробным грозят напасти или гибель... Такова естественная склонность людей во все времена» [9. С. 216].

Высказывание Аристотеля, что «не добродетели приобретаются и охраняются внешними благами, но, наоборот, внешние блага приобретаются и охраняются добродетелями», применительно к тем, кто не стремится к внешним благам, заставляет усомниться в их добродетели [2. С. 455]. Если же кто-то обладает большой добродетелью, то «следовать за таким человеком — прекрасно, а повиноваться ему — справедливо» [2. С. 468].

Данное положение в качестве основы изучения негосударственных форм социальности в этнографических и антропологических исследованиях Л.Г. Морган, Д. Мак-Леннана, Я. Баховена, Б. Малиновского, Э.Б. Тайлора, М.М. Ковалевского и др. повлияло на определение родового общества как переходного на пути от первобытности к цивилизации. Концептуализация номадизма как сегментарного общества предполагает признание различий седентарных и номадных обществ, а также переосмысление характерного для античного периода представления о тождестве социального и государственного. Во-первых, номады,

создавая небывалые по масштабам империи, были лишены территориальной константы в качестве условия формирования государственности. Во-вторых, родоплеменные союзы несовместимы с классовым обществом и государственностью. Например, для М.М. Ковалевского универсальность рода как основы социального устройства очевидна, в качестве подтверждения он приводит этнографические описания многочисленных подданных Российской империи от Алтайских гор до Кавказа, из которого следует, что у представителей разных племен обнаруживается общность в «родовом союзе», т.е. родовой строй — переходный этап в развитии всего человечества [12. С. 106].

Принцип линейности истории привел к ряду противоречий, выходом из которых может стать признание различий оседлости и кочевничества, государства и родового типа общности. Например, Б.Я. Владимирцов пытался структурировать монгольское общество в соответствии с теорией классов и раскрыть внутренний механизм эксплуатации в кочевом государстве посредством выявления аристократии и рабов [4]. Однако утверждение, что монгольское общество было феодальным, противоречило наличию родовой дифференциации, т.е. понятия «эксплуатация» и «классовое неравенство» не нашли подтверждения. В условиях родовой общности центроостремительная сила связана с личностными качествами предводителя племени/рода, которым мог стать каждый по согласию сородичей, если обладал воинской доблестью и особыми качествами. Ими, как правило, становились ораторы, искусные воины, способные взять на себя заботу о соплеменниках, а их генеалогия становилась дополнительным условием легитимности власти. Кроме того, знатность вождей и правителей измерялась степенью их щедрости, поскольку богатство не имело отношения к частной собственности, а определялось щедрым угощением и розданными дарами.

Изучая традиции обмена дарами у полинезийских племен, М. Мосс обнаружил, что обмен вещами и так называемая «тотальная поставка» отражает анимистическое или субстанциональное представление о природе вещей: предметы — проводники «магической, религиозной и духовной силы» [18. С. 96]. Между кланами происходит постоянный обмен «духовным веществом», что порождает институт дарообмена, т.е. связь между родами и фратриями. Элементы жертвоприношений природным стихиям и потлач претерпевают эволюционные изменения, постепенно превращаясь в «жертвы» в пользу государства, за исключением одного важного элемента — добровольного характера. Так, социально-морфологический аспект потлача может быть определен как обязанность заботиться о соплеменниках, о чем свидетельствует образ богатого человека в тюрко-язычных эпосах: его непременный атрибут — количество розданного имущества и обильного угощения для соплеменников (элементы потлача сохранились в повседневной жизни современных казахских семей в качестве национальных традиций, обязывающих разделить трапезу с родственниками).

Можно предположить, что на пути к капиталистической экономике родовые отношения оказались наиболее устойчивым препятствием. Согласно исследованию Ю.П. Аверкиевой пребывание индейских племен в состоянии изобилия и свободы

было прервано приходом колонистов [1]. В частности, речь идет о потлаче как механизме избавления от излишков, с появлением которых связано появление частной собственности и классового общества: в случае смерти знатного вождя захоронению подвергалось все его имущество — богатство не наживалось, а раздаривалось.

Согласно теории А. Рэдклиффа-Брауна [24] права и обязанности родственников по отношению друг к другу, как и социальные нормы, которым они следуют, — это признаки, с помощью которых эти отношения определяются, т.е. они не зависят от хозяйственной деятельности. Первостепенная значимость структурирующей роли системы родства усиливается сакральными смыслами — распространенным среди примитивных народов культом предков, вследствие чего отношения людей к умершим родственникам одновременно регулирует и взаимоотношения между живыми. Особое место Рэдклифф-Браун отводил билатеральному принципу родства, согласно которому индивид связан родственными отношениями с одними лицами через отца, а с другими — через мать. Номадические политики придерживались того же принципа: каждый род позиционировал себя не столько по территориальному признаку, сколько по степени родства.

И.В. Ерофеева [8] описала сложный процесс наложения форм оседлой государственности Российской империи на формы правления кочевников — казахов в период позднего средневековья, изучая особенности их социальной жизни через субъективные интерпретации. История степных правителей на протяжении ста пятидесяти лет дипломатической переписки убедительно показывает мировоззрение кочевых лидеров и родовой строй: в многозначных формулах обращения казахских правителей к российским монархам отразились особенности степной политической культуры. Например, для надлежащего обращения к высочайшим особам необходимо было изучить их генеалогию, поэтому, обращаясь к московским царям, было принято возводить их предков к персонажам доисламского древнеиранского эпоса.

На основе сравнительного анализа писем казахских ханов и султанов о принятии российского подданства сделан вывод, что значение института подданства по-разному оценивалось российской администрацией и степными правителями: политическим инструментом управления с точки зрения российских властей служила система административно-территориального контроля, налогообложения, воинская повинность и другие формы установления прочной связи населения с государственной властью, тогда как у правителей кочевников отсутствовал контроль не только над конкретной территорией, но и над социальными группами — властные полномочия менялись в зависимости от концентрации населения на маршрутах сезонных кочевий. Слабость ханской власти объясняется «отсутствием в кочевом обществе сколько-нибудь развитых институтов управления и принуждения (регулярной армии, чиновничества, полиции, тюрем и т.п.), в результате чего концентрация более или менее значительных властных полномочий в руках верховных правителей носила здесь дискретный, пульсирующий и обратимый характер» [8. С. 55].

В условиях отсутствия отчужденного административного аппарата принуждения, наличия больших территорий и небольшой плотности населения распорядительная функция осуществлялась через личные контакты с местными правителями и благодаря генеалогической системе, в которой право патроната, как правило, присваивалось по старшинству или личным качествам.

Таким образом, между верховным правителем и старейшинами устанавливались сбалансированные взаимоотношения, носившие добровольный, нерегулярный и в каком-то смысле необязательный характер. Подданство в кочевом обществе предполагает защиту и покровительство сильного перед лицом внешней агрессии, его арбитраж и гуманитарную помощь, а также позволяет укрепить свое положение в династическом противостоянии многочисленных претендентов на власть. В отличие от европейских межгосударственных договоров с долгосрочными обязательствами кочевники иначе воспринимали статус подданных и шли на взаимовыгодные соглашения, оставляя за собой право их расторжения. В письмах степных правителей мы находим подтверждения, что в межродовых отношениях матримонимальная политика сохраняла свое значение.

Пересмотр классического дискурса берет начало в переоценке ценностей и морали цивилизованного общества в творчестве Ф. Ницше, что проявилось, в первую очередь, в представлении о том, что государство не является безусловным благом. Описание эскалации внутренней драмы капиталистической машины во внешний мир можно принять за оправдание перед миром варваров и дикарей. Так, в период расцвета капитала и модерна Ницше писал, что процесс возникновения государства не является добровольным и постепенным вращением в новые условия, а представляет собой «перелом, прыжок, насилие, рок, против которого не было борьбы»: «соединение необузданного до той поры и бесформенного населения в твердую форму как началось насильственным актом, так и было доведено до конца путем непрерывных насилий» [20. С. 103]. Ницше подчеркивает, что древнейшее государство представляло собой тиранию, беспощадный сокрушающий механизм, оформивший сырой бродячий материал — родовое общество, основанное на сакральном чувстве долга по отношению к предкам.

Опыт реконструкции древнего государства и института царской власти представлен в теории Л. Мамфорда: поскольку каждая социальная единица на основе единства ритуалов оставалась замкнутой и существовала автономно от других, его определения «базовой деревенской культуры» — единение, коммуникация и кооперация — можно применить к родовому обществу [17]. Так, на смену общине приходит организация иного типа, чьи усилия сосредоточены не в горизонтальной плоскости семьи или рода, а в вертикальной плоскости социума в целом — на вершине социальной пирамиды находится царь.

Мамфорд прибегает к понятию мутации — она произошла в сельской общине со свойственной ей «мягкой» формой правления: последовавшие за мутацией институты царской власти основаны на принуждении и наказании, тогда как она опиралась на убеждения. Вероятно, за мутацией в общине и конструкцией вертикальной власти кроется перераспределение гендерных ролей в системе родства — отсюда мифологизация царской власти как социального института, так как ореол

«божественной святости» давал право неприкосновенности и превосходства маскулинного над феминным.

Сакрализация власти царя сопровождает рождение невиданного ранее мощного механизма объединения и управления людьми в интересах общей цели, которая превышает интересов родовой жизни. Данная социальная машина могла работать при условии надежной организации знаний и системы получения и неукоснительного выполнения приказов, что породило административный бюрократический аппарат.

Мамфорд апеллирует к солидарности с царем, которая стала выше единства с семьей, кланом и родом и повлекла насильственную смену ритуалов и религиозных обычаев. Признание этой солидарности стало проблемой для современной французской философии. Так, в анализе первобытности, архаики и генезиса государств посредством понятий «желающее производство» и «машина» Ж. Делез и Ф. Гваттари предложили новое понятие «сегментарная машина», подчеркивая несводимость отношений родства к структуре. Сегментарное общество «устраняет слияние посредством раскола и мешает концентрации власти, поддерживая органы совета вождя в бессильном отношении к группе» [6. С. 241].

Однако с приходом колонизатора институт вождя разрушается, лишая семью и род потоков дарообмена. Также немаловажен вопрос бинарности матрилинейного и патрилинейного в качестве со-бытийной составляющей родства: поиск Эдипова комплекса вынуждает Делеза и Гваттари признать, что сегментарное общество лишено оппозиции маскулинного и феминного — она возникает позже.

Свидетельство тому — обращение Деррида к Хоре — матери, кормилице, к противопоставлению мифа — логосу, полиса — роду, феминного — маскулинному. Хора — это третий род, «не чувственная, не умопостигаемая», но в то же время род родов [7. С. 138]. Понятие хоры указывает на вместители всего — и мифа, и логоса. Однако Хора — все та же дихотомия государства и рода, но сквозь призму логоса.

Обращаясь к фигуре Сократа, Деррида приглашает к разговору софистов-кочевников, для которых нет места в полисе, их место — хора. «Философия не может говорить философски о том, что всего лишь похоже на ее „мать“, „кормилицу“, „восприемницу“ или „матрицу“», и если мы стремимся «осмыслить хору, нужно вернуться к началу более старому, чем начало, а именно — к рождению космоса» [7. С. 184]. Признание Сократа в неспособности покинуть свои «мифомиметико-графические грезы» показывает, сколь важно было для солидарности полисного типа обосновать легитимность маскулинной власти [7. С. 174], поскольку естественная родовая солидарность носила феминный характер.

В концепции Ж.Л. Нанси полис становится способом «со-бытия», а философия — «мышлением о со-бытии» [19. С. 60]: размышляя о единичном множественном, Нанси подчеркивает обусловленность философии социальным — полисом. Понимание рода включено в представление о мире, которое не может оставаться неизменным. Невозможность достижения истока по причине его множественности, ино-бытия изначальности, может быть интерпретирована

посредством обращения к роду как процессу. «Мы достигаем истины истока столько раз, сколько находимся в присутствии друг друга. Доступ — это “вхождение в присутствие”, но само присутствие — это диспозиция, опространствование единичностей... Присутствие есть не что иное, как “вхождение в присутствие”, мы достигаем не какой-то вещи или состояния, но процесса» [19. С. 34]. Возможность непосредственного «присутствия», «всматривания» в другого задается условиями родовой общности, т.е. понятия со-бытийности, «мира для мира» раскрывают аксиологическую составляющую рода.

Так, в концепции социального пространства П. Бурдьё понятие со-бытия позволяет обратиться к внеэкономическому аспекту реальности, который формируется категориями родства: «социальный мир, каждую его часть, насквозь пронизывает основополагающее разделение, начинающееся с разделения труда между полами» [3. С. 416]. Особый интерес представляет описанная Бурдьё гендерная политика в повседневной жизни кабийского поселения, где в качестве хранительниц жизни женщины отвечали за магические практики.

Если местом обитания женщин является дом и отведенные для женских дел места, то для мужчины, естественно, находится в течение дня в публичных местах. В доме, как правило, совершаются процессы, исключенные из внешнего мира, — пространство дома принадлежит женщине, исключенной из публичной жизни, а ее труд незаметен. Более того, дом ассоциируется с «животом женщины», а очаг с ее «пупом»: так изучение системы родства раскрывает социальное как «единое множественное». Согласно Бурдьё, в докапиталистическом обществе принуждение является символическим, неявным — выражено в чувстве долга, опосредовано системой дарообмена. На смену симметричному распределению благ при дарообмене приходит нарочитое асимметричное перераспределение материальных благ при капитализме.

Аналогичный подход к эволюционизму мы находим в исследованиях Э. Гидденса: «история человечества не имеет эволюционной „формы“, и любые попытки „втиснуть“ ее в эти рамки могут привести к серьезным проблемам» [5. С. 329].

По мнению Гидденса, людям свойственно творить историю осознанно, не проживая, а предопределяя время, поэтому следует иметь в виду европоцентристский характер эволюционной теории и помнить, что появление современного мира не связано с поступательным развитием традиционного общества. Для Гидденса очевидно, что возникновение государства свидетельствует о разрыве между традиционным обществом и современным западным миром. Задача социологии — понять причины данного разрыва как «специфику мира, возникшего в результате развития промышленного капитализма, корни которого следует искать в западном полушарии» [5. С. 333]. Эволюционизм неизбежно приводит к однолинейности, нормативной иллюзии и временному искажению.

Наиболее важна для нас критика Гидденсом однолинейности, суть которой сводится к представлению о гомологии развития личности и этапов социальной эволюции. Он отвергает теорию подавления аффектов в связи с усложнением общества и идею примитивности устной культуры по отношению к западной цивилизации как «всеобъемлющего и всепоглощающего порядка» [5. С. 336].

Итак, существенное различие между родом и государством прослеживается в трехмерной классификации обществ, согласно которой для родоплеменного общества характерно сращивание социальной и системной интеграции, а в классовом обществе между ними существует разграничение. Трайбалистские общества, имея наибольшую протяженность во времени, не создавали мировых систем, а капиталистические общества, напротив, будучи кратковременными, создали мировые системы с бесконечной программой накопления богатства. Номадизм — модель сегментарного общества, в котором ключевая роль отводится системе родства: государство в его стремлении к гомогенности и тождеству противостоит роду, имманентная гетерогенность которого сохраняется благодаря матримониальной интенции гендерных политик. В философском дискурсе генос предстает в качестве парной категории полиса по аналогии с оппозицией мифа и логоса, хоры и агоры, феминного и маскулинного, номадного и седентарного, усиливая эффект неразрешимости в логической рефлексии. В теоретической социологии оппозиция рода и государства снимается посредством обращения к повседневному языку и практикам, что может быть интерпретировано как обращение к «источкам» — множественным и различным.

Библиографический список

- [1] *Аверкиева Ю.П.* Индейцы Северной Америки. От родового общества к классовому. М., 1974.
- [2] *Аристотель.* Политика / Пер. с др.-греч. С.М. Роговина. М., 2010.
- [3] *Бурдые П.* Практический смысл / Пер. с фр. А.Т. Бикбова, К.Д. Вознесенской, С.Н. Зенкина, Н.А. Шматко; отв. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. СПб., 2001.
- [4] *Владимирцов Б.Я.* Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934.
- [5] *Гидденс Э.* Устройство общества: Очерк теории структуризации. М., 2003.
- [6] *Делез Ж., Гваттари Ф.* Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина. Екатеринбург, 2007.
- [7] *Деррида Ж.* Эссе об имени / Пер. с фр. Н.А. Шматко. М.—СПб., 1998.
- [8] *Ерофеева И.В.* Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675—1821 годов. Алматы, 2014.
- [9] *Ибн Халдун.* Ал-Мукаддима // История арабо-мусульманской философии: Антология / Под ред. А.В. Смирнова. М., 2013.
- [10] История арабо-мусульманской философии / Под ред. А.В. Смирнова. М., 2013.
- [11] *Керимов Т.Х.* Социальная гетерология. Екатеринбург, 1999.
- [12] *Ковалевский М.М.* Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом (отрывки) // Антология русской классической социологии / Сост. и коммент. Д.С. Клементьева, Л.Н. Панковой. М., 1995.
- [13] *Крадин Н.Н.* Кочевники Евразии. Алматы, 2007.
- [14] *Куропятник М.С.* Коренные народы в контексте культурной непрерывности // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2016. Т. 16. № 4.
- [15] *Ламажаа Ч.К.* «Клан» — понятие в социальных науках // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 2.
- [16] *Лушикова О.Л.* Социокультурный капитал рода в современных условиях: социологический анализ: Дисс. к.с.н. Екатеринбург, 2015.
- [17] *Мамфорд Л.* Миф машины. Техника и развитие человечества / Пер. с англ. Т. Азарковича, Б. Скуратова; ред. Е. Пучкова, Н. Хотинского. М., 2001.

- [18] Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с франц. М., 1996.
- [19] Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное / Пер. с фр. В.В. Фурса; под ред. Т.В. Щитцовой. Минск, 2004.
- [20] Ницше Ф. Генеалогия морали / Пер. с нем. В.А. Вейнштока; под ред. В.В. Битнера. СПб., 2016.
- [21] Нурулла-Ходжаева Н.Т. Община и государство в Центральной Азии // Вестник МГУКИ. 2011. № 2.
- [22] Нурулла-Ходжаева Н.Т. Средняя Азия, европоцентризм, колониальность // Вестник МГИМО. 2015. № 6.
- [23] Радкевич К.В., Шаблага А.В. Оппозиция «Запад — Незапад» в социальной мысли: pro et contra // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 1.
- [24] Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции / Пер. с англ. М., 2001.
- [25] Скотт Дж. Зомия: успешные стратегии бегства от государства / Пер. с англ. И.В. Троцук // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2012. № 4.
- [26] Троцук И.В. Бегство от государства: сознательный отказ от «достижений цивилизации» и стратегии поддержания «варварского состояния» // Социология власти. 2012. № 4.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-81-93

Dichotomy genus—state in the conceptualization of nomadism*

D.A. Zhakupbekova

Karaganda State University
Mukanova St., 1/8, Karaganda, Kazakhstan, 100026
(e-mail: dana.tamen@mail.ru)

Abstract. The article addresses the problem of conceptualizing nomadism by the genus—policy dichotomy under the deconstruction of the classical western paradigm defining social as equal to the state. The author argues that the dichotomy ‘clan—state’ reflects the opposition of nomadism and sedentarism, and focuses on the social-philosophical studies of segmental societies through the dichotomy ‘clan—state’ claiming that segmental society does not allow the concentration of power. The article is based on the studies of the tendencies of neo-tribalism and reorganization of kin relations by O.L. Lushnikova, Ch.M. Lamazhaa, N.T. Nurullo-Khodjaeva and on the works reconsidering eurocentrism and evolutionary one-line historical process that turned modernization policies into violent sedentarization of the nomads. Historiographic studies also prove the need to revise the generally accepted method of studying the genesis of nomadic cultures that J. Scott defines as a ‘periphery’ of the historical process. The social-political perspective allows to consider tribal relations through the institutions of gift-exchange and potlatch (M. Moss) as preventing the system of power based on suppression. The deconstruction of evolutionism and logocentrism changed the emphasis in the dichotomy ‘genus—state’, so the state is no longer considered an absolute good. A. Giddens and P. Bourdieu define nomadism as ‘another sociality’ in which segmentation is the main principle of conjunction. The substantial episteme of sedentarism opposes the processual episteme

* © D.A. Zhakupbekova, 2019.

The article was submitted on 18.10.2018.

of nomadism according to the analysis of the social-political concepts of Aristotle and Ibn Haldun. Thus, the opposition of nomadic and sedentary cultures as a dichotomy of genus-polis is based on an aporia of identity and difference, myth and logos, feminine and masculine, which defines the conceptualization of nomadism.

Key words: genus; segmentation; sociality; state; gift exchange; potlatch; nomadism; evolutionism; heterogeneity

References

- [1] Averkieva Yu.P. *Indeytsy Severnoy Ameriki. Ot rodovogo obshchestva k klassovomu* [Indians of North America. From Tribal Society to Class Society]. Moscow; 1974 (In Russ.).
- [2] Aristotel. *Politika* [Politics]. Per. s dr.-grech. S.M. Rogovina. Moscow; 2010 (In Russ.).
- [3] Bourdieu P. *Praktichesky smysl* [Practical sense]. Per. s fr. A.T. Bikbova, K.D. Voznesenskoj, S.N. Zenkina, N.A. Shmatko; otv. red. per. i poslesl. N.A. Shmatko. Saint Petersburg; 2001 (In Russ.).
- [4] Vladimirtsov B.Ya. *Obshchestvennyy stroy mongolov. Mongolsky kochevoy feodalizm* [The Social Structure of the Mongols. Mongolian Nomadic Feudalism]. Leningrad; 1934 (In Russ.).
- [5] Giddens A. *Ustroyeniye obshchestva: Ocherk teorii strukturatsii* [The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration]. Moscow; 2003 (In Russ.).
- [6] Deleuze G., Guattari F. *Anti-Edip: Kapitalizm i shizofreniya* [Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia]. Per. s fr. i poslesl. D. Krachchikina. Ekaterinburg; 2007 (In Russ.).
- [7] Derrida J. *Esse ob imeni* [On the Name]. Per. s fr. N.A. Shmatko. Moscow—Saint Petersburg; 1998 (In Russ.).
- [8] Erofeeva I.V. *Epistol'yarnoye nasledie kazakhskoy pravyashchey elity 1675—1821 godov* [Epistolary Heritage of the Kazakh Ruling Elite of 1675—1821]. Almaty; 2014 (In Russ.).
- [9] Ibn Khaldun. Al-Mukaddima. *Istoriya arabo-musul'manskoy filosofii: Antologiya*. Pod red. A.V. Smirnova. Moscow; 2013 (In Russ.).
- [10] *Istoriya arabo-musul'manskoy filosofii* [History of Arab-Muslim Philosophy]. Pod red. A.V. Smirnova. Moscow; 2013 (In Russ.).
- [11] Kerimov T.Kh. *Sotsial'naya geterologiya* [Social Heterology]. Ekaterinburg; 1999 (In Russ.).
- [12] Kovalevsky M.M. *Rodovoy byt v nastoyashchem, nedavnem i otdalennom proshlom (otryvki)* [Tribal life in the present, recent and distant past (excerpts)]. *Antologiya russkoy klassicheskoy sotsiologii*. Sost. i komment. D.S. Klementieva, L.N. Pankovoy. Moscow; 1995 (In Russ.).
- [13] Kradin N.N. *Kochevniki Evrazii* [Nomads of Eurasia]. Almaty; 2007 (In Russ.).
- [14] Kuropyatnik M.S. *Korennyye narody v kontekste kulturnoy nepreryvnosti* [Indigenous peoples in the context of cultural continuity]. *RUDN Journal of Sociology*. 2016; 16 (4) (In Russ.).
- [15] Lamazhaa Ch.K. “Klan” — ponyatie v sotsialnykh naukakh [“Clan” — a concept in social sciences]. *Znanie. Ponimanie. Umenie*. 2008; 2 (In Russ.).
- [16] Lushnikova O.L. *Sotsiokulturny kapital roda v sovremennykh usloviyakh: sotsiologicheskyy analiz* [Social-Cultural Capital of the Genus in Contemporary Society: A Sociological Analysis]. PhD thesis. Ekaterinburg; 2015 (In Russ.).
- [17] Mumford L. *Mif mashiny. Tekhnika i razvitiye chelovechestva* [Myth of the Machine. Technics and Human Development]. Per. s angl. T. Azarkovicha, B. Skuratova; red. E. Puchkova, N. Khotinskogo. Moscow; 2001 (In Russ.).
- [18] Moss M. *Obshchestva. Obmen. Lichnost: Trudy po sotsialnoy antropologii* [Society. Exchange. Personality: Works on Social Anthropology]. Per. s fr. Moscow; 1996 (In Russ.).
- [19] Nancy J.-L. *Bytie edinichnoye mnozhestvennoye* [Being Singular Plural]. Per. s fr. V.V. Fursa; pod red. T.V. Shchittsovoy. Minsk; 2004 (In Russ.).
- [20] Nietzsche F. *Genealogiya morali* [On the Genealogy of Morality]. Per. s nem. V.A. Weinstoka; pod red. V.V. Bitnera. Saint Petersburg; 2016 (In Russ.).

- [21] Nurulla-Khojaeva N.T. Obshchina i gosudarstvo v Tsentralnoy Azii [Community and State in Central Asia]. *Vestnik MGUKI*. 2011; 2 (In Russ.).
- [22] Nurulla-Khojaeva N.T. Srednyaya Aziya, evropotsentrizm, kolonialnost [Central Asia, eurocentricism, colonialism]. *Vestnik MGIMO*. 2015; 6 (In Russ.).
- [23] Radkevich K.V., Shabaga A.V. Oppozitsiya “Zapad—Nezapad” v sotsialnoy mysli: pro et contra [The opposition “West/Non-West” in social thought: Pro et contra]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (1) (In Russ.).
- [24] Radcliffe-Brown A.R. *Struktura i funktsiya v primitivnom obshchestve. Ocherki i leksii* [Structure and Function in Primitive Society. Essays and Lectures]. Per. s angl. Moscow; 2001 (In Russ.).
- [25] Scott J. Zomia: uspehnyye strategii begstva ot gosudarstva [Zomia: Successful strategies of flight from the state] / Per. s angl. I.V. Trotsuk. *RUDN Journal of Sociology*. 2012; 12 (4) (In Russ.).
- [26] Trotsuk I.V. Begstvo ot gosudarstva: soznatelny otkaz ot “dostizheniy tsivilizatsii” i strategii podderzhaniya “varvorskogo sostoyaniya” [Flight from the state: A conscious rejection of the ‘achievements of civilization’ and a strategy to maintain the ‘barbarity’]. *Sotsiologiya Vlasti*. 2012; 4 (In Russ.).



DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-94-107

Низший социальный класс в традиционных и модернистских обществах*

М.Ю. Попов, А.Е. Капишин

Кубанский государственный университет
мкр. им. Г. Жукова, а/я 1812, Краснодар, Россия, 350005

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

(e-mail: popov-52@mail.ru; poliarnik@yandex.ru)

В статье проводится различие между такими понятиями, как «низший социальный класс» («пломпен-пролетариат»), «криминальное сообщество» и «культурный андеграунд»; показано, каким именно образом низшие социальные слои традиционных и современных обществ существенно отличаются друг от друга. Единый в традиционных обществах «нижний социальный мир» с собственными культурами, культурой и организацией существовал в «дуэте» с «верхним социальным миром». Религиозное представление о его ритуальной нечистоте было основанием для дискриминации и сегрегации входящих в него индивидов и социальных групп. В модернистских обществах низший класс распадается и не может рассматриваться в качестве единой социальной антисистемы: его «осколками», не связанными друг с другом, является «нижняя» — тюремная часть криминального сообщества, контркультурный андеграунд и запрещенные секты; верхняя, привилегированная, часть криминальных сообществ, представляющих собой систему связанных по социальной горизонтали и вертикали патронатов, входит в элиту современных обществ. При этом система патрон-клиентских отношений, скрыто пронизывающих современные общества, с необходимостью предполагают коррупцию, по крайней мере «мягкую». Авторы рассматривают также такое явление, как «андеграунд» в модернистских обществах, определяя его как контркультурные группы, состоящие в основном из достаточно образованных представителей среднего класса. В статье описан и андеграунд советского общества, после перестройки распавшийся, который неверно смешивать с низшим классом современного российского общества. В заключение высказывается предположение, что в российской культурной среде сформировался облагороженный образ «социального дна», повлиявший и на научные представления о нем и основанный на социальной памяти о низшем социальном классе традиционного общества.

Ключевые слова: низший социальный класс; традиционное общество; криминальное сообщество; андеграунд; модернистское общество; контркультура; коррупция; патрон-клиентские отношения

Понятие «низший социальный класс» является частью теории социальной стратификации, созданной Л. Уорнером в работе «Социальный класс и социальная структура» и принятой, хотя и с некоторыми дополнениями, значительным числом социологов. Уорнер отнес к низшему классу «хронических безработных», бездомных, бродяг и иных представителей «деклассированных

* © Попов М.Ю., Капишин А.Е., 2019.

Статья поступила в редакцию 15.11.2018 г.

элементов» [7]. В других социологических теориях низший социальный класс имел другие названия: так, в марксистской литературе его называли «люмпен-пролетариатом», отмечая, прежде всего, деклассированность составляющих его индивидов и групп. В дореволюционном российском обществе была распространена характеристика такого социального слоя как «черного» — его представителей называли «чернью». Практически синонимичен «черни» «охлос» Аристотеля, противопоставленный «демосу» («народу»). В системе Аристотеля, раскрытой в «Политике», «демос» состоит из людей определенного происхождения и профессий, является основой положительного политического устройства в противоположность «охлосу» и «охлократии», или «крайней демократии», которую Аристотель не считает видом государственного устройства, поскольку «там, где отсутствует власть закона, нет и государственного устройства» [1. С. 497].

Некоторые отечественные социологи отождествляют низший социальный класс, ведущий «антисоциальный образ жизни», как с контркультурным андерклассом, так и с криминальным миром. Так, В.А. Бачинин понимает под «социальным подпольем» реликтовые социальные образования, имеющие архаическую природу [3. С. 191—192]. В основе его концепции лежит утверждение, что вытесненные из «культурного, цивилизованного общества», из верхних и средних страт, социальные группы сумели сохраниться сами, «осев» на нижних уровнях общества, в его «подвальной» части, и сохранить свои ценности и нормы, но при этом в социальном «подполье» содержится в концентрированном виде и преступное начало [4].

При таком понимании «социального дна» не проводится различие между низшим социальным слоем, состоящим из «люмпен-пролетариев», т.е. людей с предельно низким социальным статусом, и криминальным сообществом, чьи члены разрушают правовую систему общества, и андеграундом как группой людей, принадлежащих к контркультуре. «Социальное подполье» соединяет в себе предельно социально низкое, криминальное и контркультурное начала, потенциально опасные для социальной системы и элиты. Рассмотрим криминальные и контркультурные группы, чтобы показать необходимость их различения, но только в модернистских обществах.

Хотя представители криминального сообщества по определению занимаются противоправной деятельностью, только его низшие слои могут быть отнесены к низшему слою нижнего социального класса в современных обществах. Поэтому в модернистских обществах криминальное сообщество неправильно понимать как часть «социального дна», поскольку «криминальные авторитеты» по уровню доходов, образу жизни и социальным связям относятся к верхнему социальному классу, по крайней мере к его нижнему слою в классификации Уорнера. Они в той или иной степени связаны с элитными социальными группами, и такого рода связь может принимать как форму делового партнерства (запрещенного, но существующего), так и родственный характер. Граница между «криминальным» и «чистым» бизнесами фактически размыта, а представители административной и экономической элиты «срастаются» в симбиотической социальной связи с высшим эшелонем

криминалитета. О такого рода отношениях элит и криминала в постсоветских обществах писали так часто и аргументировано, что их наличие воспринимается жителями постсоветского пространства в качестве банальности. Впрочем, такое положение дел не уникально для постсоветских стран и имеет аналоги в других обществах, в том числе западных, хотя в последних связь элит с криминальным миром хорошо замаскирована. Лишь иногда о ее существовании становится известно общественности благодаря выходу таких книг, как, например, «Всемирная прачечная. Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире» Д. Робинсона [9] или «Кокаин, контрабанды и нарко-война» С. Кастилло.

Криминальный мир тесно связан не только с политическими и экономическими элитами современных обществ, но и с культурными. Достаточно в этой связи вспомнить о классике американской музыки Ф. Синатре, который был тесно связан с криминальными авторитетами своего времени.

В традиционных обществах деятельность, противоречившая их правовой системе (криминальная), с необходимостью приводила к тому, что ее субъект: изгонялся из общества; был казнен; подвергался дискриминации, отделяясь от законопослушных членов общества, опускался на социальное дно на время или на всю жизнь. Если в таком «падшем» состоянии у него появлялись дети, то они наследовали его низший статус. Преступление понималось как ритуальное осквернение и воспринималось в контексте господствовавшей религии. Об этом подробно писала М. Дуглас в ставшей классической работе «Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу». В ней, в частности, рассматривалась кастовая система индийского общества, в которой «статусы представлены с позиций чистоты и нечистоты... Самые низшие касты наиболее нечисты, и именно их скромные услуги дают высшим кастам возможность не соприкасаться с телесной нечистотой... Вся система репрезентирует тело, в котором, в результате разделения труда, голова занята размышлениями и молитвами, а наиболее презренные части занимаются уборкой мусора. В каждом локальном субкастовом сообществе есть четкое представление о его относительном положении на шкале чистоты. С точки зрения индивида, система кастовой чистоты выстраивается снизу вверх. Те, кто над ним, более чисты. Все, кто ниже его, как бы ни было сложно их отношение друг к другу, для него нечисты» [6. С. 185].

В кастовой системе (хотя не только в ней) цвета используются как маркеры социального статуса и степени ритуальной чистоты. Черный цвет, обозначавший представителей низшего социального слоя, указывал на их ритуальную нечистоту, противоположную «белизне», т.е. ритуальной чистоте элиты. Именно осквернение, передающееся по наследству, лежит в основе дискриминации и сегрегации «неприкасаемых» в традиционных обществах. Закон воспринимался как граница, переход которой исключал возможность принятия участия в религиозных обрядах и тем самым выводил индивида из общества. Дуглас отметила, что к ритуальной нечистоте «нужно подходить через понятие порядка» [6. С. 71], под которым она понимает, прежде всего, порядок социальный. Общество утверждает для подражания образцы, источником которых является определенная религия. Индивиды

и группы, ориентирующиеся на них, пребывают в рамках закона и, тем самым, поддерживается социальный порядок. «Нечистота — это то, чего не должно быть, если надо сохранить образец» [6. С. 72]. Закон проводит границу между теми, кто следует предлагаемым образцам, как бы материализуя их в своей жизни, и теми, кто их нарушает. Преступление отождествляется с отказом от следования в мышлении и деятельности предлагаемым религией образцам и понимается как «нечистота».

Такое функционалистское объяснение нечистоты и преступления кажется поверхностным, но это не значит, что оно ничего не объясняет.

В японском традиционном обществе представители «социального дна» назывались «нелюдями» — это соответствовало представлению, что преступник умер как человек [5. С. 159]. Он, однако, попадал не в социальный вакуум, не имея прав и собственности: представители «социального дна» традиционного общества были частью организованных социальных групп, исполнявших предписанные функции в социальном пространстве «нижнего мира», которое было также иерархично. Можно в этой связи указать на «неприкасаемых» в индийском обществе, организованных в многочисленные и активные сообщества (при всей их дискриминации со стороны «дважды рожденных») [14. С. 471—478], или на «неприкасаемых» японского социума, имевших руководителей, передававших свою должность по наследству [5. С. 168]. Какое-либо взаимодействие представителей «нормального» общества с представителями преступного «социального дна» и, соответственно, влияние второго на первое было исключено, поскольку считалось, что оно вело к осквернению полноценных членов общества. Поэтому в традиционных обществах «социальное дно» понималось как состоящее из преступников, социальная ничтожность и криминальность отождествлялись.

В модернистском обществе эта связь была утрачена. В силу своего секулярного характера и того, что стратификация основана на критериях экономического дохода, образа жизни и влияния социальных связей, индивид или группа могут иметь высокие социальные позиции, входить в элиту и при этом быть представителями криминального мира или, по крайней мере, быть связанными с ним. Однако следует выделять среди представителей криминального сообщества и тех, кто не просто де факто являются преступниками, существуя как часть «цивилизованного сообщества», но и тех, чья вина доказана, и они отбывают заключение в тюрьмах, т.е. в изолированном социальном пространстве. Последнее сообщество называют тюремным, оно — часть криминального мира, близкое по образу жизни к низшему социальному классу традиционных обществ, в наибольшей степени архаичное с точки зрения сохранения норм и ценностей, принятых в низших сообществах традиционных социумов. Отношение к нему в «большом» криминальном сообществе неоднозначно: с одной стороны, «сидевших» принято уважать, «правильное» (с точки зрения норм криминального сообщества) пребывание «на зоне» повышает социальную позицию члена криминального сообщества, попадание в него даже понимается как инициация в криминальном мире, как условие полноценного вхождения в него. С другой

стороны, тюремное сообщество («зона») считается низшим уровнем внутри криминального общества, и такое представление является прямым продолжением представлений членов традиционных обществ об инициации, понимавшейся как преступление и искупление в ритуально нечистом, низшем социальном пространстве.

Причина, по которой некоторые социологи увязывают принадлежность к низшему социальному слою с принадлежностью к криминальному сообществу, может иметь идеологический характер. Ч.Р. Миллс в книге «Социологическое воображение» обратил внимание, что многие представители «официальной социологии» (к которой он относил, прежде всего, структурный функционализм Т. Парсонса и «абстрактный эмпиризм» П. Лазарсфельда) не столько отражают в своих работах фактическое положение дел в обществе, сколько утверждают такое, что предписывается идеологическими целями, по сути, входя в «государственно-монополистический аппарат науки» [7. С. 202—220]. Речь идет о картине социальной действительности, распространяемой и большинством западных средств массовой информации, согласно которой демократические де юре и де факто общества — те, в которых большинство населения свободно определяет и меняет элиту и государственный курс, криминал если и имел связи с элитами, то только в прошлом, четвертая власть независима и т.п. В этом мифе криминальное сообщество не обладает значительным влиянием ни на одну из сфер общества, располагаясь на социальных «задворках». Коррупция в нем объявляется социальной дисфункцией, с которой борются, а не нормой, которая лучше или хуже маскируется.

К социологическим теориям, поддерживающим данный миф, относится, в первую очередь, структурный функционализм и теории преступности, логически из него вытекающие, но несколько его модифицировавшие. С опорой именно на такие концепции рассматривалась преступность в США в классической работе Э.М. Шура «Наше преступное общество». Представители структурного функционализма (Т. Парсонс, Р.К. Мертон, Н.Дж. Смелзер) рассматривают криминалитет как результат отсутствия в обществе морального регулирования: если чаяния людей не совпадают с получаемым вознаграждением, то разрыв между желаниями и их осуществлением может повлечь за собой преступные поступки. А. Коэн объединил эти иные, чем в «большом» обществе, критерии успеха — кражи, агрессивность, вандализм — как элементы делинквентных субкультур, или «субкультур насилия» организованной преступности [16].

Вхождение индивидов в криминальные сообщества может быть объяснено тем, что отношения в них подобны традиционным общинам, прежде всего родовым или большесемейным. Вхождение в них решает (по крайней мере, в представлении людей) проблему отчуждения, отмечавшуюся еще классиками социологии — К. Марксом, Ф. Теннисом, Г. Зиммелем. Структуры организованной преступности, как и религиозные секты, по-прежнему основаны на типе социального взаимодействия, преобладавшем в традиционных обществах. В этом смысле такие структуры действительно могут быть названы реликтовыми, архаичными,

противостоящими институтам и порядкам модернистского общества: «распространенность и сила клиентарных связей являются индикатором эффективности либо неэффективности современных институтов... В странах, где традиционные структуры мощнее, а модернизация имеет еще неорганичный, заимствованный и даже насильственный характер, современные социальные механизмы и вовсе превращаются в институциональные гибриды, а то и во внешний декорум неотрадиционалистских феноменов» [2. С. 73—74].

Коррупция не просто допустима в патрон-клиентских отношениях, но и естественна, обозначая вхождение индивида в тот или иной патронат («клан»). Отношения внутри таких структур кардинально отличны от поверхностных, формальных и деперсонализированных социальных связей. Возникнув в традиционном обществе, воспроизводя внутриродовые отношения (в которых патрон выполняет роль патриарха — главы рода или большой семьи), патрон-клиентские отношения не просто распространены в современных социумах, но и, по крайней мере в некоторых из них, де факто заменяют в социальном управлении формальные институциональные взаимодействия: «частные союзы защиты и покровительства в определенных условиях могут стать институционализированной формой управления — не только в локальных, но и в обширных и сложных социальных пространствах — беря на себя определенные функции институтов публичной власти или даже полностью их замещая... патрон-клиентные и все подобные им — клиентарные — связи воспроизводятся внутри современных институтов, влияя на их функционирование» [2. С. 63, 71].

Структуры, основанные на патронаже, имеют непосредственное отношение к структурам организованной преступности (слово «мафия» переводится как «семья») и к коррупции, цементирующей подобного рода отношения. Вступление в такие маскирующиеся, юридически противоправные отношения понимается как вступление в «семью», которая негласно защищает и социально продвигает своих членов. Однако протекция дается не просто так — каждый член «семьи» должен делиться с другими частью своего капитала (не обязательно и не только материальным, но социальным). Каждый член «семьи» за покровительство регулярно приносит жертву, и само право на это воспринимается как привилегия.

Говоря о патрон-клиентских структурах в современных обществах, следует различать два вида коррупции — «твердую» и «мягкую». «Твердая» представляет собой взяточничество, коммерческий подкуп. Хотя она допускается в патрон-клиентских отношениях (само их существование является «питательной» средой для нее), тем не менее, не является для них обязательной. Иными словами, современные патрон-клиентские связи могут устанавливаться и поддерживаться без «жесткой коррупции», но они невозможны без коррупции «мягкой», под которой понимаются: nepotism (кумовство) — предоставление привилегий родственникам, кронизм — предоставление привилегий друзьям, друзьям друзей, фаворитизм и др. [11. С. 72—80]. Несмотря на то, что во многих современных обществах, где сильны традиционные устои (к ним относятся не только технологически отсталые «страны третьего мира», но и, например, Япония и Корея),

к «мягкой коррупции» в общественном мнении отношение как минимум снисходительное, хотя она все равно противоречит праву. Так, в конвенции ООН, принятой в 2001 году против коррупции, непотизм, без которого немислим патронаж, отнесен к коррупции [19]. В российском законодательстве есть несколько статей, в том числе в Уголовном кодексе, направленных против «мягкой коррупции» [11. С. 79]. Несмотря на это, «мягкая коррупция» (как и практикующие ее большие или малые «кланы») не просто широко распространена в российском обществе, но и воспринимается общественным мнением если не как норма, то как обычное положение вещей.

Коррупционные связи, естественные в патронажах, коренятся в традиционных социальных отношениях, когда они были не только привычными, но и не противоправными. Поэтому такого рода связи (особенно «мягко-коррупционные»), как и построенные на них нелегальные социальные группы, воспринимаются в традиционалистски настроенном обществе как естественные, порой даже как нравственно должные. Например, можно вспомнить практику, считающуюся в современном обществе коррупционной, — «кормление от дел» в России XIX века, хотя она имела множество аналогов в других традиционных обществах: чиновники открыто, в соответствии с нормами права, получали подношения за что не открыто оказывали им «содействие» в решении разных вопросов, таких, как «выхлопотать» пособие, получить разрешение на свадьбу, помочь сделать шаг в карьере, подать за кого-либо прошение в суде. Подношение воспринималось как дань уважения, а его отсутствие, напротив, как проявление неблагодарности и цинизма. М.А. Афанасьев приводит утверждения образцовых чиновников XIX века Д.Н. Блудова и М.А. Корфа, воспринимавших патрон-клиентские отношения не просто как обычные и дозволенные, но как должные, более того — нравственно оправданные [2. С. 107—108]. Отношения между чиновником, выступавшим в роли патрона, и клиентами, регулярно его «благодарившими», понимались как родственные. На их основе формировались патронаты, принадлежность к которым определялась тем, кто кому приносит регулярные подношения. Такие патронаты могли вступать в различные взаимоотношения — конкуренции, кооперации, иерархии и пр.

Коррупционные отношения в современном обществе идентичны рассмотренным, представляя собой сеть теневых «патронатов» (кланов) во главе с тем или иным коррупционером, занимающим высокую социальную и/или административную позицию. Единственное их отличие заключается в том, что в модернистском обществе они противоречат закону, поэтому сами такие отношения, как и индивиды и группы, в них включенные, считаются криминальными. Они «подпольны» в том смысле, что замаскированы и нелегальны, но при этом могут оказывать существенное влияние на общественную жизнь.

Ошибочно считать, что патрон-клиентские отношения и связанная с ними «клановая структура» играют сегодня существенную роль только в обществах частично модернистских (например, в индийском или среднеазиатском), в то время как в западных обществах они маргинальны и вытеснены на общественную

периферию. Выстроенные анонимно-рационально демократические институты модернистского общества на первый взгляд исключают практику социального патронажа и клановую структуру, номинально отвергая патримониальное господство и личную зависимость. Социальные институты модернистских обществ и связанная с ними официальная идеология демократического правового общества объявили патрон-клиентские отношения и клановые структуры нелегитимными [2. С. 72]: такая нелегитимность не сводится к моральной оценке, она предполагает и наличие социальных сил, противодействующих воспроизводству патрон-клиентских отношений. Такое противодействие возникает как благодаря социальной мобилизации клиентов, так и активности групп и индивидов, занимающих высокие социальные позиции вне клиентелистских связей. Не обретя силы в законе, теряя традиционное оправдание, испытывая влияние отношений купли-продажи, патрон-клиентные отношения становятся не столь распространенными и открытыми в западных обществах, как прежде [17. С. 175], однако, скрыто существуя внутри институциональных структур и вне права, они по-прежнему играют важную социальную роль. Они де факто входят в элиту западных обществ или, по крайней мере, тесно связаны с деятельностью элитных групп.

В этой связи уместно выдвинуть утверждение, обосновать которое в рамках данной статьи невозможно, что «кланы» в модернистских обществах не только подобны по способу «замаскированного» существования и скрытой солидарности «тайным обществам» и государственным спецслужбам, но и в некоторых случаях тесно связаны или даже сращены с ними: «Индустриальное предприятие и бюрократический аппарат, задающие структурно-институциональные и функционально-поведенческие матрицы современной социальности, при ближайшем рассмотрении оказываются вмещением социальной „контрабанды“ — неформальных отношений зависимости и покровительства... Исследования по социологии зафиксировали серьезные отклонения реального функционирования административных учреждений и повседневных отношений внутри персонала от официальных правил и инструкций, т.е. от веберовского идеального типа бюрократии. Разновидностью подобных дисфункций являются „параллельные властные отношения“» [2. С. 69—70]. К. Легг также был убежден, что «бюрократизация современной жизни не только не исключает, но реально порождает клиентелистские связи», а в современных организациях существуют удобные побудительные мотивы клиентелистской активности [18. С. 197].

Криминальное сообщество — один из «осколков» низшего социального класса («нижнего мира») традиционного общества в модернистских обществах. Его отличительной чертой является нарушение правовой системы. Термин «андеграунд» обозначает сообщества людей культурно девиантных и в этом смысле не являющихся нормальными членами общества. Представители андеграунда — группы людей, занимающихся культурными или культовыми практиками (в этом случае речь идет о сектах, деятельность которых запрещена). Эти практики, как минимум, не поощряются, а как максимум — преследуются, но представители данных групп необязательно занимают низшие социальные позиции. Даже беглый

взгляд на историю андеграунда как на Западе, так и в России показывает, что в них входили не только представители среднего класса, но и порой представители элит. Факт принадлежности индивида к контркультуре в современном обществе не указывает на социальную маргинальность хотя бы потому, что он может скрывать ее. Представитель андеграунда может иметь несколько социальных жизней, в одной из которых является вполне респектабельным представителем среднего или высшего класса.

Увязывание отвержения ценностей и норм общества с пребыванием в низшем социальном классе сегодня лишено оснований. Представители андеграунда, как правило, имеют достаточно высокое образование, доход и в целом социальный статус, не позволяющий отнести их к «социальному дну». Его представители обычно пребывают в настолько тяжелых материальных условиях и в настолько подавленном состоянии, что их образ жизни сводится к борьбе за выживание, исключает социальные и тем более культурные протесты, они в принципе не способны выработать альтернативные, антисистемные нормы и ценности. Представителей культурного андеграунда следует отнести к контр-элитным социальным слоям, их, а не людей из низшего социального класса, можно сравнить, вспомнив фрейдистское структурирование психики, с членами социального «Оно» общества. Можно сказать, что ценности и нормы субъектов культурного андеграунда находятся в отношении инверсии к культурным устоям общества, в котором они «подпольно» существуют.

В советском обществе андеграунд был представлен интеллектуалами, чье творчество не вписывалось в рамки советских ценностей и норм, однако их социальная позиция не позволяет отнести их к низшему классу. Некоторые представители советского андеграунда даже относились к культурной богеме советского общества. Об этом, например, говорит история «шизоидного подполья» в Южинском переулке Москвы в 1970—1980-е годы [15]: деятельность данного неформального объединения показывает, что принадлежность к контркультуре и асоциальный образ жизни (алкоголизм и наркомания) могут сосуществовать с высшим образованием и материальным доходом среднего для общества уровня. Представители советского андеграунда были частью интеллигенции, которую, хотя бы на основе уровня образования, неверно относить к «социальному дну». Именно такие представители общества были носителями контркультуры, потенциально опасными для социальной системы и ее элиты. Неслучайно после разрушения советского общества некоторые из них вышли из «подполья» и стали если не частью новой элиты, то, по крайней мере, людьми, тесно связанными с ней, что позволило им повысить социальное влияние и обрести формальные регалии (например, А.Г. Дугин, Г. Джемаль). Аналогичный «социальный подъем» совершили некоторые диссиденты, «альтернативные» советской культуре писатели и художники, влившиеся в структуру постсоветской культурной элиты.

В постсоветском обществе, с одной стороны, возник низший социальный класс в классическом социологическом понимании, наполнившийся массами людей, прежде составлявшими советский средний класс, с другой стороны, исчез

андеграунд как сообщество интеллигентов, представителей среднего класса и в то же время носителей контркультуры.

У советского андеграунда существовали и аналогичные неформальные группы в западных обществах, например, американские «битники» в середине XX столетия. Их пример особенно показателен, так как к концу века их идеология контркультуры проникли в верхние слои американского общества и кардинально изменили их.

Представления некоторых отечественных социологов о «социальном подполье» как единой социальной антисистеме, имеющей собственную контркультуру, потенциально опасную для «цивилизованного общества», не имеют отношения к низшему классу современных обществ. Андеграунд советского общества не вписывается в классическую модель стратификации западной социологии. Для западных исследователей между культурным уровнем (и уровнем институционального образования), образом жизни и социальным статусом существует прямая связь, поэтому в западной социологии, фиксирующей реалии модернистских обществ, человек умственного труда не может быть частью «социального дна». В русской же традиционной культуре существовало такое явление, как «юродивые» (показанное, например, А.С. Пушкиным в «Борисе Годунове») — представители низшего социального слоя, обладавшие высоким авторитетом, с мнением которых считались элиты. Представление о юродивых повлияло на формирование образа «социального подполья» у русской культурной элиты и ученых.

Утверждение императивной связи низшего социального класса с контркультурой верно для традиционных обществ, где низший социальный класс состоит из продуктов социального распада, людей не организованных, не имеющих социальной перспективы. Некорректно утверждать, что они могут быть носителями «альтернативной» культуры и представлять какую-либо опасность для социальной системы и элиты. В традиционном обществе низший социальный класс имеет свою структуру, составляющие его группы живут по своим культурным канонам, которые имеют религиозное основание, однако сверхъестественные сущности, которым поклоняются в низших социальных слоях, имеют иную, «черную» природу, т.е. ритуально нечистую и инфернальную. Низший социальный класс в традиционном обществе — «нижний» социальный мир, практикующий собственные культы и имеющий собственную культурную подсистему, находящуюся, как и вся его социальная система, в отношении к инверсии к цивилизованному традиционному обществу.

Конфликтное сосуществование «нижнего» и «верхнего» миров традиционного общества связано с его древнейшей дуальной организацией. Известные социумы древнего и средневекового времени, как и современные «полутрадиционные» общества индийской, дальневосточной или исламской культуры, содержат остатки дуальной организации, аналогом которой являются римские сатурналии, в которых фиксируется время переворота — когда социальные низы и верхи менялись местами. Они имели аналоги в других традиционных культурах, пример

чему — «карнавальная культура», рассмотренная М.М. Бахтиным. При всей своей «нечистоте», подвергаясь дискриминации и сегрегации, «нижний социальный мир» был необходим для существования «верхнего».

Во многих традиционных обществах, называемых в антропологии архаическими (не имеют письменности и государственной организации), попадание в «нижний мир» для всех индивидов в определенный период жизни было неизбежно, так как в нем происходила инициация — условие социального рождения. Поэтому его можно называть не только «низшим социальным уровнем», «социальным дном», но и «пространством испытания», попадание в которое представлялось как вызов, условие достижения высокого социального статуса: «в общей для всех индоевропейцев (и, вероятно, не только для них) системе воспитания и перехода из одного социально-возрастного класса в другой всякий мужчина непременно должен был пройти своеобразную „волчью“ или „собачью“ стадию.

Эта стадия имела откровенно инициационный характер, и результатом ее прохождения становилось резкое повышение социального статуса, включавшее, очевидно, право на брак, на зачатие детей и на самостоятельную хозяйственную деятельность... Воины-псы обязаны жить на периферии культурного пространства... не нарушая „человеческих“ границ, но ревностно их оберегая от всякой внешней опасности. Фактически, согласно архаической модели мира, они вытесняются в хтоническую зону... Попытка войти на „человеческую“ территорию рассматривалась бы в таком случае как осквернение этой территории, как нарушение всех человеческих и космических норм... Вернуться к человеческой жизни в новом статусе взрослого мужчины „пес“ может только пройдя финальную стадию обряда инициации, равносильную обряду очищения» [8. С. 335].

О связи инициации и преступности, по крайней мере в некоторых в традиционных обществах, Дуглас писала так: «В течение маргинального периода, отделяющего ритуальную смерть от ритуального возрождения, проходящие инициацию временно оказываются на положении изгнанников. Во время ритуала им нет места в обществе. Иногда они действительно уходят жить в какое-нибудь удаленное место. Но иногда они живут достаточно близко для того, чтобы могли происходить случайные контакты между ними и полноценными членами общества. В этом случае мы обнаруживаем, что они ведут себя как опасные уголовники. Они могут нападать, красть, грабить. Такое их поведение даже приветствуется. Антиобщественное поведение — подходящее выражение маргинальности их состояния» [6. С. 147; 10; 12].

Ведя себя асоциально, преступно, пребывая как бы вне общества, иницируемые индивиды ведут себя в то же время так, как предписано и их поведение воспринимается как должное, хотя и опасное. В таком «низком» социальном пространстве практиковались и формы сексуальных отношений, которые запрещались в «культурных» слоях традиционного общества. Характерно, что они же были допустимы в андеграунде модернистских сообществ, поскольку, видимо, как и криминальная среда, контркультурный андеграунд XX столетия был «остатком» низшего социального слоя традиционного общества. Этим же объясняется и рас-

пространенность в андеграунде и криминале ненормативной лексики, бывшей частью контркультурного языка представителей «социального дна»: «в своем исходном виде мат был жестко привязан к маргинальной культурной зоне, ко всем относящимся к ней материальным и нематериальным магическим объектам, к принятым в ее пределах способам поведения и системе отношений как внутри „стай“, так и между членами „стай“ и посторонними» [8. С. 346].

В традиционных обществах, располагающихся как хронологически, так и по своей организации ближе к модернистским, т.е. имеющих государственность и письменность, «нижний социальный мир» более не является пространством, в котором происходит инициация, т.е. образование и воспитание полноправного члена общества. Соответственно, заключение в нем не является тяжелой необходимостью для каждого индивида в определенный период жизни, — теперь это наказание за преступление. В него попадают, как считалось, лишившиеся чести военнопленные и должники, а выйти из него практически невозможно не только для тех, кто в него попал, но и их потомков. Вместо возрастных групп иницируемых возникают «неприкасаемые», рабы и родственные им группы, члены которых постоянно и безусловно пребывают в низшем социальном классе: большинство включены в него от рождения, «расплачиваясь» за предков. Соответственно, инициации из реальных испытаний превращаются в символические практики, только в тайных обществах и их мистериях сохраняя свой «архаичный» характер.

Библиографический список

- [1] *Аристотель*. Сочинения. Т. 4. М., 1984.
- [2] *Афанасьев М.Н.* Клиентелизм и российская государственность. М., 2000.
- [3] *Бачинин В.А.* «Человек барачный» в поэтической девиантографии Игоря Холина // <http://hpsy.ru/public/x5044.htm>.
- [4] *Бачинин В.А.* Основы социологии права и преступности. М., 2001.
- [5] *Данн Ч.* Традиционная Япония. М., 2006.
- [6] *Дуглас М.* Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М., 2000.
- [7] *Миллс Ч.Р.* Социологическое воображение. М., 2001.
- [8] *Михайлин В.Ю.* Тропа звериных слов. М., 2005.
- [9] *Робинсон Д.* Всемирная прачечная. Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире. М., 2004.
- [10] *Скотт Дж.* Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии / Пер. с англ. И.В. Троцук. М., 2017.
- [11] *Сулакишин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. и др.* Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России Т. 1. М., 2008.
- [12] *Троцук И.В.* Бегство от государства: сознательный отказ от «достижений цивилизации» и стратегии поддержания «варварского состояния» // *Социология власти*. 2012. № 4.
- [13] *Уорнер Л.* Социальный класс и социальная структура // *Рубеж*. 1999. Т. 10—11.
- [14] *Успенская Е.Н.* Антропология индийской касты. СПб., 2010.
- [15] *Челноков А.* Мелкие и крупные бесы из шизоидного подполья // <https://chelnokov-ac.livejournal.com/7987.html>.
- [16] *Шур Э.М.* Наше преступное общество. М., 1977.

- [17] *Eisenstadt S.N., Roniger L. Patrons, clients and friends. Interpersonal relations and the structure of trust in society // Themes in the Social Sciences. Cambridge, 1984.*
- [18] *Legg K. Comment on advanced industrial societies // Studies in Comparative Communism. 1979. Vol. XII. No. 2—3.*
- [19] UN Conventions and Agreements. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-94-107

Lower social class in traditional and modern societies

М.Ю. Попов, А.Е. Капишин

Kuban State University

mcr. im. G. Zhukova, PO box 1812, Krasnodar, Russia, 350005

RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia)

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, Russia, 117198

(e-mail: popov-52@mail.ru; poliarnik@yandex.ru)

Abstract. The authors make a distinction between such concepts as ‘lower social class’ (‘lumpenproletariat’), ‘criminal community’ and ‘cultural underground’, and identify significant differences between the lower social strata in traditional and modern societies. The single ‘lower social world’ of traditional societies had its own cults, culture and organization and was an opposite of the ‘upper social world’. The religious definition of its ritual impurity was the basis for discrimination and segregation of its members and social groups. In modern societies, the lower class disintegrates and cannot be considered a single social anti-system: its ‘fragments’ — the prison part of the criminal community, counter-cultural underground and forbidden sects — are not connected with each other; the upper privileged part of criminal communities (a system of patronages with horizontal and vertical social ties) became a part of the modern society elite. At the same time, the system of patron-client relations that invisibly permeates modern societies necessarily implies corruption, at least the ‘soft corruption’. The authors consider such a phenomenon as an ‘underground’ in modern societies defining it as countercultural groups consisting mainly of well-educated representatives of the middle-class. The article also describes the underground of the Soviet society before and after *perestroika* which cannot be defined as a lower class of the contemporary Russian society. In conclusion, the authors suggest that in the Russian culture there is a kind of refined image of the ‘social bottom’ that influenced scientific ideas about it and is based on the social representations of the lower social class in the traditional society.

Key words: lower social class; traditional society; criminal community; underground; modern society; corruption; patron-client relations

References

- [1] Aristotle. *Sochineniya* [Works]. Vol. 4. Moscow; 1984 (In Russ.).
- [2] Afanasiev M.N. *Klientelizm i rossiyskaya gosudarstvennost* [Clientelism and Russian Statehood]. Moscow; 2000 (In Russ.).
- [3] Bachinin V.A. “Chelovek barachny” v poeticheskoy deviantografii Igorya Kholina [The ‘barrack man’ in the poetic deviantography of Igor Kholin]. <http://hpsy.ru/public/x5044.htm> (In Russ.).
- [4] Bachinin V.A. *Osnovy sotsiologii prava i prestupnosti* [Foundations of Sociology of Law and Crime]. Moscow; 2001 (In Russ.).

- [5] Dunn C.J. *Traditsionnaya Yaponiya* [Everyday Life in Traditional Japan]. Moscow; 2006 (In Russ.).
- [6] Douglas M. *Chistota i opasnost. Analiz predstavleniy ob oskvernenii i tabu* [Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo]. Moscow; 2000 (In Russ.).
- [7] Mills C.W. *Sotsiologicheskoe voobrazhenie* [Sociological Imagination]. Moscow; 2001 (In Russ.).
- [8] Mikhaylin V.Yu. *Tropa zverinykh slov* [The Path of Animal Words]. Moscow; 2005 (In Russ.).
- [9] Robinson J. *Vsemirnaya prachechnaya. Terror, prestupleniya i gryaznye dengi v ofshornom mire* [The Sink: Terror, Crime and Dirty Money in the Offshore World]. Moscow; 2004 (In Russ.).
- [10] Scott J. *Iskusstvo byt nepodvlastnym: Anarkhicheskaya istoriya vysokogoriy Yugo-Vostochnoy Azii* [The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia]. Per. s angl. I.V. Trotsuk. Moscow; 2017 (In Russ.).
- [11] Sulakshin S.S., Maksimov S.V., Akhmetzyanova I.R. i dr. *Gosudarstvennaya politika protivodeystviya korrupsii i tenevoy ekonomike v Rossii* [Government Policy to Counter Corruption and the Shadow Economy in Russia]. Vol. 1. Moscow; 2008.
- [12] Trotsuk I.V. Begstvo ot gosudarstva: soznatelny otkaz ot “dostizheniy tsivilizatsii” i strategii podderzhaniya “varvarskogo sostoyaniya” [Flight from the state: A conscious rejection of the ‘achievements of civilization’ and a strategy to maintain the ‘barbarity’]. *Sotsiologiya Vlasti*. 2012; 4 (In Russ.).
- [13] Warner L. Sotsialny klass i sotsialnaya struktura [Social class and social structure]. *Rubezh*. 1999; 10—11 (In Russ.).
- [14] Uspenskaya E.N. *Antropologiya indiyской kasty* [Anthropology of the Indian Caste]. Saint Petersburg; 2010 (In Russ.).
- [15] Chelnokov A. Melkie i krupnye besy iz shizoidnogo podpolya [Small and big devils from the schizoid underground]. <https://chelnokov-ac.livejournal.com/7987.html> (In Russ.).
- [16] Schur E.M. *Nashe prestupnoe obshchestvo* [Our Criminal Society]. Moscow; 1977 (In Russ.).
- [17] Eisenstadt S.N., Roniger L. Patrons, clients and friends. Interpersonal relations and the structure of trust in society. *Themes in the Social Sciences*. Cambridge; 1984.
- [18] Legg K. Comment on advanced industrial societies. *Studies in Comparative Communism*. 1979; XII (2—3).
- [19] UN Conventions and Agreements. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml.



DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-108-120

Перспективы российского информационного общества: уровни цифрового разрыва*

Д.Е. Добринская, Т.С. Мартыненко

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Ленинские горы, 1, Москва, Россия, 119991
(e-mail: darya.dobrinskaya@gmail.com; ts.martynenko@gmail.com)

В статье рассматриваются специфика и тенденции становления информационного общества в России посредством анализа различных аспектов его цифровизации, в том числе связанных с задачей сокращения цифрового разрыва — новой формы социального неравенства, основанной на развитии информационно-коммуникативных технологий во второй половине XX века. В настоящее время не существует единого подхода к концептуализации понятия «цифровой разрыв» («цифровое неравенство»). В качестве методологической базы анализа цифрового неравенства используется трехуровневое членение цифрового разрыва, где первый уровень фиксирует разницу в доступе к новейшим информационным технологиям (наличие или отсутствие материальной базы) и включает в себя не только владение специальными устройствами (смартфонами, компьютерами и др.), но и наличие доступа к Интернету, а также его качество (скорость, стоимость и др.). Второй уровень цифрового разрыва фиксирует разницу в необходимых для эффективного использования информационных технологий навыках (наличие способностей не только потреблять контент, но и производить его, быть активным участником взаимодействия). Третий уровень — это жизненные шансы и возможности, обусловленные использованием информационных технологий, этот уровень наиболее сложен для измерения и опирается на информацию о цифровизации отдельных сфер жизни общества. Цифровизация — приоритетное направление развития российского общества, она включает в себя не только использование цифровых технологий в образовании, здравоохранении и др., но и меняет способы взаимодействия между обществом и государством («электронное правительство»). На основе данных статистики и исследований 2015—2017 годов в статье делаются выводы о перспективах преодоления цифрового разрыва в российском обществе и обозначены риски и негативные последствия попыток его ускоренной цифровизации.

Ключевые слова: социальное неравенство; цифровой разрыв; цифровое неравенство; информационное общество; информационно-коммуникативные технологии; цифровизация; Интернет

Последствия стремительного распространения Интернета со второй половины 1990-х годов и постоянные новации в области информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) меняют современный мир, предоставляя новые возможности для распространения и хранения информации и реализации новых социальных практик, позволяя с легкостью преодолевать географические границы и измерять время «кликом» мыши [18; 20; 28; 44]. Данные обстоятельства стали

* © Добринская Д.Е., Мартыненко Т.С., 2019.

Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Проект №18-011-01106.

Статья поступила в редакцию 18.06.2018 г.

фактором усиления социального неравенства: наряду с традиционными формами неравенства (экономическое, гендерное, расовое, этническое) возникают новые его формы [4; 7; 35], в частности, цифровой разрыв, ставший одним из маркеров новой цифровой эпохи. Россия как часть глобального процесса информатизации и дигитализации всех сфер общественной жизни, с одной стороны, получает несомненные преимущества от применения передовых ИКТ, с другой стороны, испытывает негативные последствия цифрового разрыва.

Цифровой разрыв как важнейший аспект современного неравенства широко представлен в современных социологических исследованиях, однако очевидны и пробелы в его социологическом осмыслении. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) использует термин «цифровой разрыв», определяя его как «разрыв между отдельными лицами, домашними хозяйствами, предприятиями и географическими районами на различных социально-экономических уровнях с учетом их возможностей доступа к ИКТ и широкого спектра деятельности» [34. Р. 5]. Исследователи российского Института развития информационного общества описывают цифровой разрыв как «новый вид социальной дифференциации, связанный с обладанием различными возможностями использования современных ИКТ» [2. С. 62]. Цифровое неравенство изучается в разных исследовательских перспективах. Одни авторы указывают на необходимость выделения трех типов цифрового разрыва: глобального, национального и индивидуального. П. Норрис определяет глобальный разрыв как цифровой разрыв на уровне государств (например, между развитыми и развивающимися странами); социальный — как разрыв между теми, кто имеет и не имеет доступ к ИКТ в пределах одной страны; демократический — как различия между теми, кто активно использует и, наоборот, не использует ИКТ для участия в общественной и политической жизни [33].

Общепризнана сегодня эволюция цифрового неравенства и, соответственно, изменения в концептуализации этого явления [24; 30; 36; 45]. В частности, необходимо выделять уровни цифрового разрыва в связи со спецификой и масштабами доступа и использования ИКТ.

Цифровой разрыв первого уровня: наличие материальной базы

На первом этапе распространения Интернета цифровой разрыв изучался в рамках концепции диффузии технологий и инноваций [38]. Такой детерминистский подход предполагал анализ цифрового неравенства с позиций доступности Интернета (доступ/отсутствие доступа) или количества времени, проведенного в Сети. Доступ к Интернету обеспечивается наличием специального устройства (компьютера, смартфона, планшета и т.п.) и канала связи (услуги интернет-провайдера). Разрыв между теми, кто имеет доступ к Интернету, и теми, у кого возможности использования интернет-технологий ограничены, получил название «цифровой разрыв первого уровня».

Исследования, регулярно проводимые международными организациями, среди которых Международный союз электросвязи, Всемирный экономический

форум, Всемирный банк, компания GfK и др., показывают устойчивую тенденцию к сокращению цифрового разрыва первого уровня. На конец декабря 2017 года количество интернет-пользователей составило 54,4% населения мира [46]. Однако исследования фиксируют замедление темпов роста числа интернет-пользователей в 2017 году (менее 5% в год). По данным Международного союза электросвязи, количество домохозяйств, имеющих подключение к Интернету, в развитых странах почти в пять раз выше, чем в остальных регионах мира. Такая же ситуация характерна и для цифрового разрыва между индивидуальными пользователями: в Европе количество пользователей, регулярно использующих ресурсы Всемирной паутины, в три раза превышает аналогичные показатели в Африке [32]. В России в 2017 году 109,5 млн человек (76,4% населения) пользовались Интернетом [46]. Число интернет-пользователей демонстрирует устойчивый рост и приближается к среднему по Европе: в Дании — 96,9%, в Германии — 89,6%, в Греции — 69,1%. Пользователи из России составляют 16,6% интернет-пользователей в Европе. При этом число пользователей Facebook — 12 млн, что значительно ниже, чем показатели развитых европейских стран [26].

Для характеристики уровня цифровизации в России можно обратиться к исследованию Б. Чакраворти, А. Бхалла и Р.Ш. Чатурведи, в котором анализируются темпы развития цифровой экономики [17]. В качестве основных показателей для построения типологии использовались данные по объемам государственных инвестиций в цифровую экономику, в частности, темп ее развития. На основе проведенных расчетов авторы обозначили четыре группы стран по текущему состоянию и темпам роста цифровой сферы: лидеры, группа стран с замедляющимся ростом, перспективные страны и проблемные. Отдельные страны располагаются на границе областей (например, Китай занимает промежуточное положение между лидерами и перспективными странами). К числу несомненных лидеров относятся ОАЭ, Сингапур и Новая Зеландия. Наиболее развитые с технологической точки зрения страны Европы и Северной Америки постепенно замедляют темпы развития цифровой экономики. Россию авторы отнесли к перспективным странам, в ту же группу входят Мексика, Индонезия, Индия, Марокко и др.

Положение России близко к промежуточному, что объясняется государственной поддержкой развития информационного общества [17]. По данным компании GfK, в 2017 году 56% россиян использовали для выхода в Сеть смартфоны и планшеты, что на 20% превысило аналогичные показатели 2016 года [8]. Таким образом, по доступности материальной базы для выхода в Интернет Россия в глобальном масштабе находится на высоком уровне и характеризуется стабильным ростом.

К сожалению, внутри страны ситуация по регионам различается [9]. По данным Яндекса за 2015—2016 годы, доля тех, кто выходит в Интернет хотя бы раз в месяц, в среднем составляла 67%: наименьшее значение в Дальневосточном федеральном округе — 63%. Стоимость доступа в Интернет в регионах также различается: наиболее высокая — в том же Дальневосточном округе (624 рубля

в месяц, в среднем по стране — 404 рубля. Более того, несоизмерима скорость доступа и различаются предпочтения типов Интернета: так, мобильный Интернет большее распространение получил в Москве (61%), в остальных регионах среднее число пользователей, которые хотя бы раз в месяц выходили в Интернет с мобильного устройства, составляет около 48%. Иными словами, распространение ИКТ в России идет от центра к периферии.

Для оценки социальных последствий распространения ИКТ простого деления на имущих и неимущих недостаточно [19; 29; 31]. Критика упрощенного анализа цифрового разрыва объясняется несколькими причинами. Так, Н. Селвин указывает на зонтичный характер термина «ИКТ», который включает в себя широкий спектр технологий, типов информации и ресурсов. Помимо проблемы доступа к ИКТ есть более сложные вопросы, касающиеся качества связи и возможностей, предоставляемых в результате распределения доступа. Взаимодействие с ИКТ связано с тем, как люди их используют: наличие доступа к информации, ресурсам и услугам не означает автоматически высокой результативности их использования всеми пользователями и во многом зависит от сферы применения (экономическая деятельность, политика, потребление, сбережения и пр.). Поэтому все чаще о цифровом разрыве говорят в контексте изучения возможностей быть полноценным участником социальных взаимодействий в условиях информационного общества [40. Р. 346].

Цифровой разрыв второго уровня: навыки использования технологий

Трансформация исследовательских подходов к изучению цифрового неравенства была связана с переходом к оценке различий в навыках пользования ИКТ [21]. Увеличение объемов информации и усиливающаяся зависимость от доступа к ней делают интернет-навыки жизненно важным активом, но когда эти навыки неравномерно распределены, усиливается социальное неравенство [21].

Второй уровень цифрового разрыва связан с возможностями, которые предоставляет выход в Сеть, и тем, каким образом эти возможности используются. «С точки зрения индивида Интернет представляет собой не одну технологию, а разные вещи для разных людей и используется с разными целями» [41. Р. 7]. Важно не только, кто пользуется Интернетом, но и уровни владения специальными онлайн-навыками, способность эффективно находить информацию в Интернете [21; 27]. Соответственно, важен комплексный анализ последствий распространения ИКТ и различных вариантов их применения в зависимости от возможностей пользователей для общества в целом, его отдельных сфер, конкретных социальных групп и отдельных индивидов [45]. Исследователи начали создавать многомерные аналитические конструкции для изучения комплекса переменных, отражающих особенности поведения агентов в структурировании цифровых неравенств, в результате чего концепция цифрового разрыва получила иерархический вид, описывая разные типы использования ИКТ с учетом уровня цифровой грамотности, уровня образования, гендерной принадлежности, возраста,

владения английским языком и т.п. [24; 25; 27; 37]. Таким образом, второй уровень цифрового разрыва связан с дифференциацией практик применения ИКТ и последствий их реализации [25; 27].

Можно выделить несколько подходов к анализу навыков, необходимых в условиях информационного общества. Я. Стейарт рассматривает информационные навыки как инструментальные (способность эффективно использовать технологические продукты, в том числе соответствующую аппаратуру и программное обеспечение), структурные (умение использовать разные форматы передачи, поиска, хранения и распределения информации) и стратегические (грамотное использование информационных ресурсов для принятия решений) [43].

Я. ван Дейк и А. ван Дерсен классифицируют интернет-навыки с точки зрения использования технических устройств для доступа к ИКТ (операционные навыки), умения искать, отбирать и обрабатывать информацию (формальные навыки), ее использования для личных целей (информационные навыки), а также использования потенциала ИКТ для улучшения своего социального положения (стратегические навыки) [21; 22]. Первые два типа навыков связаны с возможностями, предоставляемыми ИКТ, особенно Интернетом; информационные и стратегические навыки влияют на эффективность работы с контентом. Для полноценного функционирования в киберпространстве человеку важны все типы навыков, поскольку вскоре владение ими будет влиять на профессиональное положение и полноценное участие в общественной жизни.

Большинство исследователей согласны, что уровень владения навыками работы с ИКТ зависит от индивидуальных особенностей, которые определяются социально-демографическими характеристиками (пол, возраст, уровень образования, профессиональная деятельность, доход, опыт работы в Интернете, местожительство). По данным Международного союза электросвязи, цифровой разрыв относительно невелик в развитых странах, более заметен в развивающихся странах и значителен в наименее развитых странах, где Интернетом пользуется каждый пятый мужчина и только каждая седьмая женщина. Пожилые люди значительно реже выходят в Сеть, чем молодежь 15—24 лет (70% молодежи) [32].

Фактором, снижающим возможности использования Интернета, является уровень владения английским языком. Сегодня масштабы Рунета по числу ресурсов и предоставляемых возможностей существенно ограничены по сравнению с англоязычным Интернетом. За период с 2015 по 2017 год уровень владения английским языком в России немного увеличился. По данным компании English First, которая ежегодно составляет индекс владения английским языком (EPI), в 2017 году Россия занимала 38 место среди 80 стран по уровню владения языком [11].

Данные по навыкам использования современных ИКТ жителями России неоднозначны. По данным ВЦИОМ, число тех, кто ежедневно пользуется Интернетом в России, составляет 61%, лишь 20% никогда не пользуются Интернетом. «При этом наличие практики использования Интернета не случайно, а связано с социально-демографическими характеристиками, формирующими социально-

экономическое неравенство (доход, пол, возраст)» [1]. Ежегодно Институт статистических исследований и экономики знаний проводит исследование развития ИКТ в 175 странах мира. По данным за 2016 год, Россия потеряла одну позицию по сравнению с 2015 годом и занимает 43 место [10].

В рамках исследования навыки использования ИКТ оценивались через уровень образования, что не вполне правомерно по ряду причин. Во-первых, наличие образования не всегда гарантирует достаточные навыки использования ИКТ. Во-вторых, скорость развития современных технологий требует постоянной адаптации существующих навыков под новые требования, а неадаптивность системы образования не позволяет ей выполнять эту функцию, т.е. получение подобных навыков возможно либо при самообразовании, либо в системе дополнительного образования.

Наиболее адекватным способом измерения навыков владения ИКТ является изучение целей использования Интернета. Согласно данным Яндекса пользователи Рунета наиболее часто используют Интернет для общения в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и др.), далее по популярности идут поисковые и новостные сайты интернет-магазины, среди лидеров поисковых запросов отдельную группу составляют сайты, содержащие контент для взрослых [9]. По данным компании GfK, россияне тратят десятую часть времени, проведенного в Интернете (более пяти часов в месяц), на шоппинг, и все чаще используют для этого смартфоны и мобильные приложения. В 2017 году более 24 млн россиян 16—55 лет совершали покупки онлайн. Почти треть своего онлайн-времени россияне проводят в социальных сетях [14].

В России наблюдается общемировая тенденция сохранения серьезного цифрового разрыва между поколениями: наиболее активными пользователями являются возрастные группы до 34 лет. У старших возрастов существенно снижается активность в Сети, приоритет отдается просмотру контента, а не его созданию [6]. Тем не менее, и среди людей старшего возраста (55 лет и выше) доля пользователей Интернета за 2017 год выросла на четверть по сравнению с 2016 годом и составила 36%, увеличилось в два раза число пользователей мобильного Интернета — до 21% [8].

Цифровой разрыв третьего уровня: возможности и жизненные шансы

Цифровой разрыв стал социальной проблемой, поскольку связан с особенностями конечных потребителей продуктов ИКТ, наличием у них определенных навыков и компетенций, спецификой использования ИКТ и т.п. В этой связи интерес представляет влияние цифрового разрыва на социальное неравенство [36]. Хотя различия в использовании ИКТ между социальными группами частично уменьшаются, некоторые группы, такие как пожилые люди, граждане с низкими доходами или с низким уровнем образования, по-прежнему борются за доступ к ресурсам Интернета. Для привилегированных социальных слоев характерна тенденция накапливать преимущества, обусловленные уровнем доступа и исполь-

зования ИКТ. Даже если разрыв в физическом доступе практически преодолен (по крайней мере, в развитых странах), чтобы использовать весь потенциал ИКТ, необходимо достичь определенного уровня владения «цифровым капиталом» — это совокупность опыта, навыков, знаний, компьютерной грамотности и др. [36].

Доступ к ИКТ и их использование могут предоставить широкий спектр возможностей для улучшения жизненной ситуации, поэтому ряд исследователей предлагают перейти к анализу третьего уровня цифрового разрыва — в жизненных шансах [36; 39; 42] индивидов в связи с использованием продуктов ИКТ.

Цель Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы, принятой 9 мая 2017 года, — увеличение доли цифровой экономики, обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет, а также формирование у населения потребности в использовании цифровых ресурсов посредством введения систем онлайн-образования и медицины [12; 15]. Тем самым существующий разрыв между наличием достаточной материальной базы и отсутствием необходимых навыков и знаний для ее полноценного применения государство пытается преодолеть через принудительную цифровизацию основных социальных институтов — образования и медицины. Однако экономика нашей страны все еще не является цифровой. Например, доля объема реализации товаров и услуг через Интернет составляет лишь 2,3% ВВП. «Сейчас доля цифровой экономики в ВВП России... составляет 3,9%, что в два-три раза ниже, чем у стран-лидеров, таких как США, Япония, Сингапур, Израиль» [16]. Цифровизация экономики может обеспечить ее значительный рост, но основные преграды на этом пути — пробелы в законодательстве, быстро устаревающая материальная база и отсутствие компетенций для ее эффективного использования. В июле 2017 года в России была принята государственная программа «Цифровая экономика», затрагивающая фактически все отрасли экономики, включая сельское хозяйство. Однако, например, цифровизация электрических сетей, включающая установку «умных счетчиков», серьезным образом может отразиться на пользователях этих сетей: дело не только в отсутствии доказательств эффективности подобных технологий, но и в том, что одним из источников финансирования будет увеличение платы за электроэнергию.

Аналогичные процессы наблюдаются в системе здравоохранения и образования, где распространяются электронные дневники и онлайн-запись к врачам [3]. Исследования показывают, что доступ к новейшим ИКТ в ближайшие годы будет способствовать получению оперативной медицинской помощи, в частности, важны мобильные медицинские устройства, причем стоимость необходимых инвестиций в обновление устройств и нематериальной их составляющей будет минимальной [13].

Серьезные изменения наблюдаются и в сфере услуг, в том числе в туристическом секторе и банковском обслуживании. Повсеместно начинают применяться электронные цифровые подписи. Начиная с 2009 года в России реализуется программа «Электронное правительство», широкое распространение получил портал «Госуслуги», где в 2017 году было зарегистрировано около 65 млн граждан [5].

Очевидная тенденция к дигитализации жизни российского общества не только требует наличия определенных навыков и материальной базы, но предлагает новые возможности для самореализации, повышения своего социального статуса и т.п. Сегодня при высоких темпах цифровизации совершенно недостаточным остается уровень распространения знания о новых ИКТ и способах их использования. Доступ и эффективное использование ИКТ являются одним из решающих факторов в конкурентной борьбе на рынке труда, при получении более выгодных предложений от работодателей. Качественный поиск информации позволяет более полноценно участвовать в общественной жизни, которая все больше перемещается в киберпространство, где возможно выражение политической позиции, а также самопрезентации через личные блоги и профили в социальных сетях.

К сожалению, жизненные шансы и возможности, связанные с успешным освоением ИКТ, сложно измерить — необходимы специальные показатели, и сегодня это может быть способность индивида существенно улучшить свое социальное положение посредством доступа к новейшим ИКТ, т.е. насколько доступ к ИКТ определяет социальный статус индивида, в том числе доступ к уникальной информации (например, образовательные онлайн-программы, оперативная помощь в разных сферах, недоступная вне Сети, новые виды трудовой деятельности в Сети, способность влиять на принятие политических решений и др.). В настоящее время очевидно, что уровень цифровизации российского общества наделяет пользователей Сети несущественными жизненными шансами, например, система электронного правительства по-прежнему предполагает использование бумажных форм.

Риски цифровизации

ИКТ, безусловно, открывают множество новых возможностей, связанных с мгновенным и практически неограниченным доступом к информации и расширением способов коммуникаций. Однако именно эти характеристики современных технологий часто становятся источником многочисленных рисков и угроз, т.е. следует учитывать и неизбежные отрицательные социальные эффекты ускоренной цифровизации. Вера технооптимистов в способность новых технологий искоренить социальное неравенство оказалась несостоятельной — напротив, возникают все новые формы и проявления цифрового разрыва на разных его уровнях. Так, по прогнозам, в ближайшие несколько лет более чем на 10% возрастет объем работ, выполняемых роботами, что может стать причиной серьезного роста безработицы. Кроме того, возникают сложности в адаптации к новым рабочим местам (особенно у людей старшего поколения), требующим специфических навыков владения ИКТ. Распространение роботов и искусственного интеллекта ставит новые этические вопросы и создает новые риски, например, классическая «проблема вагонетки» обретает новое звучание с появлением беспилотных автомобилей уже на стадии их тестирования.

Современный человек все чаще сталкивается с обезличенностью социальных сетей, и на фоне всеобщей связанности посредством ИКТ все чаще в исследовательский фокус психологов и социологов попадает проблема одиночества и новые формы отчуждения. Одним из широко обсуждаемых рисков информационной революции стали гарантии безопасности, границы контроля и свободы. «Цифровые следы», оставляемые пользователями Интернета, создают множество рисков утечки персональных данных, их незаконного использования и распространения. Информационные технологии обеспечивают доступ к частной жизни посредством социальных сетей и мессенджеров. Фактически границы между публичным и приватным становятся проницаемыми и подвижными. Цифровизация наиболее значимых для общества сфер (образование, здравоохранение, взаимодействие с государственными органами и др.) остро ставит вопрос и о киберугрозах. В то же время попытки государства обеспечить безопасность через дублирование информации на бумажных носителях (как в случае с электронным паспортом) вызывают дискуссии об экономической целесообразности подобных действий.

Значительное увеличение объема распространяемой информации приводит к «информационной перегрузке», что проявляется в когнитивных искажениях, нарушениях памяти и внимания. Многообразии источников информации и их доступность по-новому ставит вопрос о манипуляции массовым сознанием со стороны многочисленных социальных акторов. Возможность мгновенно получить доступ к любым данным не способствует запоминанию даже важной информации, формирует зависимость от многочисленных электронных устройств, которые нас окружают. Эта зависимость, в свою очередь, способствует утрате многих навыков — ориентирования на местности, запоминания адресов и контактов близких людей и т.п.

И это далеко не полный перечень негативных следствий экспансии инновационных технологий, повсеместной цифровизации и сетевизации. Однако в век связанности и глобализации оставаться в стороне от технологического прогресса невозможно — это приведет к утрате конкурентоспособности и маргинализации как на уровне отдельного индивида, так и на уровне государства. Поэтому перед представителями общественности, науки, бизнеса и власти стоит важнейшая задача поиска баланса между технологическим развитием и его социальными эффектами.

Интерес к проблеме цифрового неравенства наблюдается на протяжении уже трех десятилетий. Подходы к изучению цифрового разрыва и попытки разработать конкретные механизмы его сокращения широко обсуждаются на уровне государства и бизнес-структур, привлекают внимание научного сообщества. Тем не менее, пока данных для всесторонней оценки цифрового разрыва недостаточно. В рамках анализа цифрового неравенства на трех уровнях целесообразно начать поиск некоей агрегированной модели, отражающей различные аспекты этой новой

формы социального неравенства, которая бы учитывала наличие физического доступа к Интернету и специальных навыков, необходимых для использования ИКТ, и позволяла бы оценивать жизненные шансы, гарантируемые доступом и полноценным использованием интернет-ресурсов.

Специфика становления информационного общества в России определяется, с одной стороны, активным участием государства, с другой — социальными и структурными проблемами, связанными с устареванием материальной базы, ограничениями во внедрении современных технологий вследствие разнообразия российских регионов и отсутствием соответствующей образовательной системы. Стратегической задачей государства в этой связи становится разработка мер по сокращению и предупреждению роста цифрового разрыва. В настоящее время цифровой разрыв первого уровня в нашей стране практически преодолен, но потенциал сокращения второго и третьего уровней цифрового разрыва явно еще не исчерпан.

Библиографический список / References

- [1] Волченко О.В. Динамика цифрового неравенства в России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2016. № 5 / Volchenko O.V. Dinamika tsifrovogo neravenstva v Rossii [Dynamics of digital inequality in Russia]. *Monitoring Obshchestvennogo Meniya: Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny*. 2016; 5 (In Russ.).
- [2] Глоссарий по информационному обществу. М., 2009 / *Glossariy po informatsionnomu obshchestvu* [Glossary of Information Society]. Moscow; 2009 (In Russ.).
- [3] Лядова А.В., Лядова М.В. Особенности формирования взаимоотношений в системе врач—пациент в современных условиях // Социология медицины. 2016. Т. 15. № 2 / Lyadova A.V., Lyadova M.V. Osobennosti formirovaniya vzaimootnosheny v sisteme vrach—patsiyent v sovremennykh usloviyakh [Features of ‘physician—patient’ relationship in contemporary society]. *Sotsiologiya Meditsiny*. 2016; 15 (2) (In Russ.).
- [4] Осипова Н.Г. Неравенство в эпоху глобализации: сущность, институты, региональная специфика и динамика // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2014. № 2 / Osipova N.G. Neravenstvo v epokhu globalizatsii: sushchnost, instituty, regionalnaya spetsifika i dinamika [Inequality in the era of globalization: Essence, institutions, regional diversity and dynamics]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 18: Sotsiologiya i Politologiya*. 2014; 2 (In Russ.).
- [5] Подведены итоги работы Единого портала госуслуг в 2017 году / Podvedeny itogi raboty Edinogo portala gosuslug v 2017 godu [The results of the work of the Unified portal of public services in 2017]. <http://minsvyaz.ru/ru/events/37879> (In Russ.).
- [6] Пользователи социальных сетей в России: исследование / Polzovateli sotsialnykh setey v Rossii: Issledovanie [Social media users in Russia: A study]. https://rusability.ru/downloads/rwp_vk_2015.pdf (In Russ.).
- [7] Полякова Н.Л. Теория социального неравенства в социологии XX века. Трансформация классики // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2014. № 4 / Polyakova N.L. Teoriya sotsialnogo neravenstva v sotsiologii 20 veka. Transformatsiya klassiki [Theory of social inequality in sociology of the 20th century. Transformation of the classic]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 18: Sotsiologiya i Politologiya*. 2014; 4 (In Russ.).

- [8] Проникновение Интернета в России: итоги 2017 года / Proniknoveniye Interneta v Rossii: itogi 2017 goda [Internet penetration in Russia: Results of 2017]. <http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta-v-rossii> (In Russ.).
- [9] Развитие Интернета в регионах России / Razvitiye Interneta v regionakh Rossii [Internet development in the regions of Russia]. https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016#itogovyetablicy (In Russ.).
- [10] Россия в рейтинге развития ИКТ: 2016 / Rossiya v reitinge razvitiya IKT: 2016 [Russia in the ICT Development Rating: 2016]. https://issek.hse.ru/data/2016/11/30/1112652859/NTI_N_30_30112016.pdf (In Russ.).
- [11] Россия заняла 38-е место по уровню владения английским языком / Rossiya zanyala 38-e mesto po urovnyu vladeniya angliyskim yazykom [Russia ranked 38th in English proficiency]. <https://rg.ru/2017/11/08/rossiia-zaniata-38-e-mesto-po-urovniu-vladeniia-anglijskim-iazykom.html> (In Russ.).
- [12] Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014—2020 годы и на перспективу до 2025 года / Strategiya razvitiya otrasli informatsionnykh tekhnologiy v Rossiyskoy Federatsii na 2014—2020 gody i na perspektivu do 2025 goda [Strategy for the development of the information technology industry in the Russian Federation for 2014—2020 and for the future until 2025]. http://minsvyaz.ru/uploaded/files/Strategiya_razvitiya_otrasli_IT_2014-2020_2025_%5B1%5D.pdf (In Russ.).
- [13] Тополь Э. Будущее медицины: Ваше здоровье в ваших руках. М., 2016 / Topol E. *Budushchee meditsiny: Vashe zdorovye v vashikh rukakh* [Future of Medicine: Your Health is in Your Hands]. Moscow; 2016 (In Russ.).
- [14] Тренды поведения россиян в интернете в 2017 году / Trendy povedeniya rossiyan v internete v 2017 godu [Trends of the Russians' behavior in the Internet in 2017]. http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2017/GfK_Rus_Press_Release_Spending_Time_On_The_Internet_in_Russia.pdf (In Russ.).
- [15] Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы» / Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 09.05.2017 g. No. 203 “O strategii razvitiya informatsionnogo obshchestva v Rossiyskoy Federatsii na 2017—2030 gody” [Decree of the President of the Russian Federation on 09.05.2017 No. 203 “On the Strategy for the Development of Information Society in the Russian Federation for 2017—2030”]. <http://kremlin.ru/acts/bank/41919> (In Russ.).
- [16] Цифровая экономика майнит / Tsifrovaya ekonomika maynit [Digital Economy Mines]. <http://expert.ru/siberia/2017/41/tsifrovaya-ekonomika-majnit> (In Russ.).
- [17] Чакраворти Б., Бхалла А., Чатурведи Р.Ш. Самые цифровые страны мира / Chakravorti B., Bkhalla A., Chaturvedi R.Sh. Samye tsifrovye strany mira [The most digital countries in the world]. <http://hbr-russia.ru/innovatsii/trendy/p23271> (In Russ.).
- [18] Barney D.D. *The Network Society*. Cambridge: Polity; 2004.
- [19] Brandtzaeg P.B., Heim J., Karahasanovicá A. Understanding the new digital divide — A typology of Internet users in Europe. *Journal of Human Computer Studies*. 2010; 69.
- [20] Castells M. *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture*: Vol. I. New Jersey—Oxford: Wiley-Blackwell; 1996.
- [21] Deursen A. Van, Dijk J. Van. Internet skills and the digital divide. *New Media & Society*. 2010; 13 (6).
- [22] Deursen A.J.A.M. Van, Helsper E., Eynon R., Dijk J. van. The compoundness and sequentiality of digital inequality. *International Journal of Communication*. 2017; 11.
- [23] Dijk J. Van. *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society*. California: Sage; 2005.

- [24] Dimaggio P., Hargittai E. From the “Digital Divide” to “Digital Inequality”: Studying Internet Use as Penetration Increases. Working Paper No. 15. Princeton; 2001.
- [25] Dimaggio P., Hargittai E., Celeste C., Shafer S. *From Unequal Access to Differentiated Use: A Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality*. Ed. by K. Neckerman. New York: Russel Sage Foundation; 2004.
- [26] Europe Internet Usage Stats Facebook Subscribers and Population Statistics. <http://www.internetworldstats.com/stats4.htm>.
- [27] Hargittai E. Second-level digital divide: Differences in people’s online skills. *First Monday*. 2002; 7 (4).
- [28] Hassan R. *Media, Politics and the Network Society*. Glasgow: Open University Press; 2004.
- [29] Helsper E.J. A corresponding fields model for the links between social and digital exclusion. *Communication Theory*. 2012; 22 (4).
- [30] Hilbert M. The end justifies the definition: The manifold outlooks on the digital divide and their practical usefulness for policy-making. *Telecommunications Policy*. 2011; 35 (8).
- [31] Jung J.Y., Qiu J.L., Kim Y.C. Internet connectedness and inequality: Beyond the “divide”. *Communication Research*. 2001; 28 (4).
- [32] Measuring the Information Society: Report 2017. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx>.
- [33] Norris P. *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press; 2001.
- [34] OECD. Understanding the Digital Divide. <http://www.oecd.org/sti/1888451.pdf>.
- [35] Osipova N., Polyakova N., Dobrinskaya D., Vershinina I., Martynenko T. Social inequality: recent trends. *PONTE International Scientific Researches Journal*. 2017; 73 (5).
- [36] Ragnedda M. *The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities*. London: Routledge; 2017.
- [37] Robinson L., Cotton Sh.R., Ono H., Quan-Haase A., Mesch G., Chen W., Schulz J., Hale T.M., Stern M.J. Digital inequalities and why they matter. *Information Communication and Society*. 2015; 18 (5).
- [38] Rogers E.M. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press; 1995.
- [39] Scheerder A., Deursen A. van, Dijk J. van. Determinants of Internet skills, use and outcomes. A systematic review of the second- and third-level digital divide. *Telematics and Informatics*. 2017; December.
- [40] Selwyn N. Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. *New Media & Society*. 2004; 6 (3).
- [41] Selwyn N., Gorard S., Furlong J. Whose internet is it anyway? Exploring adults’ (non)use of the iInternet in everyday life. *European Journal of Communication*. 2005; 20 (1).
- [42] Stern M.J., Adams A.E., Elsasser S. Digital inequality and place: The effects of technological diffusion on Internet proficiency and usage across rural, suburban, and urban counties. *Sociological Inquiry*. 2009; 79 (4).
- [43] Steyaert J. Inequality and the digital divide: Myths and realities. *Advocacy, Activism and the Internet*. Ed. by S. Hick, J. McNutt. Chicago: Lyceum Press; 2002.
- [44] Urry J. *Global Complexity*. London: Polity Press; 2003.
- [45] Wellman B., Chen W. Minding the cyber-gap: the Internet and social inequality. *The Blackwell Companion to Social Inequalities*. Ed. by M. Romero, E. Margolis. New Jersey: Blackwell Publishing; 2005.
- [46] World Internet Users Statistics and 2018 World Population. <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-108-120

Perspectives of the Russian information society: Digital divide levels*

D.E. Dobrinskaya, T.S. Martynenko

Lomonosov Moscow State University
Leninskiye Gory, 1, Moscow, Russia, 119991

(e-mail: darya.dobrinskaya@gmail.com; ts.martynenko@gmail.com)

Abstract. The article considers features and trends of the information society development in Russia through the analysis of various aspects of its digitalization including the strategic task of reducing the digital divide. Since the second half of the 20th century the digital divide develops as a new form of social inequality determined by information-communication technologies. Today there is no single approach to the conceptualization of the digital divide (digital inequality). Usually, as a methodological basis for the analysis of digital inequality, researchers use a three-level model of the digital divide: (1) the difference in access to new information technologies (availability or lack of material resources) such as special devices (smartphones, computers, etc.) and also availability of Internet access and its quality (speed, price, etc.); (2) the difference in skills necessary for the effective use of information technologies (ability to get access to content, to produce it, to be an active participant of interaction) (3) life chances and opportunities determined by information technologies, which are most difficult to measure due to digitization of certain spheres of society. Digitalization is a priority for the strategic development of the Russian society which includes the use of digital technologies in main spheres of social life (education, healthcare, etc.) and changes in the ways of interaction between society and the state (“e-government”). Based on the data of statistics and research for 2015—2017, the authors consider perspectives to overcome the digital divide under the development of information society in Russia and identify main risks and negative consequences of attempts to accelerate its digitalization.

Key words: social inequality; digital divide; digital inequality; information society; information-communication technologies; digitalization; Internet

* © D.E. Dobrinskaya, T.S. Martynenko, 2019.

The research was supported by the Russian Foundation for Humanities. Project No. 18-011-01106.

The article was submitted on 18.06.2018.



DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-121-133

Социальные боты в политической коммуникации*

В.В. Василькова, Н.И. Легостаева

Санкт-Петербургский государственный университет
Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия
(e-mail: v.vasilkova@spbu.ru, n.legostaeva@spbu.ru)

Социальные боты — новое явление в политической коммуникации, предполагающее использование автоматизированных алгоритмов, имитирующих поведение реальных политических агентов, представленных в онлайн социальных сетях. В статье представлен обзор основных подходов к изучению социальных ботов в зарубежной и отечественной литературе. Авторы выделяют три основные тематические области: 1) типология социальных ботов, 2) использование ботов в электоральных практиках, 3) методики выявления ботов. В статье рассматриваются разные типы социальных ботов, делается вывод, что типологии социальных ботов в политической коммуникации основаны преимущественно на параметрах их использования (цели, функции, способы), что связано с задачами стоящих за ними политических агентов. Авторы выделяют шесть основных направлений функционирования ботов в политической коммуникации: ведение «мягких информационных войн»; пропаганда проправительственной точки зрения; астротурфинг (технология создания искусственного общественного мнения); влияние на общественное мнение путем конструирования агентов влияния или ложных лидеров общественного мнения; делегитимация властных структур, поддержка оппозиционных сил и структур гражданского общества; формирование повестки дня, ведение политических дискуссий. Обобщая анализ использования ботов в электоральных практиках (на примере США, Великобритании, Венесуэлы, Японии и др.), авторы обозначают три основные реализуемые с их помощью коммуникативные стратегии: привлечение сторонников, конструирование позитивного имиджа кандидата, дискредитация конкурента. Проведенный сравнительный анализ методов обнаружения ботов показал, что исследователи используют схожие методы определения автоматизированных алгоритмов (на основе статичных и поведенческих признаков), но в разных комбинациях. По мере развития и усложнения природы бот-аккаунтов будут меняться и комбинированные методики идентификации ботов, объединяющие как методы программирования, так и методы социальных наук.

Ключевые слова: социальные боты; политическая коммуникация; манипуляция; общественное мнение; электоральные практики; методики выявления ботов

Трансформация политической коммуникации в эпоху цифровых технологий обусловлена не только формированием нового сетевого коммуникативного пространства, когда социальные сети становятся основной площадкой для выражения политических интересов, но также появлением и растущим влиянием гибридных

* © Василькова В.В., Легостаева Н.И., 2019.

Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Проект № 18-011-00988.

Статья поступила в редакцию 10.09.2018 г.

человеко-программных форм — автоматизированных алгоритмов, опосредующих коммуникацию между людьми. На пересечении этих двух технологических трендов возник феномен ботов — автоматизированных программ, позволяющих распространять информацию с большой скоростью и эффективностью и привлекать внимание большого количества людей. С одной стороны, этот феномен вызывает огромный интерес исследователей и практиков в силу огромных перспектив его использования и общественного резонанса в связи с его манипулятивным воздействием на политические события (например, Brexit или выборы президента США в 2016 году). С другой стороны, область исследования социальных ботов и их применения представляет собой слабо структурированный и гетерогенный ландшафт, поскольку здесь аккумулируются разноуровневые и полидисциплинарные подходы к данному феномену (социологии, политологии, лингвистики, журналистики, сбора, обработки и анализа больших данных, машинного обучения и т.д.). Такой теоретико-методологический разрыв определил постановку цели статьи — проанализировать основные направления изучения социальных ботов в политической коммуникации, выделив те исследовательские области, в которых наработано более всего теоретического и эмпирического материала и сконцентрированы дискуссионные и разнонаправленные подходы. В статье обозначено три такие области: типология социальных ботов и их использования в политике; применение ботов в электоральных практиках; разработка методик выявления ботов.

Типы социальных ботов и их использование в политике

Разнообразие форм и широкое распространение систем автоматизированного распространения информации в самых разных сферах и социальных практиках (маркетинг, политика, журналистика, образование, социальные услуги, гейминг и др.) обусловлено их технологической эволюцией. Изначально боты (от англ. «bot» — сокращенно от «robot») представляли собой программное обеспечение в форме суррогатов, которые предназначались для экономии времени и усилий человека, поскольку позволяли анализировать и упорядочивать информацию на высоких скоростях, избавляя человека от рутинных задач.

Первые боты были созданы для выполнения простых задач на закрытых платформах, но очень скоро они стали применяться для регулирования социальных взаимодействий в отдельных системах (например, RelayChat). Такие боты могли общаться с пользователем, отвечать на простые вопросы, собирать необходимые данные, эффективно распространять рекламу, оптимизировать взаимодействие фирм с клиентами.

Новые возможности для использования ботов и бот-сетей («bot-net») — коллекция алгоритмов, которые обмениваются данными по нескольким устройствам для выполнения задач; социальная бот-нет — набор социальных ботов, которые принадлежат и управляются человеком-оператором, именуемым ботоводом (botherder) [6]), появились в связи с технологическим совершенствованием онлайн

социальных сетей. Переход на Web 2.0 изменил форму потребления контента и коммуникативную структуру киберпространства. Раньше контент в Интернете создавался коммуникатором (владельцами сайтов, редакторами или журналистами), а посетители сайтов были его пассивными потребителями. Теперь пользователи стали активными субъектами киберпространства, способными не только создавать контент, но и выстраивать интенсивное взаимодействие друг с другом и контентом «путем установления связей оценок, комментариев, распространения информации и т.д.» [8. С. 37]. Формируется коммуникативная модель, которая может быть обозначена как «многие — многим».

Новые технологические возможности онлайн социальных сетей и бот-программы породили феномен социальных ботов — это автоматизированное программное обеспечение, связанное с платформой, через которую боты взаимодействуют с реальными пользователями [25. Р. 85]. Иными словами, бот совершает действия, которые должен осуществлять человек в социальной сети (отвечать, отправлять сообщения, комментировать чужие сообщения и т.д.). При этом бот не является аккаунтом — это программа управления аккаунтом (хотя в сложившейся традиции ботом обычно называют именно аккаунты, управляемые этими программами) [4. С. 253]. Такие программы создали миллионы аккаунтов пользователей, маскирующихся под реальных людей в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте и др.

Поскольку реальные и суррогатные пользователи по коммуникативному поведению трудноразличимы, некоторые исследователи утверждают, что автоматизированные алгоритмы обретают институциональный характер, так как выполняют роль агента, влияющего на социальные условия [29], что особенно важно для политической коммуникации. «Агентный» характер социальных ботов и обусловил их активное использование в политической коммуникации. Появился даже специальный термин — «политический бот», под которым понимают аккаунт пользователя, который оснащен функциями или программным обеспечением для автоматизированного взаимодействия с другими учетными записями пользователей на темы, связанные с политикой [25. Р. 85]. Иными словами, это боты, которые не только интерактивны, но и политически ориентированы.

В политической коммуникации используются боты разных типов. Наиболее распространенным является разделение социальных ботов на полезных (доброкачественных) и злонамеренных (вредоносных) [16]. Доброкачественные боты генерируют контент, автоматически реагируют на сообщения, выполняют полезные услуги (новостные боты, информация о погоде, спортивные и трафик-боты и др.). Вредоносные боты разрабатываются для осуществления злонамеренных действий (спам, кража личных данных, распространение дезинформации и информационного шума во время политических дебатов, распространение вредоносного программного обеспечения и др.).

Объединяя данную классификацию с классификацией ботов по степени имитации ими человеческого поведения [14], С. Штиглиц, Ф. Брахтен, Б. Росс

и А.-К. Юнг создали «перекрестную» типологию социальных ботов: вредоносные, нейтральные и доброкачественные типы с высокой и низкой степенью имитации человеческого поведения [34]. При этом авторы, обобщая существующий массив работ по социальным ботам, констатируют, что большинство из них относят политических ботов к злонамеренному типу с высоким уровнем имитации человеческого поведения. Более того, интерес академического сообщества фокусируется на анализе этого типа ботов, что связано с агрессивным характером, высокой степенью распространения и слабой контролируемостью этих ботов общественностью.

Несколько иную трактовку политических ботов предложили Р. Горва и Д. Гильбо: социальные боты как мощный политический инструмент имеют амбивалентный характер (позитивный и негативный) в зависимости от целей. С одной стороны, они могут использоваться для манипулятивных операций при формировании общественного мнения (в том числе с иностранным влиянием) и уничтожения диссидентов. С другой стороны, боты могут быть направлены на укрепление демократии, расширение прав и возможностей сообществ и гражданских инициатив в социальных сетях [19. Р. 14—15].

Таким образом, классификация социальных ботов в контексте политической коммуникации основана преимущественно на параметрах их использования (цели, функции, способы), что связано с задачами стоящих за ними политических агентов. Обобщая российские и зарубежные исследования по данной тематике, можно выделить несколько основных направлений функционирования ботов в политической коммуникации. Они являются коммуникационным инструментом для: ведения «мягких информационных войн» в рамках информационного противостояния [2; 19: 26]; пропаганды проправительственной точки зрения [6; 19; 33; 38; 39]; астротурфинга (продуцирования и поддержания искусственного общественного мнения путем «наводнения» информационного пространства сообщениями определенного содержания) [3; 21; 24; 31]; изменения общественного мнения путем конструирования агентов влияния или ложных лидеров общественного мнения [7; 11; 12]; делигитимации властных структур, поддержки оппозиционных сил и структур гражданского общества [19; 22; 30; 32; 33; 37]; формирования повестки дня, ведения политических дискуссий [18; 27; 34; 35; 39].

Политические боты в электоральных практиках

При описании практик использования политических ботов и бот-сетей особое внимание обычно уделяется анализу их применения в электоральном взаимодействии. На это существуют, по меньшей мере, три причины: 1) широкое участие в политических выборах разных социальных групп; 2) превращение онлайн социальных сетей в основную площадку агитации и электорального противостояния; 3) общественный резонанс в случае обнаружения политических ботов как протест против манипуляции общественным мнением и отсутствия прозрачности выборов.

Практики использования бот-технологий в избирательных кампаниях различного уровня — от муниципальных до президентских — были зафиксированы и описаны на примере разных стран [36].

Первые исследования применения бот-технологий в США были посвящены промежуточным выборам в Палату представителей Конгресса США и выборам в Массачусетсе (Massachusetts Special Election — MASEN) в 2010 г. [28; 31]. Причем были выявлены и проанализированы бот-атаки на кандидатов с обеих сторон — представителей разных политических сил. В 2010 г. исследователи из университета Индианы обнаружили бот-кампании против кандидата в президенты США Криса Кунса, а также бот-атаки активистов консервативного крыла с сайта «Freedomist». На протяжении избирательного цикла 2012 г. организаторы кампании Митта Ромни были обвинены в привлечении бот-сторонников в сети Twitter для набора популярности [25. P. 87].

Наиболее интенсивное использование бот-технологий было зафиксировано в рамках президентской избирательной кампании в США в 2016 г., причем это касалось кандидатов и от демократической, и от республиканской партий [10; 23]. По подсчетам А. Бесси и Э. Феррара, в сети Twitter только за месяц наблюдения было обнаружено около 400 тысяч ботов, на которые приходится почти пятая часть всех твиттов, участвовавших в политических дискуссиях по поводу президентских выборов [10. P. 5]. Контент действующих ботов касался как конструирования положительного образа кандидатов, так и делигитимации образов политических противников. В частности, существовали боты, имитирующие представителей латиноамериканских избирателей и выступающих в поддержку Д. Трампа, что было особенно существенно на фоне антииммигрантской риторики Трампа, оттолкнувшей значительную часть латиноамериканского электората. В этот же период бот-сети в Twitter и Facebook распространяли обвинения в адрес Х. Клинтон в том, что она замешана в скандальных историях, связанных с педофилией и коррупцией, и высказывались предположения, что в этих бот-атаках замешаны российские автоматизированные кибер-команды. Цель политических ботов на этих выборах заключалась в манипулировании политическими дискуссиями, демобилизации оппозиции и создании несуществующей армии политических сторонников [23. P. 1].

Бот-кампании применялись в ходе проведения референдума в Великобритании, их целью была активная пропаганда выхода страны из Евросоюза [24]. Результаты исследования показали доминирование семьи хэштегов «За выход Великобритании из Европейского Союза», а также то, что сторонники Brexit использовали более высокий уровень автоматизации при публикации и распространении контента.

В Венесуэле политические боты были инструментом крайне правых оппозиционных сил [17]. Также существуют исследования использования автоматизированных аккаунтов ведущими политиками Бразилии в период президентских выборов 2014 г., импичмента в 2016 г. и в период проведения муниципальных

выборов в Рио-де-Жанейро в том же году. Так, во время политических дебатов в 2014 г. между Д. Русеф и А. Невесом боты использовались обоими кандидатами, что обострило противостояние в социальных сетях. После победы на президентских выборах Русеф все серверы и боты, используемые в ее кампании, были отключены, в то время как сторонники Невеса использовали потенциал ботов для компьютерной пропаганды оппозиционных сил, что стало ключевым фактором импичмента президента в 2016 г. [9. Р. 14].

В Японии на выборах 2014 г. было замечено вмешательство политических ботов, распространяющих информацию в сети Twitter в поддержку премьер-министра С. Абэ [32]. Другие случаи, объединяющие первых политических лиц с бот-технологиями, связаны с агентами Национального агентства разведки Северной Кореи, которые распространили в сети Twitter более 1,2 млн сообщений, чтобы раскачать общественное мнение в пользу кандидата на пост президента Пак Кын Хе, одержавшего победу в 2012 г. [39]. Все это дает основание исследователям политической коммуникации говорить о том, что для многих современных политиков в настоящее время бот-сети становятся частью коммуникационного инструментария для проведения избирательных кампаний [25. Р. 86].

Обобщая анализ практик проведения бот-кампаний в выборах разного уровня в разных странах, можно выделить три основные реализуемые с их помощью коммуникативные стратегии: 1) привлечение потенциальных сторонников кандидата; 2) конструирование позитивного политического имиджа политика; 3) дискредитация политического конкурента. Тактики этих базовых стратегий разнятся в зависимости от конкретной электоральной ситуации. При этом остается открытым вопрос, какой процент общественного мнения формируется под влиянием политического дискурса в социальных медиа, а какой — под влиянием информационного каскада, создаваемого ботами.

Методики выявления ботов

Расширение практик использования политических ботов актуализирует проблему их выявления и анализа степени их эффективности как инструмента политической коммуникации. Не случайно значительная часть работ по политическим ботам посвящена описанию методик их выявления и способов борьбы с ними. С одной стороны, современные информационные технологии предоставляют все более широкие возможности для создания и функционирования бот-сетей (например, в сети Twitter существуют два вида поставщиков услуг, которые позволяют пользователям создавать небольшие бот-сети и управлять ими — TweetDeck и TwitterWebClient позволяют одному пользователю управлять несколькими аккаунтами, хотя количество учетных записей, как правило, ограничено; Botize, MasterFollow и UberSocial позволяют пользователям загружать большой контент и управлять графиком доставки, не давая им прямой контроль над ранее существовавшими ботами, которые будут распространять контент). Складывается ситуация, когда пользователь даже со средним уровнем информационной грамот-

ности и базовыми знаниями в программировании может разработать и запустить бот, не говоря уже о специальных информационных подразделениях (например, «фабриках ботов») [6]. Таким образом, быстро растет число реальных и потенциальных разработчиков политических ботов, и, соответственно — их заказчиков.

Однако преимущественно злонамеренный характер политических ботов [34] (манипулирование, общественным мнением, астротурфинг, дискредитация политических деятелей и др.) является угрозой для «прозрачной» гражданской коммуникации, что заставляет исследователей и программистов разрабатывать все более эффективные методики выявления и идентификации ботов, в том числе и с учетом специфики социальных сетей. Наличие разных типов ботов порождает широкий спектр вариантов их идентификации, предполагающих комбинированные исследования с использованием как методов программирования, так и методов социальных наук, поскольку эффект от использования ботов сложно спрогнозировать даже самим разработчикам автоматизированных алгоритмов [39. P. 4883].

Сравнительный анализ методов обнаружения ботов показал, что исследователи используют схожие методы выявления автоматизированных алгоритмов, но в различных комбинациях. К известным методам выявления ботов относятся метод частотного анализа сообщений [12; 24], изучение статичных признаков ботов (наличие/отсутствие уникальных фотографий профиля, количество друзей и подписчиков, наличие/отсутствие биографических сведений, дата создания аккаунта и т.д.) [15; 20; 25], методы машинного обучения [10; 32], автоматизированного обнаружения ботов («Botometer») [12; 20], анализ распространяемого контента [20]. Например, Дж. Болсовер и Ф. Ховард в поисках ботов в социальных сетях Twitter и Sina Weibo в Китае использовали комбинированный подход, сочетающий частотный анализ сообщений и разработанный учеными университета Индианы инструмент «Botometer» [12]. С помощью инструмента BotOrNot им удалось выявить 54,7% автоматизированных аккаунтов в наборе данных 100 пользователей. Контент, генерируемый автоматизированными аккаунтами, составил 30% массива информации, с которым работали авторы.

Другая точка зрения на использование автоматизированного инструмента обнаружения бот-программ состоит в признании его несовершенства, поскольку параметры «сеть дружбы» и «поведение аккаунта с учетом временных периодов» недостаточны для различения бота и реального пользователя — только контент и некоторые характеристики профиля выступают в качестве индикаторов бот-профиля [20. P. 21].

Ф. Ховард и Б. Коллани выявили бот-аккаунты в социальной сети Twitter в период проведения референдума по вопросу выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Они собрали 1,5 млн твитов от 313 832 пользователей. Массив данных был собран на основе списков хэштегов, включающих в себя хэштеги «за выход Великобритании из Европейского Союза», «за продолжение членства Великобритании в ЕС» и нейтральные хэштеги с ссылками на проведение референдума [24. P. 3]. Был использован частотный анализ распространения

твитов, который показал, что менее 1% подозрительных аккаунтов, которые попали в выборку, сгенерировали около 30% контента по вопросу референдума.

Выявление ботов с помощью статичных признаков (фотографии профиля, биографическая информация пользователя) использовали Ф. Ховард, С. Вулли и Р. Кало [25]. В исследовании, посвященном выявлению ботов в сети Twitter во время президентских выборов 2016 г. в США, А. Бесси и Е. Феррара применили ряд методов, связанных с машинным обучением, которые позволили измерить временную динамику разговоров в социальных медиа с включением экзогенных параметров (информационное освещение политических дебатов, пресс-релизы) и эндогенных (например, кто кого поддерживает и как), а также с фиксацией географического параметра [10]. Корпусно-лингвистический подход с использованием алгоритмов для автоматической идентификации дубликатов применялись для изучения ботов в сети Twitter на выборах 2014 г. в Японии [32].

А.С. Алымов, В.В. Баранюк и О.С. Смирнова применяют поведенческие и статичные признаки определения бот-аккаунтов. По их мнению, чтобы определить, является ли пользователь ботом, необходимо использовать перечень показателей и оценку их веса в суммарной оценке критериев определения бот-профилей [1]. Они разделяют ботов на два типа: автоматические — выполняют простые инструкции, и управляемые — отличаются от автоматических тем, что их действия контролируются оператором, который в полуавтоматическом режиме участвует в обсуждениях. Такой подход включает два метода определения бот-профилей: анализ информации, получаемой во время присутствия пользователя на страницах социальной сети (онлайн-анализ), и анализ информации, размещенной пользователем на персональной странице (офлайн-анализ) [1. С. 57]. Первый связан с поведенческими признаками бот-профилей, к которым относятся высокая скорость комментирования, комментарии с разных аккаунтов с одного IP за короткий промежуток времени, примитивное содержание комментариев или комментарии «не в тему», а также наличие дублей (или клонов) в сообщениях.

Офлайн-анализ связан со статичными признаками, идентифицирующими пользователя как бот-профиль: отсутствие верификации аккаунта, аномальное количество друзей и подписчиков (слишком много или слишком мало при активном комментировании), незаполненные поля профиля, отсутствие уникального аватара, отсутствие уникальных публикаций автора (наличие только репостов), резкие скачки активности пользователя по наполнению профиля контентом, использование некорректного имени, отсутствие комментариев других пользователей на стене профиля, обилие рекламных постов, наличие вредоносных ссылок и др.

В.О. Чесноков, изучая автоматизированных виртуальных пользователей, использует анализ графов ближайшего окружения. Он отмечает необходимость комбинированного подхода при изучении бот-профилей, сочетающего поведенческий анализ бот-профилей, статистический и семантический анализ текстов, а также анализ связей пользователя с использованием алгоритма выделения

сообществ [8]. А.С. Катасев, Д.В. Катасева и А.П. Кирпичников при изучении бот-сетей используют методы машинного обучения — нейронные сети, дерево решений и логистическую регрессию [4], а также поведенческие признаки определения бот-сетей.

Предметом анализа И.В. Котенко, А.М. Коновалова и А.В. Шорова были не отдельные бот-профили, а бот-сеть, состоящая из большого количества хостов с запущенным автономным программным обеспечением [5. С. 24]. В их исследовании используются алгоритмы моделирования бот-сетей, основанные на генерации модельного трафика со статистическими параметрами, подобным параметрам трафика реальной сети. В своей работе они проводят эксперименты по созданию архитектуры среды моделирования, предназначенной для анализа бот-сетей.

Д.С. Мартьянов, исследуя политических ботов, использует статичные признаки бота (минимально заполненный профиль, отсутствие фотографий, подписки на несвязанные между собой паблики и т.д.) и отмечает, что в последнее время увеличилось число случаев использования программных ботов в политике для смены тем политических дискуссий, однако их неспособность вести диалоговое общение и повторяемость контента привели к тому, что в мире бот-технологий стал активно использоваться человеческий ресурс для более качественного выполнения функций роботов [6. С. 74].

Фабрики ботов становятся частью политического дискурса и превращаются в значимый фактор организации политического киберпространства. При этом решающую роль играют не крупные «фабрики ботов», а пресс-службы политических лидеров и партий, которые ведут официальные сайты, блоги и участвуют в информационной войне в роли ботов.

Таким образом, развитие информационной инфраструктуры влечет за собой развитие автоматизированных алгоритмов — усложняется природа бот-аккаунтов, для определения которых скоро будет недостаточно статичного или поведенческого анализа, поэтому будущее исследований автоматизированных учетных записей связано с междисциплинарным подходом и комбинированными методами выявления ботов — с «гибридными системами обнаружения, которые могут оценивать содержание, фоновые стратегии и распространяемый контент с содержанием человеческого интеллекта» [20].

Проблема эффективности методик выявления социальных ботов имеет и глобальное измерение — выработку общей информационной политики по контролю за дезинформацией и ложным/подозрительным контентом в социальных сетях. Здесь выделяют два аспекта: первый связан с массовым и неконтролируемо увеличивающимся масштабом порождения социальных ботов (например, руководство сети Twitter после слушаний, организованных комитетом по разведке сената США в ноябре 2017 г. пыталось ограничить деятельность бот-сетей: за 4 месяца было заблокировано более 117 тысяч «злонамеренных приложений» и за день заблокировано более 450 тысяч подозрительных аккаунтов).

Второй аспект связан с тем, что возможности представителей академического сообщества в выявлении социальных ботов ограничены (они могут опираться лишь на данные, предоставляемые через публичный прикладной программный интерфейс — API) и упираются в противодействие тех институциональных и корпоративных структур, которые заинтересованы в сокрытии используемых ими бот-программ. Поэтому решение проблемы политического влияния в социальных сетях, выявления информационных механизмов мистификации и дезинформации возможно лишь на основе координации усилий заинтересованных сторон (государственных, корпоративных, общественных) [19. Р. 21].

Существует и другая точка зрения на перспективы функционирования политических ботов. По мнению С. Вулли и Ф. Ховарда [39], речь должна идти не об уничтожении политических ботов как помех в политической коммуникации: учитывая их растущую популярность и наличие политических агентов, которые обладают достаточным социальным, временным и финансовым капиталом для организации масштабных бот-кампаний, следует говорить о зарождении нового политического феномена — компьютерной пропаганды. Для понимания природы этого явления недостаточно усилий грамотных программистов, необходима новая цифровая социальная наука, которая может синтезировать наработки социально-гуманитарных наук и программирования для изучения причинно-следственных конфигураций сложных сетей, состоящих из множества акторов, артефактов и алгоритмов (кодов) [39. Р. 81—82].

Таким образом, анализ работ об использовании социальных ботов в политической коммуникации позволил определить их три основные тематики (типология ботов, использование их в электоральных практиках, методики их выявления), выделить направления функционирования ботов в политической коммуникации, охарактеризовать основные коммуникативные стратегии, реализуемые с их помощью в электоральных практиках, обосновать перспективность комбинированных методик идентификации ботов, объединяющих методы программирования и социальных наук. Для развития социологического знания данная тематика открывает новые перспективы в понимании природы политической коммуникации и трансформации политических агентов в цифровую эпоху.

Библиографический список / References

- [1] *Альмов А.С., Баранюк В.В., Смирнов О.С.* Детектирование бот-программ, имитирующих поведение людей в социальной сети «ВКонтакте» // *International Journal of Open Information Technologies*. 2016. Т. 4. № 8 / Alymov A.S., Baranyuk V.V., Smirnov O.S. *Detektirovaniye bot-programm, imitiruyushchikh povedeniye lyudey v sotsialnoy seti "VKontakte"* [Detecting bot programs that imitate people's behavior in the social network "VKontakte"]. *International Journal of Open Information Technologies*. 2016; 4 (8) (In Russ.).
- [2] *Володенков С.В.* Новые формы политического управления в киберпространстве XXI века: вызовы и угрозы // *Известия Саратовского университета*. 2011. Т. 11. Вып. 2 / Volodenkov S.V. *Novye formy politicheskogo upravleniya v kiberprostranstve XXI veka: vyzovy i ugrozy* [New forms of political governance in the cyberspace of the 21st century: Challenges and threats]. *Izvestiya Saratovskogo Universiteta*. 2011; 11 (2) (In Russ.).

- [3] Ильин А.Н. Интернет как альтернатива политической ангажированности СМИ // Политические исследования. 2012. № 4 / Il'in A.N. Internet kak alternativa politicheskoy angazhirovannosti SMI [Internet as an alternative to the political media engagement]. *Policheskie Issledovaniya*. 2012; 4 (In Russ.).
- [4] Катасев А.С., Катасева Д.В., Кирпичников А.П., Евсеева А.О. Нейросетевая модель идентификации ботов в социальных сетях // Вестник Технологического университета. 2015. Т. 18. № 16 / Katasev A.S., Kataseva D.V., Kirpichnikov A.P., Evseeva A.O. Neyrosetevaya model identifikatsii botov v sotsialnykh setyakh [Neural network model of bots identification in social networks]. *Vestnik Tekhnologicheskogo Universiteta*. 2015; 18 (16) (In Russ.).
- [5] Котенко И.В., Коновалов А.М., Шоров А.В. Агентно-ориентированное моделирование бот-сетей и механизмов защиты от них // Вопросы защиты информации. 2011. № 3 / Kotenko I.V., Konovalov A.M., Shorov A.V. Agentno-orientirovannoe modelirovanie bot-setey i mekhanizmov zashchity ot nikh [Agent-based modeling of botnets and mechanisms of protection against them]. *Voprosy Zashchity Informatsii*. 2011; 3 (In Russ.).
- [6] Мартыянов Д.С. Политические боты как профессия // Политэкс. 2016. Т. 12. № 1 / Martyanov D.S. Politicheskie boty kak professiya [Political bots as a profession]. *Politex*. 2016; 12 (1) (In Russ.).
- [7] Соловей Д.М. Особенности политической пропаганды в цифровой среде // Вестник Финансового университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 1 / Solovey D.M. Oso-bennosti politicheskoy propagandy v tsifrovoy srede [Features of political propaganda in the digital environment]. *Vestnik Finansovogo Universiteta. Seriya: Gumanitarnye Nauki*. 2018; 1 (In Russ.).
- [8] Чесноков В.О. Применение алгоритма выделения сообществ в информационном противоборстве в социальных сетях // Вопросы кибербезопасности. 2017. № 1 / Chesnokov V.O. Primenenie algoritma vydeleniya soobshchestv v informatsionnom protivoborstve v sotsialnykh setyakh [Application of the algorithm for selecting communities in the information confrontation in social networks]. *Voprosy Kiberbezopasnosti*. 2017; 1 (9) (In Russ.).
- [9] Arnaudo D. Computational propaganda in Brazil: Social bots during elections. *Project on Computational Propaganda*. 2017: 8.
- [10] Bessi A., Ferrara E. Social bots distort the 2016 US Presidential Election online discussion. *First Monday*. 2016: 21 (11).
- [11] Bolsover G. Computational propaganda in China: An alternative model of a widespread practice. *Project on Computational Propaganda*. 2017: 4.
- [12] Bolsover G., Howard P. Chinese computational propaganda: Automation, algorithms and the manipulation of information about Chinese politics on Twitter and Weibo. *Information, Communication & Society*. Doi: 10.1080/1369118X.2018.1476576.
- [13] Boshmaf Y., Muslukhov I., Beznosov K., Ripeanu M. The socialbot network: When bots socialize for fame and money. *Proceedings of the 27th Annual Computer Security Applications Conference*. New York; 2011.
- [14] Boshmaf Y., Muslukhov I., Beznosov K., Ripeanu M. Design and analysis of a social botnet. *Computer Networks*. 2013; 57 (2).
- [15] Chu Z., Gianvecchio S., Wang H., Jajodia S. Detecting automation of Twitter accounts: Are you a human, bot, or cyborg? *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*. 2012; 9 (6).
- [16] Ferrara E., Varol O., Davis C., Menczer F., Flammini A. The rise of social bots. *Communications of the ACM*. 2016; 59 (7).
- [17] Forelle M.C., Howard P.N., Monroy-Hernandez A., Savage S. Political bots and the manipulation of public opinion in Venezuela. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1507/1507.07109.pdf>.
- [18] Gonzales H.M.S., González M.S. Bots as a news service and its emotional connection with audiences. The case of Politibot. *The Influence of the Audience in Journalistic Innovation and*

- Participation Management*. http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/8765/2/Bots_as_HadaSanchez_MariaSanchez_Doxa_2017.pdf.
- [19] Gorwa R., Guilbeault D. Unpacking the social media bot: A typology to guide research and policy. <https://arxiv.org/pdf/1801.06863.pdf>.
- [20] Grimme C., Preuss M., Adam L., Trautmann H. Social bots: Human-like by means of human control? *Big Data*. 2017; 5 (4).
- [21] Howard P.N. Digitizing the social contract: Producing American political culture in the age of new media. *Communication Review*. 2003; 6 (3).
- [22] Howard P.N. *Pax Technica: How the Internet of Things May Set Us Free or Lock Us up*. New Haven-London: Yale University Press; 2015.
- [23] Howard P.N., Bolsover G., Kollanyi B., Bradshaw S., Neudert L.-M. Junk news and bots during the U.S. Election: What were Michigan voters sharing over Twitter? *Working Papers & Data Memos*. 2017; 1.
- [24] Howard P.N., Kollanyi B. Bots, #Strongerin, and #Brexit: Computational propaganda during the UK-EU referendum. *Project on Computational Propaganda*. 2016; 1.
- [25] Howard P.N., Woolley S., Calo R. Algorithms, bots, and political communication in the US 2016 election: The challenge of automated political communication for election law and administration. *Journal of Information Technology & Politics*. 2018; 15 (2).
- [26] Lyon D. Surveillance, Snowden, and big data: Capacities, consequences, critique. *Big Data & Society*. 2014; 1 (2).
- [27] Maréchal N. Automation, algorithms, and politics/when bots tweet: Toward a normative framework for bots on social networking sites. *International Journal of Communication*. 2016; 10.
- [28] Metaxas P.T., Mustafaraj E. Social media and the elections. *Science*. 2012; 338 (6).
- [29] Napoli P.M. Automated media: An institutional theory perspective on algorithmic media production and consumption. *Communication Theory*. 2014; 24 (3).
- [30] Pasquale F. *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Cambridge: Harvard University Press; 2015.
- [31] Ratkiewicz J., Conover M., Meiss M., Gonçalves B., Patil S., Flammini A., Menczer F. Truthy: Mapping the spread of astroturf in microblog streams. *Proceedings of the 20th International Conference Companion on World Wide Web*. New York; 2011.
- [32] Schäfer F., Evert S., Heinrich P. Japan's 2014 General Election: Political bots, right-wing Internet activism, and Prime Minister Shinzō Abe's hidden nationalist agenda. *Big Data*. 2017; 5 (4).
- [33] Shorey S., Howard P.N. Automation, Algorithms, and politics/automation, big data and politics: A research review. *International Journal of Communication*. 2016; 10.
- [34] Stieglitz S., Brachten F., Ross B., Jung A.-K. Do social bots dream of electric sheep? A categorisation of social media bot accounts. *Australasian Conference on Information Systems*. Hobart; 2017.
- [35] Sullivan J. A tale of two microblogs in China. *Media, Culture & Society*. 2012; 34 (6).
- [36] Waugh B., Abidinpanah M., Hashemi O., Rahman S.A., Cook D.M. The influence and deception of Twitter: The authenticity of the narrative and slacktivism in the Australian electoral process. *Proceedings of the 14th Australian Information Warfare Conference*. Perth; 2013.
- [37] Williams J.A., Miller D.M. Netizens decide 2014? A look at party campaigning online. *Japan Decides*. London; 2016.
- [38] Woolley S.C. Automating power: Social bot interference in global politics. *First Monday*. 2016; 21.
- [39] Woolley S.C., Howard P.N. Automation, algorithms, and politics/political communication, computational propaganda, and autonomous agent — introduction. *International Journal of Communication*. 2016; 10.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-121-133

Social bots in political communication*

V.V. Vasilkova, N.I. Legostaeva

Saint Petersburg State University
Universitetskaya Nab., 7/9, Saint Petersburg, 199034, Russia
(e-mail: v.vasilkova@spbu.ru, n.legostaeva@spbu.ru)

Abstract. In political communication, social bots are a new phenomenon of using automated algorithms that imitate behavior of real political agents in online social networks. The article presents a review of foreign and Russian approaches to the study of social bots. The authors identify three main thematic fields in the study of social bots: 1) types of social bots, 2) the use of bots in election campaigns, and 3) methods to detect bots. The article considers different types of social bots and concludes that in the political communication social bots' typologies are based mainly on characteristics of their use (goals, functions, ways), which is determined by the aims of political agents that control social bots. The authors identify six key areas of using bots in the political communication: soft information wars; propaganda of pro-government position; astroturfing as a technology to create artificial public opinion; changing public opinion by constructing agents of influence or false public opinion leaders; delegitimization of government systems, support of opposition forces and civil society actors; setting agenda and political debates. The authors summarize the results of the analysis of bots' usage in election campaigns (in the USA, Great Britain, Venezuela, Japan and other countries) and identify three main communication strategies based on bot-campaigns: 1) attracting supporters, 2) constructing a positive politician's image, and 3) discrediting a political opponent. The comparative analysis of bots' detection mechanisms showed that researchers use the same automated algorithms based on static and behavior characteristics but in different combinations. As bot accounts get more sophisticated and complex, the mixed method approach combining programming and social science methods will be developing too.

Key words: social bots; political communication; manipulation; public opinion; electoral practices; methods for revealing bots

* © V.V. Vasilkova, N.I. Legostaeva, 2019.

The research was supported by the Russian Foundation for Humanities. Project No. 18-011-00988.
The article was submitted on 10.09.2018.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-134-143

Прекаризация занятости: к методологии и методам измерения*

А.В. Кученкова

Российский государственный гуманитарный университет
Миусская площадь, 6, Москва, Россия, 125993
(e-mail: a.kuchenkova@rggu.ru)

Статья посвящена проблематике измерения прекаризации занятости. В многочисленных исследованиях этого явления предлагаются различные способы оценки его масштабов на основе эмпирических данных. Для систематизации накопленного опыта применения разнообразных методических решений в статье выделены три подхода к измерению прекаризации: на макро-, мезо- и микроуровне. Каждый подход описан и проиллюстрирован примерами из отечественной и зарубежной научной литературы. К первому подходу отнесены исследования, рассматривающие распространенность отдельных признаков прекаризации в динамике или предлагающие перечни социально-демографических групп, которые могут быть отнесены к прекариату. Второй подход к измерению прекаризации (на мезоуровне) представлен исследованиями, в которых сравниваются разные виды нестандартной и стандартной занятости по качеству рабочих мест и условиям трудовой деятельности. Результат таких исследований, как правило, — выделение видов занятости, которые можно отнести к прекаризованным. Изучение неустойчивости занятости на индивидуальном уровне (третий подход) предполагает рассмотрение условий занятости индивида, особенностей его субъективного восприятия неустойчивости, негарантированности занятости, для чего разрабатываются специализированные индексы прекаризации. Сопоставление перечней индикаторов, входящих в такие индексы, позволило выделить общие компоненты прекаризации: характеристики заработной платы, социальной и правовой защищенности, субъективные чувства ущемленности и незащищенности. В статье показана специфика каждого подхода к измерению прекаризации: первый учитывает не только занятое население, но и другие категории граждан; второй позволяет сопоставлять группы работников, представляющих разные виды занятости, однако не учитывает внутреннюю неоднородность этих групп, характеризуя каждую как обладающую высоким или низким уровнем прекаризации; этот недостаток преодолевается в третьем подходе, позволяющем подойти к измерению прекаризации на индивидуальном уровне, учесть не только характеристики и условия трудовой деятельности, но добровольный/вынужденный характер занятости.

Ключевые слова: прекаризация; прекариат; прекаризация занятости; индекс прекаризации; уровни измерения; виды занятости

На протяжении последних лет в общественной и научно-исследовательской среде усиливался интерес к проблемам прекариата и его труда, появилось множество исследований, в которых по-разному анализируются процессы прекаризации занятости. Вместе с тем оценки масштабов этого явления существенно варьируют. В России к прекариату относят от 8% работающих официально [1] до 30—40% трудоспособного населения [6]. В этой связи актуализируются вопросы методологии и методов измерения прекаризации, которые и являются предметом данной статьи.

* © Кученкова А.В., 2019.

Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда. Проект № 18-18-00024.
Статья поступила в редакцию 31.08.2018 г.

Сегодня реализуются разные подходы к изучению прекаризации на основе эмпирических данных. В фокусе внимания исследователей находятся тенденции прекаризации на уровне страны (доля людей с низкими зарплатами, срочными трудовыми договорами и т.п.), отдельные виды занятости (при которых работник находится в незащищенном, ущемленном положении) или прекаризация на индивидуальном уровне (неустойчивость занятости работников). Накопленный опыт по измерению прекаризации требует обобщения и систематизации для выявления возможностей и ограничений предлагаемых методических решений. На основе анализа научной литературы в статье выделены три направления или подхода к измерению прекаризации (на макро-, мезо- и микроуровне) в зависимости от того, что находится в центре внимания исследователей: процессы на уровне страны, сравнение видов занятости, ее неустойчивость на индивидуальном уровне.

Тенденции прекаризации занятости на макроуровне

К первому направлению можно отнести исследования, в которых описывается распространенность отдельных признаков прекаризации в стране в динамике или по состоянию на текущий момент либо перечисляются социально-демографические группы, которые могут быть отнесены к прекариату. Например, выводы А. Каллеберга о росте прекарной занятости в США в конце XX — начале XXI века [13] основаны на рассмотрении тенденций, проявившихся с 1970-х годов. Это снижение средней продолжительности занятости работника у одного работодателя (специального стажа); рост доли временно безработных, затрудняющихся найти работу более полугодом; распространение субъективного чувства негарантированности занятости и страха потери работы; увеличение масштабов нестандартной и случайной занятости (институционализация индустрии, способствующей ее укреплению); распространение практик по перекладыванию рисков и ответственности (связанных с социальными гарантиями — пенсией, здравоохранением — с работодателя на работника). В результате описание в динамике распространенности в американском обществе отдельных признаков прекаризации становится основой для демонстрации роста прекаризации занятости.

Аналогичным образом в исследовании рынка труда в Германии [10] фиксируется рост прекаризации на основе увеличения за период с 1984 по 2013 годы доли временно занятых, трудящихся на условиях низкой оплаты и домохозяйств с низким доходом. В качестве дополнительных признаков рассматриваются снижение уровня занятости молодых взрослых, рост коэффициентов Джини по зарплате в час и годовому заработку.

Другой способ рассуждений, используемый в научных публикациях для характеристики прекаризации занятости, — перечисление групп населения, которые могут быть отнесены к прекариату. Особенностью такого подхода является возможность учитывать не только трудящихся, но и группы населения, не имеющие работы в текущий момент (NEET-молодежь, временно безработные и др.). Эти группы могут быть выделены по разным основаниям: например, одни исследователи к прекариату относят неформально и временно занятых, трудящихся на условиях неполной, сезонной, случайной занятости, безработных, часть мигрантов [2; 6]. Другие авторы [3] оценивают численность прекариата как долю

среди экономически активного населения следующих групп: безработных; занятых в неформальном секторе; работников с начисленной заработной платой менее минимальной; работающих по договорам ГПХ; не охваченных коллективным договором; находившихся в отпуске без сохранения заработной платы; работающих неполную рабочую неделю; работающих на условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; сезонных работников. Третьи исследователи [8] предлагают выделять формы прекаризованного труда: по срочному трудовому договору, в режиме неполного рабочего времени, на фирмах-посредниках, удаленная занятость, наемное предпринимательство, занятость в неформальном секторе, теневая занятость, на фирмах-однодневках, на фирмах-«крышах».

Таким образом, при характеристике процессов прекаризации в стране в фокусе внимания исследователей находится распространенность отдельных видов или аспектов прекарного труда.

Прекаризация занятости на мезоуровне

Отличительной чертой второго подхода является рассмотрение разных видов и форм занятости, основное внимание уделяется сравнению их друг с другом по условиям труда, оценке степени прекаризации, присущей каждому из видов занятости. В этом случае, как правило, «стандартная» занятость (по бессрочному договору, на полный рабочий день, по найму) определяется как устойчивая, а «нестандартная» — как в большей или меньшей степени подверженная неустойчивости. Тем самым процессы прекаризации рассматриваются на уровне групп работников, представляющих разные виды занятости. Например, сравниваются стандартно и нестандартно занятые по распространенности признаков прекаризации [5]: отсутствие материальных и социальных гарантий, предоставляемых работодателем; частая смена рабочих мест; низкий уровень оплаты труда; нестабильность доходов; ощущение нестабильности жизни и др. В результате оказывается, что прекаризации в большей степени подвержены нестандартно занятые.

В рамках данного подхода целью исследования может быть выявление видов нестандартной занятости, для которых характерны наименее благоприятные условия труда, такие как: высокая степень флексибилизации (тип оплаты труда, рабочее время, ночная работа, по выходным, сменная работа, на дому и др.) и интенсификации труда (факторы физического дискомфорта), низкое качество жизни на работе (психологический климат, здоровье и безопасность). По итогам сопоставления семи видов занятости по перечисленным характеристикам [14] временная занятость и работа по срочным трудовым договорам были отнесены к неустойчивой прекаризованной занятости, поскольку условия труда работников, представляющих эти категории, в целом хуже, чем у работников, трудящихся по бессрочным трудовым договорам.

Результатом сравнения видов занятости может стать их ранжирование по степени прекаризации. Например, в исследовании рынка труда Канады [11. С. 13] исследователи выстраивают «континуум прекаризации», размещая в нем четыре вида занятости в следующем порядке: полная занятость по бессрочному договору, неполная занятость по бессрочному договору, полная занятость по срочному договору, частичная занятость по срочному договору.

В приведенных примерах ищется ответ на вопрос, какие виды занятости можно отнести к прекаризованным, а какие — нет, а не работающие категории граждан не рассматриваются, т.е. уровень прекаризации измеряется для видов занятости. Существенным ограничением такого подхода является приписывание того или иного уровня прекаризации группе работников, представляющих один и тот же вид занятости, не учитывается неоднородность таких групп. Этот недостаток преодолевает третий подход.

Прекаризация занятости на индивидуальном уровне

В рамках третьего направления рассматриваются условия труда отдельного работника, т.е. измеряется степень прекаризации занятости индивида. Эмпирическими данными выступают результаты массовых опросов, в некоторых случаях разрабатывается специализированный инструментарий (анкета, содержащая вопросы, позволяющие строить индексы прекаризации). Ключевыми признаками прекаризации, как правило, выступают условия труда и занятости работника (наличие прав и социальных гарантий, возможность реализовывать права, высокая и стабильная зарплата, фиксированный график и содержание труда, психологический комфорт и др.). Хорошие условия труда ассоциируются с низким уровнем прекаризации, и наоборот.

В отечественной литературе этот подход пока не получил широкого распространения, но можно привести примеры исследований, выполненных в его русле. Так, набор признаков прекаризации занятости на индивидуальном уровне может быть небольшим. По мнению О.В. Вередюк [1], максимально объективные характеристики повышенного уровня риска, связанного с трудовыми отношениями, — это волатильность дохода (разброс относительно средней величины), связанного с работой (заработная плата), и его дискретность (нерегулярность). Среди наемных работников 8% в течение последних 12 месяцев сталкивались с сокращением заработной платы или были отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск: «именно эти работники... находятся в состоянии неустойчивости занятости» [1. С. 30]. Однако использование в качестве индикаторов прекаризации только характеристик дохода сужает ее трактовку.

Развернутый перечень индикаторов прекаризации занятости на индивидуальном уровне включает в себя [9]: 1) нестабильность занятости (опасения потерять работу, нестабильность дополнительного заработка в свободное время, безработные в ближайшем окружении); 2) организационный ресурс (возможность определять цели и задачи своего отдела, нанимать и увольнять людей в организации и др.; участие в работе НКО, в том числе профсоюзов); 3) социальный ресурс (способность решать проблемы за счет социальных связей); 4) финансовые ресурсы (обладание акциями или облигациями компаний, долевое участие в капитале компаний, отношение средней зарплаты за последние три месяца к прожиточному минимуму, оценка благосостояния семьи и др.); 5) социальная самооценка (собственная жизнь сегодня, 5—10 лет назад). Однако такие индикаторы позволяют измерять не столько особенности вида занятости и условий труда, сколько наличие ресурсов, т.е. изучать скорее общую прекаризацию и неустойчивость положения, нежели прекаризацию занятости.

Степень прекаризации занятости на индивидуальном уровне можно оценивать как количество признаков неустойчивости занятости [4]. Такой подход позволяет говорить о разном уровне прекаризации, выделять «ядро» и «периферию» прекариата. Набор признаков может корректироваться в соответствии с теоретическими предпосылками и возможностями базы данных. При включении не только условий занятости работника, но и субъективного восприятия этих условий как добровольных или вынужденных целесообразным представляется построение классификации работников на основе сочетания двух признаков: уровня неустойчивости занятости и удовлетворенности условиями занятости [4].

В западной литературе примерами измерения прекаризации занятости на индивидуальном уровне могут выступать разные шкалы или индексы прекаризации. Рассмотрим три примера.

Первый — шкала прекаризации занятости (Employment Precariousness Scale, EPRES) [17]. В ее текущей версии [16] на основе 22 индикаторов формируются шесть индексов: неустойчивость занятости (во времени, непродолжительность), зарплата (низкий размер, возможная экономическая депривация), ограниченность трудовых прав (их мало или нет), невозможность реализовать трудовые права, отсутствие защиты в форме коллективного договора, субъективное чувство уязвимости (плохое обращение со стороны руководства, психологический дискомфорт). Все шесть индексов объединяются в единый интегральный показатель прекаризации, на основе значений которого выделяются три категории работников: 52,1% — без проявлений прекаризации, 41,2% — с низким-средним и 6,7% — с высоким уровнем прекаризации.

Другой интегральный индекс прекаризации [15] вычисляется на основе трех частных — размер и справедливость зарплаты, стабильность занятости (продолжительность, риск потери), возможности трудоустройства (перспективы карьерного роста, возможность обучения и др.), формируемых из 13 исходных индикаторов. Необходимо введение четвертого показателя — социальной защищенности (наличие социальных благ и гарантий), однако используемые анкеты не содержали требуемых индикаторов.

Разработанный группой канадских исследователей индекс прекаризации (Employment Precarity Index [12]) представляет собой сумму значений 10 дихотомических переменных (вопросов об условиях труда, в том числе оплачивается ли больничный, варьировал ли ежемесячный доход или был постоянным, есть ли фиксированный рабочий график на неделю вперед, социальная поддержка работодателя — страховка жизни, медицинская). На основе значений индекса работники делятся на четыре квантили по (не)устойчивости: «безопасная занятость», «стабильная занятость», «уязвимая занятость», «прекаризованная занятость». Авторы индекса подчеркивают, что прекаризация выражается не только в виде занятости, но и в условиях трудовой деятельности: отсутствии социальных гарантий, непостоянстве рабочих часов, отсутствии уверенности в возможности продолжать работу у работодателя еще минимум в течение года.

Описанные индексы включают от 10 до 22 индикаторов, часть из которых направлена на измерение одних и тех же признаков прекаризации.

Если сопоставить индикаторы (табл. 1), то можно увидеть, что в состав каждого из трех индексов входят вопросы о заработной плате (фактическом размере, субъективной оценке достаточности, справедливости и др.), социальных гарантиях и правах (наличии, возможности использования), субъективном чувстве беспрепятства, незащищенности.

Таблица 1

Сопоставление индикаторов, входящих в состав индексов прекаризации

| Компоненты | Employment Precariousness Scale [17] | Index of Precariousness of Work [15] | Employment Precarity Index [12] |
|---|--|--|---|
| Зарботная плата | — зарплата в месяц *** — позволяет ли зарплата покрывать базовые нужды — позволяет ли зарплата покрывать непредвиденные расходы | — зарплата в месяц и час (абсолютное значение и децильная группа) *** — справедливость размера зарплаты относительно стандартов в данной сфере | — *** — степень варьирования зарплаты от месяца к месяцу — «серая» зарплата (доля зарплаты, предоставляемой неофициально) |
| Права и социальные гарантии | — оплата пенсионных взносов, выходного пособия, пособия по уходу за ребенком, по безработице — возможность брать выходной, больничный, отпуск | — (по мнению автора, должно быть, но в анкете не было вопросов) | — оплата отгула — наличие медицинской страховки, отчислений в пенсионный фонд |
| Чувства уязвимости, незащищенности | — возможность требовать улучшения условий труда без опасений быть уволенным или понести наказание — авторитарный стиль управления — навязывание чувства легкой заменимости | — частота некомфортного самочувствия на работе | — возможность требовать улучшения условий труда без опасений быть уволенным или понести наказание |
| Продолжительность занятости | — срок трудового договора, контракта *** — специфический стаж (на текущем месте) | — *** — специфический стаж (на текущем месте) относительно общего стажа работы и количества лет по окончании учебы | — вид занятости (по бессрочному, срочному трудовому договору, временная, без трудового договора и т.д.) |
| Субъективная оценка гарантированности занятости | — | — субъективная оценка рисков потери работы | — субъективная оценка вероятности сокращения рабочих часов — уверенность в наличии работодателя, который обеспечит работой на полный день минимум еще в течение года |
| Другие компоненты | — регулирование прав (установление графика работы, зарплаты) в индивидуальном порядке / коллективным договором | — перспективы трудоустройства и карьеры в будущем (возможность обучаться, работать по достижении пенсионного возраста, сохранение здоровья) | — нестандартные условия занятости: наличие графика на неделю, месяц вперед, работа «по звонку» |

Отсутствие гарантий занятости и социальных гарантий как ключевые показатели прекаризации часто ассоциируются с нестандартными формами занятости (неформальной, временной, неполной и др.). Однако эти формы настолько разнообразны, что работники, трудящиеся на условиях, отклоняющихся от «стандартной» занятости, могут быть как успешными фрилансерами, профессионалами высокого класса, получающими выгоды от гибкой занятости, так и работниками, занимающими рабочие места низкого качества, проигрывающими по сравнению со стандартно занятыми. В этой связи существенным представляется уточнение Е.В. Масловой: «прекариат — не просто нестандартная занятость, а ее вынужденные, незащищенные и ненадежные разновидности, при которых положение ее носителей ухудшается и становится нестабильным, негарантированным во всех аспектах: экономическом, правовом, социальном, психологическом. Методологически неверно включать в состав прекариата работников, добровольно выбравших для себя нестандартную форму занятости» [5. С. 180].

Важной особенностью третьего подхода к измерению прекаризации занятости на индивидуальном уровне является попытка учесть субъективное восприятие своей работы как неустойчивой, нестабильной, вынужденной. Поэтому целесообразно для измерения прекаризации занятости использовать сочетание двух базовых признаков: уровень неустойчивости занятости (по объективным условиям трудовой деятельности) и характер мотивации (добровольный/вынужденный) к труду на таких условиях.

Методические решения, используемые в изучении и измерении прекаризации занятости, многообразны, их выбор обусловлен интерпретацией ключевых понятий и постановкой исследовательской задачи, в зависимости от которых формируется перечень показателей прекаризации и привлекаются необходимые данные государственной статистики и массовых опросов. В статье охарактеризованы три подхода к измерению прекаризации занятости: в фокусе внимания первого находятся процессы прекаризации в динамике или в сравнении с другими странами (выявление отдельных тенденций на макроуровне); во втором подходе акцент смещен на сравнение разных видов занятости по качеству рабочих мест; третий подход предполагает измерение прекаризации для каждого работника на основе условий его занятости и трудовой деятельности. Третий подход учитывает субъективные оценки (добровольный/вынужденный характер трудовых отношений), являющиеся важной компонентой прекаризации, однако требует массовых опросов и разработки соответствующих индикаторов. Для изучения характера и масштабов прекаризации занятости необходимы адекватные инструменты и способы измерения этого явления, и предлагаемый в статье обзор показал возможные решения этой задачи.

Библиографический список

- [1] *Верedyuk O.B.* Неустойчивость занятости: теоретические основы и оценка масштабов в России // Вестник СПбГУ. Серия 5. 2013. Вып. 1. С. 25—32.
- [2] *Голенкова З.Т., Голусова Ю.В.* Новые социальные группы в современных стратификационных системах глобального общества // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 3. С. 5—15.
- [3] *Колот А.М.* Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации // Уровень жизни населения регионов России. 2013. № 11. С. 93—101.
- [4] *Кученкова А.В., Колосова Е.А.* Дифференциация работников по характеру неустойчивости их занятости // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 3. С. 288—305.
- [5] *Маслова Е.В.* К вопросу о методике выявления слоя прекариев на основе анализа стандартной и нестандартной форм занятости // Вестник ВИВТ. 2017. № 2. С. 175—182.
- [6] *Тоценко Ж.Т.* Прекариат — новый социальный класс // Социологические исследования. 2015. № 6. С. 3—13.
- [7] *Тоценко Ж.Т.* Прекариат: от протокласса к новому классу. М.: Наука, 2018.
- [8] *Федорова А.Э., Парсюкевич А.М.* Прекаризация занятости и ее влияние на социально-экономическое благополучие наемных работников // Известия УрГЭУ. 2013. № 5. С. 76—81.
- [9] *Шкаратан О.И., Карачаровский В.В., Гасюкова Е.Н.* Прекариат: теория и эмпирический анализ (на материалах опросов в России, 1994—2013) // Социологические исследования. 2015. № 12. С. 99—110.
- [10] *Brady D., Biegert Th.* The Rise of Precarious Employment in Germany // SOEP Papers on Multidisciplinary Panel Data Research. 2017. No. 936.
- [11] *Cranford C.J., Vosko L.F., Zukewich N.* Precarious employment in the Canadian labor market: A statistical portrait // Just Labor. 2013. No. 3. P. 6—22.
- [12] It's more than poverty: Employment precarity and household well-being // Poverty and Employment Precarity in Southern Ontario / Ed. By S. McBeth. https://labourstudies.mcmaster.ca/peps/documents/2013_itsmorethanpoverty_report.pdf.
- [13] *Kalleberg A.L.* Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition // American Sociological Review. 2009. Vol. 74. P. 1—22.
- [14] Precarious Employment and Working Conditions in Europe / Ed. By V. Letourneux. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1998.
- [15] *Tangian A.* Is flexible work precarious? A study based on the 4th European survey of working conditions 2005 // WSI — Diskussionspapier. 2007. No. 153.
- [16] *Vives A., González F., Moncada S., Llorens C., Benach J.* Measuring precarious employment in times of crisis: The revised Employment Precariousness Scale (EPRES) in Spain // Gaceta Sanitaria. 2015. No. 29. P. 379—382.
- [17] *Vives A., Vanroelen Ch., Amable M., Ferrer M., Moncada S., Llorens C., Muntaner C., Benavides F.G., Benach J.* Employment precariousness in Spain: Prevalence, social distribution, and population-attributable risk percent of poor mental health // International Journal of Health Services. 2011. Vol. 41. No. 4. P. 625—646.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-134-143

Precarious employment: Methodology of measurement*

A.V. Kuchenkova

Russian State University for Humanities
Miusskaya Pl., 6, Moscow, Russia, 125993
(e-mail: a.kuchenkova@rggu.ru)

Abstract. The article considers approaches to the measurement of precarious employment for numerous studies suggest various ways to estimate its scale based on empirical data. To systematize various methodological solutions, the author identifies three approaches to the measurement of precarization: at the macro-, meso- and micro-level. Each approach is described and illustrated with examples from Russian and foreign scientific literature. The first approach (at the macro-level) studies the prevalence of specific indicators of precarization in dynamics or different social-demographic groups that can be considered precariat. The second approach (at the meso-level) compares different types of non-standard and standard employment in terms of the quality of jobs and working conditions to identify types of employment that can be considered precarious. The third approach (at the micro-level) focuses on the individual employment instability, its subjective perception, lack of employment security, and develops precarization indices. The comparison of indicators within such indices allows to identify common components of precarization: characteristics of wages, social and legal protection, and feeling of insecurity. The article emphasizes features of each approach for the measurement of precarization: the first takes into account not only the employed population but also other categories; the second compares groups representing different types of employment but does not take into account the internal heterogeneity of these groups and considers them as having a high or low level of precarization; this disadvantage is overcome in the third approach that measures precarization at the individual level and takes into account not only types and conditions of work but also voluntary/forced nature of employment.

Key words: precarization; precariat; precarious employment; index of precarization; levels of measurement; types of employment

References

- [1] Veredyuk O.V. Neustoychivost zanyatosti: teoreticheskie osnovy i otsenka masshtabov v Rossii [Instability of employment: Theoretical concept and estimates of its scale in Russia]. *Vestnik SPbGU. Seriya 5*. 2013; 1: 25—32 (In Russ.).
- [2] Golenkova Z.T., Goliusova Yu.V. Novye sotsialnye gruppy v sovremennykh stratifikatsionnykh sistemakh globalnogo obshchestva [New social groups in contemporary stratification systems of global society]. *Sotsiologicheskaya Nauka i Sotsialnaya Praktika*. 2013; 3: 5—15 (In Russ.).
- [3] Kolot A.M. Transformatsiya instituta zanyatosti kak sostavlyayuschaya globalnykh izmeneniy v sotsialno-trudovoy sfere: fenomen prekarizatsii [Transformation of the institution of employment as a part of global changes in the social-labor sphere: The phenomenon of precarization]. *Uroven Zhizni Naseleniya Regionov Rossii*. 2013; 11: 93—101 (In Russ.).
- [4] Kuchenkova A.V., Kolosova E.A. Differentsiatsiya rabotnikov po kharakteru neustoychivosti ikh zanyatosti [Differentiation of workers by features of precarious employment]. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny*. 2018; 3: 288—305 (In Russ.).

* © A.V. Kuchenkova, 2019.

The research was supported by the Russian Science Foundation. Project No. 18-18-00024.

The article was submitted on 31.08.2018.

- [5] Maslova E.V. K voprosu o metodike vyyavleniya sloya prekariev na osnove analiza standartnoy i nestandardnoy form zanyatosti [On the technique of revealing a stratum of precarias by the analysis of standard and non-standard types of employment]. *Vestnik VIVT*. 2017; 2: 175—182 (In Russ.).
- [6] Toshchenko Zh.T. Prekariat — novy sotsialny klass [Precariat — a new social class]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2015; 6: 3—13 (In Russ.).
- [7] Toshchenko Zh.T. *Prekariat: ot protoklassa k novomu klassu* [Precariat: From the Protoclass to a New Class]. Moscow: Nauka; 2018 (In Russ.).
- [8] Fedorova A.E., Parsyukevich A.M. Prekarizatsiya zanyatosti i ee vliyanie na sotsialno-ekonomicheskoe blagopoluchie naemnykh rabotnikov [Precarization of employment and its impact on the social-economic well-being of employees]. *Izvestiya UrGEU*. 2013; 5: 76—81 (In Russ.).
- [9] Shkaratan O.I., Karacharovskiy V.V., Gasyukova E.N. Prekariat: teoriya i empirichesky analiz (na materialakh oprosov v Rossii, 1994—2013) [Precariat: Theory and empirical analysis (based on the data of opinion polls in Russia in 1994—2013)]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2015; 12: 99—110 (In Russ.).
- [10] Brady D., Biegert Th. The Rise of Precarious Employment in Germany. *SOEP Papers on Multidisciplinary Panel Data Research*. 2017: 936.
- [11] Cranford C.J., Vosko L.F., Zukewich N. Precarious employment in the Canadian labor market: A statistical portrait. *Just Labor*. 2013; 3: 6—22.
- [12] It's more than poverty: Employment precarity and household well-being. *Poverty and Employment Precarity in Southern Ontario*. Ed. by S. McBeth. https://labourstudies.mcmaster.ca/pepo/documents/2013_itsmorethanpoverty_report.pdf.
- [13] Kalleberg A.L. Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition. *American Sociological Review*. 2009; 74: 1—22.
- [14] *Precarious Employment and Working Conditions in Europe*. Ed. by V. Letourneux. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities; 1998.
- [15] Tangian A. Is flexible work precarious? A study based on the 4th European survey of working conditions 2005. *WSI — Diskussionspapier*. 2007: 153.
- [16] Vives A., González F., Moncada S., Llorens C., Benach J. Measuring precarious employment in times of crisis: The revised Employment Precariousness Scale (EPRES) in Spain. *Gaceta Sanitaria*. 2015; 29: 379—382.
- [17] Vives A., Vanroelen Ch., Amable M., Ferrer M., Moncada S., Llorens C., Muntaner C., Benavides F.G., Benach J. Employment precariousness in Spain: Prevalence, social distribution, and population-attributable risk percent of poor mental health. *International Journal of Health Services*. 2011; 41 (4): 625—646.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-144-166

Способы преодоления коммуникативных затруднений в стандартизированном телефонном интервью*

А.А. Ипатова, Д.М. Рогозин

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Пречистенская наб., 11-1, Москва, Россия, 119034
(e-mail: ipatova_anna@mail.ru; nizgor@gmail.com)

Стандартизированное телефонное интервью не ведется в изолированных условиях, оно встроено в мир повседневных взаимодействий. Отклонения и смещения, сбои при передаче информации от интервьюера респонденту и наоборот — та реальность, в которой регистрируется общественное мнение. Основные сбои в передаче информации интервьюеру связаны с характеристиками (пол, возраст, образование, социальный статус и т.д.) и поведением респондента. Однако поведение интервьюера не менее важно — неслучайно столько внимания в методической литературе уделяется эффекту интервьюера, его действиям и установкам, приводящим к ошибкам измерения или отбора. В речевом взаимодействии интервьюер может по-своему объяснять значение вопроса, давать комментарии, уточнять ответ. Стандартизация может нарушаться и ввиду других обстоятельств: сбои в телефонной связи или недостижимость мест проживания, вмешательство третьих лиц, технические проблемы (сбои программного обеспечения), структура анкеты и особенности предыдущих вопросов и т.д. Соответственно, респондент, интервьюер и контекст — три источника ошибок измерения в стандартизированном интервью. Очевидно, что профессиональный интервьюер будет успешнее решать возникшие трудности, минимизировать их количество, предотвращать и не создавать своим поведением. В статье на примере реальных интервью представлена попытка классифицировать успешные решения, которые находят опытные интервьюеры для ремонта коммуникации. Материалом для анализа послужили три общероссийских телефонных опроса, проведенных в 2017 году Лабораторией методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Успешные решения рассмотрены в трех плоскостях: обеспечения адекватности ответа, сохранения разговора с респондентом и обеспечения стандартизации. Успешное интервью — это не просто полностью заполненная анкета, но и релевантность ответов, информированное согласие и положительный эмоциональный шлейф у обоих участников разговора.

Ключевые слова: стандартизированное интервью; телефонное интервью; смещение; эффект интервьюера; ремонт вопросов; компьютеризированный телефонный опрос, межличностное взаимодействие

Инструкции и стандарты полевой работы описывают идеальный ход стандартизированного интервью: предварительно изучив анкету, интервьюер задает вопрос так, как он зафиксирован на бумаге, респондент, не уточняя и не сомневаясь, дает ответ, соответствующий формату анкеты (закрытый или открытый); ничто

* © А.А. Ипатова, Д.М. Рогозин, 2019.
Статья поступила в редакцию 17.09.2018 г.

не сбивает, не подвергается сомнению, не фальсифицирует стандартизацию. Такие ситуации не так уж редки, особенно при условии жесткого дисциплинарного контроля: получая кредит в банке, заполняя бланки строгой отчетности или оформляя субсидию, мы почти не отклоняемся от процедуры. Но чем более свободна и комфортна для разговора среда, тем больше отклонений допускают его участники. Стандартизированное интервью не ведется в изолированных условиях, оно встроено в мир повседневных взаимодействий, поэтому отклонения и смещения от линейной схемы передачи информации — обыденность массовых опросов, в которой регистрируется общественное мнение.

Основные сбои в передаче информации от респондента к интервьюеру связаны, прежде всего, с характеристиками и поведением первого [13; 30; 38]. Он может, например, не понять вопрос, не захотеть на него отвечать, выбрать вариант ответа, который не попадает в закрытия, или даже задать ответный вопрос интервьюеру.

Мы, задающие вопросы, предполагаем, что люди знают, о чем мы говорим, что их суждения имеют основания, что они понимают вопросы, что их ответы соответствуют тому, о чем мы спрашиваем. Зачастую наши предположения не сбываются. Однако респонденты могут никогда ранее не слышать об интересующем нас предмете, могут спутать его с чем-либо другим, могут иметь лишь общее представление о нем и не быть способными сформулировать суждение. Даже если они знают предмет, они могут не понять вопрос или дать ответ в неподходящей для нас форме [36. Р. 16]. Поведение интервьюера не менее важно [12; 17; 26; 34; 35].

Стандартизация может нарушаться и другими обстоятельствами: сбои в телефонной связи или недостижимость мест проживания, вмешательство третьих лиц, сбои программного обеспечения и т.д. [18].

Материалом для статьи послужили исследования Лаборатории методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это три общероссийских телефонных опроса (САТИ) по случайной систематической стратифицированной двухосновной выборке номеров стационарных и мобильных телефонов (RDD). Соотношение мобильных и стационарных номеров телефонов составляло 65—55% (мобильные) на 34—45% (стационарные). Опрос на тему «Перспективы и барьеры социального развития» проходил в марте 2017 года: было опрошено 3000 респондентов в возрасте от 18 до 91 года (в статье использованы 7 интервью).

Опрос на тему «Мониторинговое обследование демографического, социального и экономического поведения населения РФ» был проведен в апреле 2017 года: опрошено 9604 респондента в возрасте от 18 до 72 лет (4 интервью). Опрос на тему «Пассивное старение и активное долголетие» был проведен в июне 2017 года: опрошено 2003 респондента в возрасте 65 лет и старше (9 интервью). Опросы проводили наши традиционные региональные партнеры: Институт общественного мнения «Квалитас» (Воронеж), Маркетинговый центр «Контекст» (Томск), САТИ & CALL-центр VOICE (Омск), компания «Максима» (Чебоксары). Все интервью записывались на аудионоситель, что позволяет, помимо количественного анализа, проводить качественный анализ взаимодействий, анализировать коммуникативные затруднения и способы выхода из них. В статье приводятся фрагменты этих

интервью: мы пронумеровали и подписали реплики участников (И — интервьюер, Р — респондент), где возможно, указали их пол и возраст, а также расставили риторические паузы и ударения.

Обеспечение адекватности ответа

Получение информации от респондента — наиболее понятая и изученная функция стандартизированного интервью. Задача интервьюера — обеспечить получение адекватного ответа (Рис. 1). Для этого следует задать вопрос так, как он указан в анкете, дать пояснение, не выйдя за рамки стандартизации, уточнить ответ респондента или зафиксировать его отказ от ответа или возникшее затруднение [3; 4; 19; 20]. Альтернативный вариант — убедить респондента ответить на вопрос, т.е. провести ремонт неответа или ухода от ответа [33], если в начале получен отказ или реплика респондента не соответствует формальным требованиям анкеты.



Рис. 1. Техники обеспечения адекватности ответа

Если в ходе интервью не возникают сбои, то реализуется наиболее простая ситуация — исполнения интервьюером роли контролера и посредника в получении данных. Во всех иных случаях от интервьюера требуется расширение ролевого репертуара, актуализация навыков, не требующихся для простой регистрации ответов.

Если анкетные вопросы хорошо сформулированы и соответствуют ожиданиям респондентов, стандартизированное интервью состоит из серий «парадигматических» вопрос-ответных последовательностей [39; 40], в которых интервьюер зачитывает вопросы так, как они написаны, а респондент дает ответы, совпадающие с анкетными кодами. Например, может быть ответ «да» на вопрос, предполагающий согласие или отказ. Интервьюер может подтвердить ответ респондента перед тем, как перейдет к другому вопросу. Однако ответы на анкетные вопросы — это взаимодействие, поэтому часто возникают непарадигматические вопрос-ответные последовательности, включая неуверенность, непонимание респондента [39; 40]. Реагируя на такие ситуации, интервьюеры могут отходить от правил стандартизации, но следовать целям измерения [23. Р. 4].

Уточнение ответа, объяснение вопроса и ремонт неответа — техники получения информации, требующие от интервьюера сочетать контроль за ответами с навыками эмпатического ведения беседы. Разберем на примерах особенности каждой техники.

Уточнение ответа — одна из наиболее распространенных техник получения информации посредством дополнительных вопросов [27]. Такая ситуация чаще всего возникает со сложными вопросами, где ответ может быть дан по другим основаниям и не попадать в закрытия. Например, представлен оценочный вопрос или нужно выбрать ответ «хорошо» или «плохо», а респондент колеблется и не может оценить однозначно. Так, на вопрос об экономических перспективах предприятия респондент дает ответ «неплохие» (реплика 2, фрагмент 1). Этот ответ не попадает под имеющиеся закрытия «хорошие, средние или плохие», поэтому интервьюер неоднократно пытается уточнить ответ. Респондент отвечает, что для него это сложный вопрос, что он не директор предприятия и не может дать однозначную оценку (реплика 4). Три раза интервьюер уточняет ответ — три раза респондент уклоняется от ответа. В результате интервьюер ставит «затрудняюсь ответить», что полностью отражает ситуацию.

Важно, что интервьюер зачитывает предложенные варианты, не пытается самостоятельно переформулировать ответ респондента и склонить его в ту или иную сторону. Таким образом, успешность техники измеряется не выбором точного ответа, когда его нет, а фиксацией позиции респондента, и вариант «затрудняюсь ответить» здесь не воспринимается как неудача.

Фрагмент 1: (мужчина, 46 лет — интервьюер, мужчина, 48 лет — респондент)

1. И: А каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития предприятия, организации, в которой Вы работаете, на ближайшие два-три года — хорошие, средние или плохие? Как Вы считаете?
2. Р: Если в целом, то по ходу неплохие, наверное.
3. И: А как мне отметить? Хорошие, средние, плохие? Три оценки.
4. Р: Вот сложный вопрос. Я не директор, я не могу объяснить это.
5. И: Мы спрашиваем про Ваш взгляд, как Вы думаете, как Вы предполагаете.
6. Р: Ну, наверное, неплохие, скорее всего, что неплохие.
7. И: Николай Николаевич, три оценки: хорошие перспективы развития, средние, плохие? Подходит какая-то оценка?
8. Р: Сложно сказать, я не могу так сказать... Ну, наверное, неплохие.
9. И: Неплохие — у нас нет такого варианта, у нас есть средние! Хорошо, идем далее.

Другой частый случай уточнения ответа — его повторение. Интервьюер, прежде чем задать следующий вопрос, проговаривает только что полученный ответ [23. Р. 4], что дает респонденту возможность услышать свой ответ еще раз и поправить интервьюера, если он не так понял его. Хорошо работает эта техника в вопросах с множественным ответом, поскольку бывает, что респондент называет самые очевидные варианты и может забыть про другие, менее актуальные. Иногда интервьюеры пользуются ею при заполнении открытых вопросов, что позволяет им проверить то, что было услышано, не забыть информацию, дать возможность

респонденту проконтролировать фиксируемый ответ. Однако важно не злоупотреблять этой техникой и не выглядеть «попугаем», повторяющим каждый ответ респондента, нарушая разговорный тип коммуникации.

Интересно использует технику уточнения ответа интервьюер во Фрагменте 2: вопрос о возрасте вызвал коммуникативный сбой, респондент поинтересовался, зачем нужна эта информация. Причины его устроили, и он решил дать ответ «шестьдесят» (реплика 2), но сказал это неуверенно. Поскольку в такого рода вопросах респонденты склонны округлять возраст, интервьюер задает уточняющий вопрос (реплика 3) и получает другой возраст — 65 лет (реплика 4). Интервьюер вновь повторяет ответ (реплика 5), в том числе потому, что респондент назвал свой возраст не полностью. В результате получаем уточненный ответ.

Фрагмент 2: (женщина, 63 года — интервьюер, женщина, 65 лет — респондент)

1. И: Скажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет? ...
2. Р: ...шестьдесят...
3. И: Шестьдесят ровно?
4. Р: Пять.
5. И: Шестьдесят пять.

Еще один частый вариант — неясный ответ, особенно, если респондент любит ломать структуру анкеты и на каждый вопрос давать собственный ответ. Во Фрагменте 3 вопрос о том, каких событий было больше в жизни — радостных или грустных, предполагает количественную оценку. Однако респондент предлагает еще и качественную оценку событий (реплика 2). Такой ответ не укладывается в закрытия, так как он дан по другому основанию, поэтому интервьюер уточняет вариант ответа (реплика 3).

Фрагмент 3: (женщина, 26 лет — интервьюер, мужчина, 65 лет — респондент)

1. И: Скажите, пожалуйста, в Вашей жизни было больше радостных моментов или грустных?
2. Р: Вот это статистика! Очень много грустных моментов! Но! Те моменты, которые появлялись в качестве светлого дня, компенсировали все остальное.
3. И: То есть больше радостных, правильно вас поняла?
4. Р: Не больше радостных. Больше печальных! Но радостные дни компенсировали все остальное.

Очень важно, чтобы в таких ситуациях у интервьюера хватало выдержки и терпения на уважительное общение и спокойную фиксацию позиции респондента без попыток навязать ему логику анкеты и выбрать самостоятельно ответ.

Объяснение вопроса — одна из базовых техник стандартизированного интервью, и при этом одна из самых сложных [16]. У респондентов часто возникают затруднения в понимании вопросов, и интервьюер становится их единственным помощником в разрешении сомнений. Согласно требованиям речевой стандартизации [5] интервьюер должен слово в слово повторить приведенную в анкете формулировку, не комментируя, не меняя порядок слов, не опуская и не добавляя слова. В реальности такое происходит редко, поскольку правила эффективной коммуникации требуют: если формулировка вызвала непонимание респондента,

то повторение непонятого в том же виде невежливо (если респондент не услышал или не разобрал слова) и неэффективно (для получения информации). Соответственно, адекватной реакцией интервьюера на запрос информации со стороны респондента будет не игнорирование, а участие, поэтому многие интервьюеры, даже под угрозой штрафных санкций, объясняют вопросы [32. Р. 12], т.е. требование стандартизации не блокирует объясняющие речевые практики.

Чтобы минимизировать риски смещений и интерпретаций вопросов интервьюерами, необходимо проводить инструктажи, писать комментарии к формулировкам вопросов, особенно к сложным, и проводить пилотаж анкеты. Однако никакие действия не гарантируют полного отсутствия нетипичных, отклоняющихся от предписанной стандартизации ситуаций. Во Фрагменте 4 респондент не понимает вопрос, и после паузы спрашивает интервьюера, какой требуется ответ (реплика 2). Интервьюер сокращает вопрос и выделяет интонацией смысловые компоненты: «могли бы или не могли бы» (реплика 3). Респондент реагирует междометием «а», демонстрируя понимание вопроса, и дает ответ «могла» (реплика 4). Это пример сбалансированного формального подхода к проведению стандартизированного интервью. С одной стороны, интервьюер не стала вступать в диалог, не ответив на вопрос респондента, с другой — повторяя вопрос, грамотно адаптировала его формулировку для лучшего понимания.

Фрагмент 4: (женщина — интервьюер, женщина, 75 лет — респондент)

1. И: Могли бы Вы в случае трудной жизненной ситуации обратиться к знакомым, друзьям и родственникам, чтобы получить небольшой заем или найти разовые подработки?
2. Р: (4 сек) А какой тут нужен ответ?
3. И: Могли бы или не могли бы обратиться к друзьям, знакомым, чтобы получить небольшой заем или найти разовые подработки?
4. Р: А, могла.

Успешность техники объяснения вопросов во многом зависит от того, понимает ли интервьюер вопрос, разбирается ли он в ситуации. Одна из ключевых задач исследователя — обязательная и подробная подготовка интервьюеров к опросу, в ходе которой должен проводиться не только инструктаж по анкете и правилам фиксации ответов, но и по необходимым объяснениям к сложным или неоднозначным вопросам, по целям и задачам исследования, другим методическим рекомендациям [1. С. 43—44].

Техника ремонта неответа требует от интервьюера рефлексивной позиции, установки на получение достоверной информации. Неответ — это отказ или уход от ответа на конкретный вопрос, который в том числе может привести к срыву всего интервью.

Конечно, техники и стратегии убеждения принять участие в опросе и ответить на конкретный вопрос во многом схожи [1. С. 33]. Однако нам представляется логичным разделить их ввиду разных целей интервьюера и разных уровней взаимодействия: в первом случае при отказе от ответа актуализируется задача получения информации, это отношения респондента и анкеты, во втором случае, при

отказе от участия, на первый план выходят взаимоотношения интервьюера и респондента, необходимость построения эмпатических связей. Ремонт неответа возможен при вероятном (как превентивная техника) или уже случившемся сбое в коммуникации. Так, на вопрос о возрасте респондент не ответила, поинтересовавшись, зачем нужна такая информация (реплика 2, фрагмент 5). Вопрос сензитивный, он создает сбой в коммуникации, и интервьюер спокойно и подробно отвечает на вопрос, объясняя правила исследования. Интервьюер намеренно предоставляет больше информации, чем было запрошено, ждет, пока респондент не перебьет его, когда услышанного будет достаточно.

Фрагмент 5: (женщина, 63 года — интервьюер, женщина, 65 лет — респондент)

1. И: Скажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет?
2. Р: А зачем Вам это?
3. И: Мы проводим определенных возрастных групп опросы, обобщаем данные по возрастным группам, поэтому спрашиваем возраст. Эта информация ни...
4. Р: ...шестьдесят...

Наиболее частый ремонт неответа — конвертация отказа отвечать на вопрос в согласие или затруднение. Невозможность выбрать из предложенных вариантов и отказ от ответа — это разные ситуации, тем не менее, часто составители анкеты объединяют эти варианты в одно закрытие «затрудняюсь ответить / отказ от ответа» или не оставляют возможности интервьюеру зафиксировать отказ от ответа, вынуждая его выбрать вариант «затрудняюсь», чтобы продолжить опрос. Это необходимо учитывать, например, для тестирования сензитивных вопросов, потому что эта градация поможет увидеть «степень» чувствительности респондента. Например, сензитивный вопрос про смерть и приготовления к смерти вызывает у респондента возмущение: она язвительно спрашивает у интервьюера, не нужно ли ей еще дать и номер своей сберегательной книжки (реплика 2, фрагмент 6). Этот сарказм имеет компенсаторную функцию, это должен понимать интервьюер. При осознании причины раздражения респондента интервьюер, который не может сам выбирать темы для разговора, не будет реагировать на провокацию, преобразуя раздражение и отторжение вопроса в положительную реакцию.

Фрагмент 6 (женщина, 26 лет — интервьюер, женщина, 66 лет — респондент)

1. И: ... Откладываете ли Вы деньги на свои похороны, включая вклады и страховки? Если да, то сколько уже удалось отложить?
2. Р: Еще, может, сберкнижку, номер дать сберкнижки?
3. И: Не желаете здесь отвечать?
4. Р: Конечно, такой вопрос... для каждого будет провоцирующий.

Интервьюер осознает остроту реакции респондента и осторожно выходит на безопасный островок — озвучивает респонденту его право не отвечать, используя подтверждающий вопрос («да?»), реплика 3). Маленькое «да» создает у респондента ощущение согласия и понимания, ставит интервьюера на сторону респондента. Она соглашается не отвечать и называет причину — «провоцирующий вопрос» (реплика 4), более того, пытается оправдаться, что это «каждого будет» задевать. Интервьюер сняла напряжение, получив обоснованный отказ от ответа, а не прерванное интервью.

Иногда ремонт неответа производится превентивно, например, перед сензитивными или сложными вопросами. Такие формулировки могут быть внесены в инструментарий, но чаще всего интервьюеры используют их самостоятельно, исходя из своего опыта. Во Фрагменте 7 интервьюер почувствовала негатив, который нарастает у респондента, что связано с блоком однотипных и не самых интересных вопросов (реплика 1). К этому моменту респондент стал сухо и безучастно отвечать, не дает комментарии (реплика 2), видимо, у интервьюера возникло ощущение, что тот может прервать затянувшийся разговор. Интервьюер просит респондента не класть трубку, сообщая, что анкета подходит к концу и осталось совсем немного (реплика 3). Такая игра на опережение позволяет избежать возможного срыва коммуникации, снизить риски того, что интервью будет пройдено не полностью. Фактически любой ремонт неответа — это отход от стандартизации, отклонение от формального разговора. Опытный интервьюер, чувствуя напряжение в коммуникации, отходит от анкеты, привносит в нее дополнительные реплики, что помогает ему отремонтировать возникшие сбои.

Фрагмент 7 (женщина, 40 лет — интервьюер, женщина, 55 лет — респондент)

1. И: Пришлось ли Вам за последние два-три года использовать помощь родственников, близких для поддержания материального положения, для выживания?
Да, нет?
2. Р: Да.
3. И: Пожалуйста, не кладите трубку, мы уже заканчиваем, осталось буквально немножко.
4. Р: Хорошо.

Оценка адекватности ответа — основная сквозная техника получения информации посредством запоминания интервьюером сказанного ранее, считая ответ на вопрос не отдельным независимым событием, а одним из событий, описывающих респондента и его личность. Это включает рефлексивную позицию интервьюера, делает его не просто попугаем, повторяющим написанное в анкете, не машиной по задаванию вопросов, а таким же участником коммуникации, как и респондент. Возвращение к тому, что уже было сказано респондентом, позволяет интервьюеру анализировать разговор в реальном времени, замечать нестыковки, логические противоречия, элементы непоследовательности. Пример такой техники приведен во Фрагменте 8: респондент не очень внимательно слушает вопросы, но спокойно и подробно рассказывает про себя. Из разговора ранее стало понятно, что она живет вдвоем с мужем, находится на пенсии, муж работает. Но на вопрос о том, сколько человек, включая респондента, проживают вместе с ней, она отвечает «один» (реплика 2). Формально ответ получен, вопрос задан так, как написан в анкете, респондент сразу на него ответила, можно переходить к следующему вопросу. Но интервьюер помнит, что говорила респондент ранее, и понимает, что она не до конца поняла вопрос, поэтому проясняет ситуацию (реплика 3). Позже на вопрос о том, есть ли у респондента члены семьи, требующие постоянного ухода (ранее была оговорка, что речь будет идти только о людях, проживающих вместе с респондентом), та назвала внучку (реплика 7). Вновь интервьюер уточняет

ответ, несмотря на то, что он был произнесен уверенным тоном, что позволяет скорректировать допущенную респондентом ошибку.

Фрагмент 8 (женщина, 40 лет — интервьюер, женщина, 55 лет — респондент)

1. И: Сколько человек, включая Вас, проживают вместе с Вами и ведут совместное хозяйство?
2. Р: Один.
3. И: То есть... кроме вас еще один, да?
4. Р: Да, да, да.
5. ...
6. И: Есть ли в Вашей семье кто-то, требующий постоянного ухода, постоянной помощи?
7. Р: Внучка
8. И: Так вы сказали, вы живете вдвоем с мужем...
9. Р: Ну внучка живет у дочери, мы им помогаем
10. И: Но она живет отдельно, а мы рассматриваем только Вашу семью, это Вы и Ваш муж. Есть кто-нибудь, кто требует постоянной помощи?
11. Р: Нет.

Другой респондент в вопросе об источниках существования (Фрагмент 9) забывает указать работу (реплика 2), хотя, судя по разговору ранее, эта ситуация маловероятна. Интервьюер повторяет названные варианты ответа и переспрашивает, работает ли кто-либо (реплика 3). Респондент отвечает, что она работает, чего мы не узнали бы, не задай интервьюер уточняющий вопрос.

Фрагмент 9 (мужчина — интервьюер, женщина, 51 год — респондент)

1. И: Скажите, пожалуйста, какие источники существования имеются в Вашем домохозяйстве — работа, подсобное хозяйство, пенсия, пособия, стипендия, помощь других лиц, алименты или какие-то другие источники?
2. Р: Пенсия, подсобное хозяйство.
3. И: Пенсия, подсобное хозяйство (пауза)... получается, никто не работает?
4. Р: (пауза) Я работаю.

В целом техника адекватного оценивания ответа — то, что делает интервьюера живым участником коммуникации. Неверные, неполные ответы на не до конца услышанные вопросы случаются в стандартизированном интервью, и если они не нарушают внутренней логики анкеты, то единственная возможность заметить отклонения от опросного задания — рефлексивная позиция интервьюера. Она противоречит жесткой речевой стандартизации, легитимирует отход от анкеты, дополнительные вопросы, уточнения. Важно, чтобы интервьюер не злоупотреблял данной техникой, не наводил респондента на ответы и не смещал их, поэтому необходима правильная подготовка инструментария и готовность аналитиков-контролеров оценивать работу интервьюера исходя из здравого смысла, а не формальной логики.

Сохранение (неформальности) разговора

Интервью — это диалог, в котором участники не только обмениваются репликами, но и испытывают целую палитру чувств, оценивают друг друга. Крайне важно, чтобы респондент чувствовал себя комфортно, чтобы вмешательство в его

повседневность было этичным и вежливым, чтобы он включился в стандартизированные правила. В свою очередь, от интервьюера требуется отзывчивость и сопричастность [23. Р. 2], которые зависят от того, сможет ли интервьюер по ходу интервью, а обычно это происходит на первых минутах, выстроить с респондентом эмпатические отношения. Успешные интервьюеры реализуют ряд техник (рис. 2), чтобы выполнить эту задачу: сама эмпатия и симпатия к респонденту [11]; совместный смех, имеющий множество функций [8; 24]; речевая синхронизация, приемы отзеркаливания; вежливое завершение интервью, оставляющее положительное впечатление от взаимодействия [2].

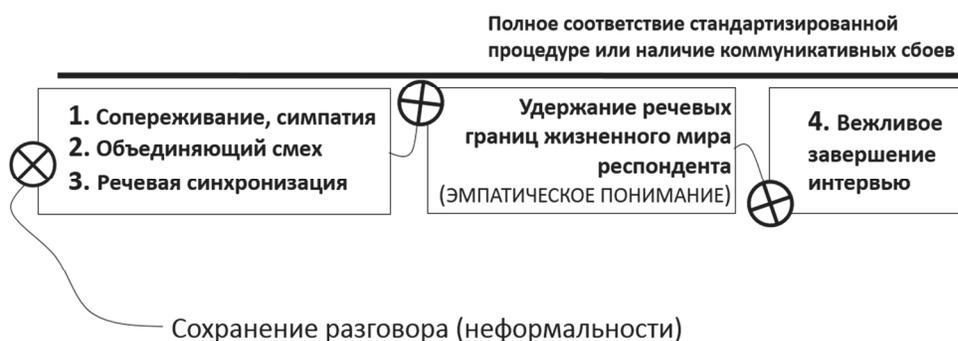


Рис. 2. Техники построения эмпатических отношений

Сопереживание, симпатия, попытка представить себя на месте другого человека — частый прием профессиональных интервьюеров и ключевой элемент успешного взаимодействия в любой коммуникации, направленной на получение информации от незнакомых людей. Встать на позицию другого, разделить его переживания, понять его затруднения, поддержать его словами — все это создает неформальную атмосферу разговора, показывает, что интервьюеру не все равно, ему важно то, что говорит респондент. Например, сензитивный вопрос о качестве интимной жизни (реплика 1, фрагмент 10) ставит респондента в неловкую ситуацию, и она использует формулировки «отличной нельзя назвать», «шибко хорошо», как бы уходя от однозначной оценки, ища одобрения интервьюера, и в итоге находит выход — оценивает свою личную жизнь «хорошо» по совсем другим основаниям — счастью в детях (реплика 2). Наличие детей и счастливое материнство как бы оправдывают личную неудачу, компенсируют ее. Интервьюер тут же подхватывает тему, развивает ее, говоря, что есть внуки и скоро будут и правнуки (реплика 3), настраивая респондента на оптимистичный лад. Респондент соглашается (реплика 4), остается в социально одобряемой позиции, что главное в жизни женщины — не личное счастье, а дети, и интервью продолжается в позитивном ключе (реплика 5).

Фрагмент 10 (женщина, 55 лет — интервьюер, женщина, 65 лет — респондент)

1. И: Оцените, пожалуйста, в целом, как сложилась Ваша интимная жизнь: отлично, хорошо, удовлетворительно или плохо?
2. Р: Ну отличной нельзя назвать, шибко хорошо? Мне бог дал счастья в моих детях. Ну, значит, хорошо!

3. И: Да! И внуки теперь, а там и правнуки скоро!
4. Р: Да.
5. И: Или есть уже правнуки? (смеется)
6. Р: Нет, нет еще.
7. И: Ну-у, скоро будут!

Во Фрагменте 11 аналогичная ситуация возникла при вопросе о занятии спортом (реплика 1). Респондент не отвечает на вопрос и, как становится понятно из дальнейшего диалога, не отвечает потому, что ей не хочется признаваться, что она им не занимается. Женщина неоднократно пытается уйти от ответа, приводя в пример другие виды физической активности, как бы компенсируя ими отсутствие спорта (реплики 2, 4). Интервьюер чувствует это, позволяет респонденту сохранить лицо, мягко и доброжелательно возвращает ее к вопросу (реплика 3), говорит «я вас понимаю», что создает ощущение безопасности и поддержки, снимает страх признания в том, что респондент не заботится о здоровье. Интервьюер объясняет, что «причины» они смогут зафиксировать в другом вопросе, что эти данные тоже важны и потеряны не будут (реплика 5). В итоге интервьюер получает несмещенный ответ на вопрос (реплика 6), выражает респонденту симпатию и уважение, проявляет тактичность и терпение.

Фрагмент 11 (женщина, 46 лет — интервьюер, женщина, 66 лет — респондент)

1. И: Скажите, пожалуйста, делаете ли Вы хотя бы несколько раз в неделю зарядку, занимаетесь ли спортом?
2. Р: Вот только в огород, а зимой гуляем.
3. И: Вот смотрите, у меня варианты ответа: первый — да, второй — нет или затрудняюсь ответить. Вопрос — хотя бы...
4. Р: Ну, я занимаюсь, когда есть огород. Я там все в огороде.
5. И: Вот я вас понимаю, но об этом следующий вопрос, про огород. А вот про зарядку или спорт как можете ответить — да, нет?
6. Р: Ничем не занимаюсь, ходим с подружкой.

Объединяющий смех — универсальная техника сближения с респондентом. Смех в диалогичном общении используется очень часто и с разными целями, мы имеем в виду взаимный смех, который объединяет респондента и интервьюера, независимо от того, кем он был инициирован. В приведенном ниже примере создается дружественная атмосфера понимания, интервьюер и респондент общаются, как старые знакомые, понимают друг друга и смеются вместе (реплики 7, 8).

Фрагмент 12 (женщина, 62 года — интервьюер, женщина, 55 лет — респондент)

1. И: Какая примерно часть суммарного дохода домохозяйства была потрачена на питание в прошлом месяце — менее трети, от трети до половины, примерно половина, от половины до двух третей или более двух третей?
2. Р: Ой, я даже не знаю... Ну... Как это оценить...
3. ...
4. И: Не можете назвать, не анализировали никогда?
5. Р: Не, я никогда так не анализировала. То одно, то другое.
5. И: По кучкам не раскладывали?
6. Р: Нет, не получается у меня по кучкам раскладывать (смех).
7. И: Поняла вас (смех).

Смех — звуковая вставка в речь, обозначающая состояние респондента, его отношение к сказанному [6. С. 287]. Техника объединяющего смеха в телефонном интервью актуализируется чаще всего как ответ на запрос респондента, когда он начинает смеяться или улыбаться первым, например, пытаясь скомпенсировать напряжение в коммуникации или объяснить, почему не может ответить на вопрос. Крайне важно, чтобы объединяющий смех не уводил ситуацию интервью в панибратское и неофициальное общение, интервьюеру необходимо не забывать о том, зачем он говорит с человеком, каким бы близким, знакомым и понятным он ему не казался.

Речевая синхронизация — прием проявления уважения к респонденту посредством подстраивания под него с точки зрения вербального и невербального общения: интервьюер как бы отзеркаливает поведение респондента. У людей разная степень восприятия устной речи, разный уровень образования, разная осведомленность о вещах, о которых идет речь в интервью. Более того, можно говорить о разных когнитивных особенностях, поскольку метод телефонного интервью позволяет достигать разные исследуемые группы, например, инвалидов, людей «четвертого» возраста и т.д. Самая простая иллюстрация речевой синхронизации — когда интервьюер замедляет речь, громко и отчетливо произносит слова в разговоре с пожилыми людьми. В идеале интервьюер должен обладать разными «регистрами» общения, уметь проводить интервью разной степени интенсивности, грамотно владеть темпом речи, уметь изменять синтагматическое и паузальное членение предложений.

Пример речевой синхронизации — подстройка интервьюера под молодого и очень удобного респондента. Мужчина четко, по делу, с полным пониманием ситуации дает ответы, выбирая из предложенных закрытий, не отвлекаясь, не уводя разговор в другое русло. Очевидно, что ситуация интервью для него понятна, восприятие на слух вопросов анкеты, даже самых сложных и длинных, не составляет труда, он являет собой тип «идеального» респондента. Интервьюер сразу понимает это и подстраивается под такой стиль разговора, не давая респонденту лишней информации, экономя его время и усилия. Она работает в режиме формального прочтения анкеты, делает это грамотно, спокойно и уверенно, говорит доброжелательным и участливым голосом, как бы невербально поддерживая и одобряя респондента. Некоторый отход от формальной беседы случается на однообразном и длинном табличном вопросе, и респондент позволяет себе «вольность», которой не было ранее, — кратко аргументирует свой ответ (реплика 4). Интервьюер это замечает, но не хочет ломать стройность беседы, потому таким же уверенным тоном задает следующий вопрос (реплика 5). На него респондент дает уже размытый ответ, не попадающий в закрытия (реплика 6). Это подтверждает, что даже самый «идеальный» и беспроблемный респондент не может не отклониться от логики анкеты. Интервьюер тут же возвращает респондента в рамки анкеты, перечислив ему закрытия (реплика 7).

Фрагмент 13 (женщина — интервьюер, мужчина, 20 лет — респондент)

1. И: А как Вы оцениваете — хорошо, удовлетворительно или плохо — следующие стороны своей жизни: питание?

2. Р: Ммм, хорошее... (далее следуют пять аналогичных вопросов)
3. И: Экологическая ситуация в том месте, где вы живете?
4. Р: Хорошая, природа.
5. И: Возможность выражать свои политические взгляды?
6. Р: Ну с этим не особо...
7. И: Хорошо, удовлетворительно или плохо?
8. Р: Ну... удовлетворительно.

Речевая синхронизация интервьюера с респондентом — важный навык, в приведенном фрагменте интервьюер грамотно и правильно оценила респондента, то, как наиболее комфортно и функционально провести с ним интервью. Такая ситуация — скорее исключение из правил, идеальный случай формального и стандартизированного телефонного интервью, который редко встречается на практике.

Вежливое завершение интервью — один из важнейших навыков, позволяющих интервьюеру подвести черту, подготовить респондента к прекращению беседы [10]. Эмпатические взаимоотношения позволяют завершить разговор наиболее комфортным и безболезненным способом [25. Р. 161—174].

К сожалению, часто интервьюеры игнорируют важность последних минут, хотя именно они придают разговору законченность [2]. Грамотное и корректное завершение интервью — одна из ведущих техник выстраивания эмпатических отношений между интервьюером и респондентом, один из маркеров профессионализма интервьюера. На момент прощания цель сбора данных уже достигнута, анкета закончена и отправлена в обработку. Интервьюер знает, что интервью уже засчитано для него как результативное, его работа выполнена. То, как будет происходить прощание, показывает человеческие качества интервьюера.

Приведем пример прекрасного завершения стандартизированного интервью, которое заняло около минуты. Респондент, женщина 85 лет, на протяжении разговора была несколько тревожна, поскольку данный формат общения для нее непривычен. Интервьюер с применением техники речевой синхронизации проводила интервью, замедлив свою речь, что увеличило продолжительность разговора, но необходимо осознавать ценность и редкость телефонного интервью со столь пожилым человеком, ведь часто данная возрастная группа выпадает из опроса. Когда анкета подошла к концу, интервьюер объяснила, что задала все необходимые вопросы, поблагодарила респондента за участие, отметила важность происходящего, объяснила, зачем это нужно (реплика 1). Респондент с облегчением обрадовалась (реплика 2), интервьюер еще раз поблагодарила и обозначила ценность мнения респондента (реплика 3). Далее последовало еще три обмена схожими репликами, пока интервьюер не поняла, что респондент готова закончить разговор. Наконец, звучат прощальные слова, оба участника коммуникации остаются крайне довольны друг другом.

Фрагмент 14 (женщина — интервьюер, женщина, 85 лет — респондент)

1. И: Тааак, Нина Трофимовна, это были все вопросы. Спасибо большое за участие в нашем исследовании. Вы нам очень помогли. Ваше мнение очень важно для нас. Мы интересуемся о том, как проживают пожилые люди, вот какой образ жизни ведут.

2. Р: Слава богу!
3. И: Ваше мнение очень ценно для нас, спасибо большое!
4. Р: Спасибо большоооооо!
5. И: Хорошего вам дня!
6. Р: Спасибо большое Президенту, я его обожаю и люблю!
7. И: Очень приятно было с вами пообщаться! Спасибо вам большое за ваши ответы! Всего доброго! До свидания!
8. Р: До свидания!

Приведем другой, менее типичный пример корректного и неторопливого завершения интервью: после почти получасового разговора интервьюер корректно попрощалась с мужчиной (реплика 1). Видимо, во время интервью были установлены сильные эмпатические связи, и мужчина захотел продолжить общение (реплика 2). Интервьюер не стала обрывать разговор, а спросила респондента, о чем он хочет поговорить (реплика 3). Оказалось, что респонденту хочется побеседовать про жизнь (реплика 4), и интервьюер вежливо попыталась еще раз завершить разговор, объяснив необходимостью продолжить работу (реплика 5). Тут респондент неожиданно позвал интервьюера к себе в гости (реплика 6). Такое предложение застало интервьюера врасплох, она лишь удивленно произнесла «Да?» (реплика 7). После этого связь оборвалась, и мы не можем достоверно узнать, что произошло. Если поставить точку до обрыва разговора, то поведение интервьюера вопросов не вызывает, и те коммуникативные техники, которые она использовала, говорят о ее человеческом отношении к респонденту.

Фрагмент 15 (женщина — интервьюер, мужчина, 53 года — респондент)

1. И: (27 минута интервью) Это были все вопросы в нашем анкетировании, спасибо большое за участие. Спасибо за уделенное время. Всего Вам доброго, до свидания!
2. Р: (смех) Давайте еще поговорим о чем-нибудь?
3. И: А о чем вы хотите еще поговорить?
4. Р: Ну просто про жизнь...
5. И: К сожалению, наша анкета закончилась. Я вынуждена ... дальше продолжать опрос.
6. Р: (пауза) Приезжайте ко мне в Домодедово!
7. И: Да?

Если же допустить, что интервьюер положила трубку, то оценка ее поведения не столь однозначна. Очевидно, что респондент не простой, интервью с ним длилось намного дольше обычного. Интервьюер устала от постоянного напряжения и необходимости вежливо и участливо отвечать на сложные встречные вопросы, которые порой ломают логику взаимодействия. Потому гипотетический обрыв коммуникации по ее воле после двукратного прощания вполне понятен. Фактически интервьюер сообщила о намерении прервать разговор, дала объяснение этому (реплики 1, 5), но после нестандартной реакции респондента (реплика 6) немного растерялась. Идеальным завершением такого интервью была бы резюмирующая фраза интервьюера.

Не всегда у интервьюеров хватает терпения и уважения, чтобы выполнить свою работу этично и качественно, как это сделали интервьюеры, поведение

которых описано выше. Именно такие интервьюеры, готовые поддерживать, слушающие и оценивающие ответы и аргументацию респондентов, должны входить в постоянный штат опросных организаций, особенно в исследованиях по сензитивной тематике, когда у респондентов возникают страхи и эмоциональные переживания [21. Р. 125]: «короткая „итоговая“ беседа — правильное завершение интервью».

Стандартизация интервью

Третья плоскость взаимодействия во время стандартизированного интервью — опосредованная коммуникация респондента и исследователя. Посредником выступает интервьюер, который как бы берет на себя функцию коммуникативного толкователя, переводчика концептуального языка на разговорный, бытовой. Если абстрагироваться от анкеты, очевидно, что каждое интервью — лишь один из многих случаев, составляющих базу данных, конструирующую некоторую общность. Замысел исследования, то, как будет анализироваться и храниться полученная информация, на что она может повлиять — это то, что респондент имеет право знать [29; 37; 43]. По сути, это его информированное согласие на участие в исследовании, раскрытие информации о себе, «явная или неявная договоренность с респондентом об участии в опросе после его ознакомления с характером и задачами исследования» [44. Р. 7—11]. Исследование должно, насколько это возможно, быть основано на свободном получении информированного согласия от субъектов, которые обеспечены адекватной информацией о том, что будет происходить, об ограничениях и рисках своего участия в исследовании [43. Р. 279]. Понятие, первоначально возникшее и все еще активно и обсуждаемое в медицине [14; 15; 22; 28] — информированное согласие — не менее важно и в социальных исследованиях. Ответственность за правильное его получение лежит на всех участниках опросной процедуры: исследователе, проектировщике выборки, интервьюере.

Конструирование информированного согласия должно происходить на протяжении всего интервью, а не только на вступительной фразе. Во-первых, респондент, даже подписав информированное согласие, не может представить все детали предстоящего интервью, и наличие согласия еще не гарантирует его завершения [43. Р. 287], поэтому от интервьюера требуется возвращаться к объяснению и уточнению первоначально проговоренных условий, правил и последствий беседы. Во-вторых, длительная и перегруженная вступительная фраза может привести к сбою в коммуникации вплоть до отказа от участия. В начале интервью основная задача заключается в том, чтобы наладить диалог с респондентом, а далее в ходе интервью необходимо предоставлять требуемую информацию в ответ на его запрос, что позволит «сохранять коммуникативное равновесие в разговоре — готовность не только спрашивать, но и отвечать» [1. С. 30].

Техники, позволяющие сконструировать информированное согласие (рис. 3), — это объяснение правил и процедуры опроса, предоставление информации об исследовании в широком смысле, ответы на вопросы респондента, обозначение важности и статусности исследования.



Рис. 3. Техники конструирования информированного согласия

Объяснение правил и процедуры телефонного опроса особенно результативно с теми респондентами, которые не понимают формат стандартизированного диалога [42]. Для них интервьюер — чужак, разговаривающий на непонятном языке, пришедший с непонятными целями, требующий внимания и участия в своем непонятном предприятии. Зачастую это люди старшей возрастной группы, готовые помочь, но не понимающие, как это сделать, или же люди, которые не сталкивались со стандартизированным интервью или представляли его иначе. Так, женщина 60 лет настроена на общение, доброжелательна, но ситуация вызывает у нее недоумение: услышав цель исследования, она сетует, что обычно такие опросы по телефону не проводятся (реплика 3), но откуда у нее такие сведения, не сообщает. Интервьюер встает в позицию эксперта и уверенным тоном заявляет, что дело обстоит иначе (реплика 3). Респондент не находит, что возразить, и соглашается, но решает установить свои правила. Она спрашивает, может ли она не отвечать на вопрос, который ее не устроит (реплика 4), на что интервьюер отвечает утвердительно.

Фрагмент 16 (женщина — интервьюер, женщина, 60 лет — респондент)

1. Цель исследования — анализ благосостояния населения в связи с кризисом. Вы согласны?
2. Р: Странно, обычно по телефону такие опросы не проводятся.
3. И: Ну почему же, очень даже проводятся. Очень много проводится опросов по телефону. В том числе и такие (пауза).
4. Р: Ну хорошо, вопрос, который меня совсем не устроит, я могу на него не отвечать?
5. И: Ну конечно (пауза), конечно.

Часто вопросы с большим количеством закрытий вызывают коммуникативные сбои в телефонном интервью, потому что респондент понимает, что большая часть закрытий к нему не относится и перебивает интервьюера, сразу озвучивая ответ. Вопрос про транспорт вызывает именно такую реакцию у респондента: в их семье нет транспорта, поэтому она сразу отвечает «нет!» (реплика 2), не дослушав вопрос до конца. Интервьюер извиняется и вежливо отвечает, что обязана дочитать вопрос (реплика 3). Она объясняет правила телефонного опроса, сообщает, что

есть инструкция, которой она вынуждена придерживаться, но демонстрирует уважение к собеседнику, показывает, что слышит его. Дело в том, что, поторопившись, респондент может дать ошибочный ответ, не поймет вопрос до конца, не услышит закрытий, которые окажутся релевантными. Такое объяснение правил и процедуры опроса занимает немного времени, но создает ощущение диалога, показывает значимость реплик респондента для интервьюера, снимает возможный коммуникативный сбой и взаимное недовольство.

Фрагмент 17 (женщина, 54 года — интервьюер, женщина, 60 лет — респондент)

1. И: Скажите, какой вид личного транспорта есть в Вашем домохозяйстве — легковой автомобиль иностранной марки, легковой автомобиль отечественной марки...
2. Р: Нет.
3. И: Мотоцикл... Я, извините, дочитаю, обязана по инструкции.
4. Р: Ага.
5. И: Мотороллер, моторная лодка или другое транспортное средство, грузовой автомобиль, трактор? Или нет никакого транспорта?
6. Р: Нет.

Информация об исследовании — четких требований, какую информацию необходимо предоставить респонденту, нет. В целом принято называть заказчика (спонсора) и опросную организацию, принцип анонимности, способ анализа и использования данных, цель, тематику и длительность разговора, способ отбора респондента. Не всегда респонденты могут сформулировать запрос на эти данные, предпочитая отказаться от участия в опросе.

Интервьюер, владеющий техникой предоставления правильной и релевантной информации об исследовании, распознает такие ситуации и преобразовывает их в согласие. В ситуации ниже респондент испугалась дать ответ на сензитивный вопрос о составе домохозяйства. Женщине 84 года, она отказывается называть тех, кто с ней проживает (реплики 2, 4). Интервьюер пытается помочь респонденту ответить (реплика 3), но женщина хочет прекратить взаимодействие, сетуя, что она — человек не интересный (реплика 6). Интервьюер замечает напряжение в общении, дважды повторяет «очень» и «зря вы так», понимает, что нужно внести в разговор ясность, снять напряжение (реплика 7), предоставить респонденту информацию об исследовании. Респондент не выдерживает и задает вопрос, который, видимо, ее волновал уже некоторое время: есть ли у звонящих ее адрес (реплики 8, 12) и какие могут быть последствия (реплика 10). Интервьюер развернуто объясняет процедуру опроса, анонимность, особенности отбора респондентов и представления результатов (реплики 13, 15, 21, 23, 27). Этот разговор занимает более трех минут, но позволяет интервьюеру развеять сомнения респондента, получить действительно информированное и добровольное согласие.

Фрагмент 18 (женщина — интервьюер, женщина, 84 года — респондент)

1. И: Скажите, пожалуйста, кем они Вам приходятся?
2. Р: (молчит)
3. И: Ну, это племянники, внуки, кто это...?
4. Р: Нет, просто очень хорошие знакомые.

5. И: Угу.
6. Р: Я думаю, что это, наверное, не очень интересный человек... я.
7. И: Почему? Очень даже интересный, очень. Зря вы так думаете. Зря вы так думаете. Будет еще целый ряд вопросов, мы ничего личного не спрашиваем...
8. Р: Я что хочу сказать, это ведь мой адрес у вас?
9. И: Нет. Откуда...
10. Р: Это никаких последствий, никаких...
11. И: Абсолютно ничего не будет...
12. Р: Никаких прописки, не прописки, ничего нет?
13. И: Нет, нет, нет, ничего ни спрашивать будем, ни проверять ничего. Мы вообще не знаем, куда звоним, поэтому и спрашиваем. Мы звоним вообще по всей России...
14. Р: Но у вас же телефон записывается?
15. И: Нет, это все не сохраняется.
16. Р: Вот вы позвонили, случайно набрали.
17. И: Да.
18. Р: И он больше не повтóрится.
19. И: Нет, больше не повторится.
20. Р: Ну, да, извините, я не так сказала...
21. И: Ничего, ничего, не волнуйтесь. Ничего не сохраняется, все ответы Ваши, как и ответы других участников, будут использованы только в обобщенном виде.
22. Р: Ну понятно...
23. И: После статистической обработки по возрастам, по регионам и т.д. и т.п. Конкретного адреса вашего нигде не будет указано.
24. Р: Прекрасно, прекрасно.
25. И: Никто этого и не спрашивает, и не знает.
26. Р: Прекрасно, прекрасно. Но вот видите, раз Вы знаете телефон, Вы позвонили, Вы телефон записали. Значит...
27. И: Нет, мы не знаем, куда мы позвонили. Мы позвонили, открылась анкета, мы начинаем беседовать и все. У нас компьютер набирает телефон случайным образом, а мы просто беседуем с людьми. И все, и больше ничего...
28. Р: Понятно.

Ответ на вопросы респондента. Часто вопросы анкеты вызывают у респондентов встречные вопросы, например, как отвечать, зачем это нужно, кто это придумал. Задача интервьюера — ответить на вопросы, хоть это будет временной сменой ролей. Важно, чтобы интервьюер был морально готов оказаться в роли отвечающего, с чем бывают сложности у неопытных интервьюеров, а также знал, как ответить на вопрос. Для этого составителям анкеты необходимо объяснять не только каждый вопрос, но и замысел исследования.

Вопрос о возрасте респондента в начале интервью (реплика 1) актуализировал информированное согласие, и респондент спрашивает, зачем у него это спрашивают (реплика 2). Интервьюер начинает объяснять, почему в данном исследовании необходимо узнавать возраст (реплика 3), что есть разные возрастные группы. Она продолжает говорить, пока ее не перебивает респондент, получивший достаточно информации.

Фрагмент 19 (женщина, 63 года — интервьюер, женщина, 65 лет — респондент)

1. И: Скажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет?
2. Р: А зачем Вам это?
3. И: Мы проводим определенных возрастных групп опросы, обобщаем данные по возрастным группам, поэтому спрашиваем возраст. Эта информация ни...
4. Р: ...шестьдесят...

Иногда вопросы респондентов возникают в момент пауз, например, когда интервьюер вносит в базу ответ на открытый вопрос. Это происходит, чтобы заполнить перерыв в разговоре и прервать неуютную тишину. Так, интервьюер записывала ответ на вопрос о болезнях, которые мешают респонденту, в разговоре повисла пауза и респондент предположил, что интервьюеру с ним неинтересно беседовать (реплика 6). Интервьюер предупредила, что ей нужно записать ответ (реплика 5), но респондент не поняла, почему вдруг темп разговора изменился. Интервьюер тут же реагирует на реплику и объясняет, пусть и не очень гладко и связно (вероятно, она все еще фиксировала ответ), что ей наоборот нравятся люди в возрасте, имеющие жизненный опыт, с которыми интересно поговорить (реплика 9). Во время интервью респондентам необходимо получать обратную связь о том, как они справляются с возложенной на них ролью. Реакция, которую респондент получает на свой ответ, влияет на его дальнейшее поведение [31. Р. 255—256], поэтому важно, чтобы интервьюер мог дать аргументированный ответ.

Фрагмент 20 (женщина, 53 года — интервьюер, женщина, 72 года — респондент)

1. И: А есть ли у Вас болезни, которые мешают, сильно мешают? Если да, то какие?
2. Р: Гипертония, злостная гипертония.
3. И: Только гипертония или еще что-то?
4. Р: Ааа, ишемическая болезнь сосудов головного мозга, ну это все тоже к гипертонии относится. И ишемия сердца, конечно.
5. И: (пауза) Так, сейчас, запишу это (пауза)
6. Р: Даже не интересно со мной беседовать, да?
7. И: Почемууу?
8. Р: Да... такие болячки
9. И: Ну... это все... не скажу интересно... Наоборот, мне очень люди... вот такие... возрастные нравятся, от них можно столько... интересный... собеседник.

Статусность исследования: сообщение, что именно данный респондент нужен для исследования, повышает не только статус опроса, но и статус респондента. Часто техника повышения статуса опроса используется в момент уговора на участие в нем. Ниже респондент не отказывается от участия, но высказывает сомнение и спрашивает о длительности опроса (реплика 4). Эта фраза — сигнал для интервьюера, что категорического отказа нет, что респондент идет на диалог. Интервьюер принимает единственно правильное решение — пытается уговорить пройти опрос. В этой же фразе интервьюер поднимает статус интервью, подчеркивая важность взаимодействия, что все ответы будут учтены и проанализированы в обобщенном виде.

Фрагмент 21 (женщина, 54 года — интервьюер, женщина, 60 лет — респондент)

1. И: Здравствуйте!
2. Р: Здравствуйте!

3. И: Вам удобно говорить? Мы проводим опрос об уровне жизни и здоровье людей. Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы. Мы опрашиваем граждан России от 18 лет и старше. Вы найдете время поучаствовать в нашем опросе?
4. Р: Ой, не знаю. Длинный опрос?
5. И: Ну минут 15. Было бы очень, конечно, хорошо, если бы Вы смогли поучаствовать в нашем исследовании. Все данные будут конфиденциальны и проанализированы в обобщенном виде все ответы учтены. Участвуете? Поможете в нашем исследовании?
6. Р: Ну, да.
7. И: Спасибо вам большое!

Техники конструирования информированного согласия помогают интервьюерам успешно решать разные задачи: при информированности собеседника вероятность успеха коммуникации повышается; описание особенностей и важности исследования создает контекст для разговора, помогает респонденту более осознанно и ответственно подходить к роли отвечающего; соблюдается этическое требование к раскрытию информации об исследовании.

Долгие годы приемы вопрошания воспринимались как искусство. Среди методистов наибольшей популярностью пользовалась книга С. Пейна «Искусство задавания вопросов» [36], где рассматривались наиболее сложные жизненные ситуации для обсуждения в стандартизированном интервью. Лишь в 2003 году Н. Шеффер и С. Прессер опубликовали большую обзорную статью «Наука задавания вопросов» [41], которую представили как ответ Пэйну по итогам десятилетних наблюдений за опросной коммуникацией. Однако ни эта, ни последующие публикации не смогли изменить трактовку вопрошания как искусства, рационально объяснить приемы которого невозможно.

Когда речь идет о живом взаимодействии с респондентом даже опытного интервьюера, не всегда анкета идет намеченным маршрутом — возникают сбои и недоразумения. Именно в таких ситуациях проявляется мастерство полевого интервьюера, позволяющее осуществлять ремонт коммуникации. Успешность интервью сегодня не измеряется лишь полностью заполненной анкетой, важна и релевантность ответов, и информированное согласие на участие, и положительный эмоциональный шлейф. Для этого интервьюеру не требуются сверхъестественные таланты — достаточно адекватно и дружелюбно, качественно и заинтересованно делать свою работу, по-человечески относиться к собеседникам. Однако при всей простоте максим эффективной коммуникации выполнение их связано с рядом трудностей и требует серьезной подготовки.

Библиографический список / References

- [1] *Ипатова А.А., Рогозин Д.М.* Эффективное стандартизированное интервью // Социологический журнал. 2014. № 1 / Ipatova A.A., Rogozin D.M. Effektivnoe standartizirovannoe intervyyu [Communicative success in the structured telephone interview]. *Sotsiologicheskyy Zhurnal*. 2014; 1 (In Russ.).

- [2] *Ипатова А.А.* Как правильно завершить телефонное интервью // Социологический журнал. 2012. № 4 / *Ipatova A.A.* *Kak pravilno zavershit telefonnoe intervyyu* [How to end a telephone interview]. *Sotsiologicheskyy Zhurnal*. 2012; 4 (In Russ.).
- [3] *Ноэль Э.* Массовые опросы: введение в методику демоскопии / Пер с нем. М.И. Зайцевой, Л.Н. Крючковой; общ. ред., вступ. и закл. ст. Н.С. Мансурова. М.: Изд-во «Ава-Экстра», 1993 / *Noelle E.* *Massovyye oprosy: vvedenie v metodiku demoskopii* [Mass Survey: Introduction to the Methods of Demoscopy]. Per. s nem. M.I. Zaitseva, L.N. Kryuchkova; obsch. red., vstupid. i zakl. st. N.S. Mansurova. Moscow: “Ava-Extra”; 1993 (In Russ.).
- [4] *Панина Н.В.* Технология социологического исследования. Киев: Институт социологии НАН Украины, 2001 / *Panina N.V.* *Tekhnologiya sotsiologicheskogo issledovaniya* [Technology of Sociological Research]. Kiev: Institut sotsiologii NAN Ukrainy; 2001 (In Russ.).
- [5] *Рогозин Д.* В тени опросов, или будни полевого интервьюера. М.: Изд-во «Страна ОЗ», 2017 / *Rogozin D.* *V teni oprosov, ili budni polevogo intervyyuera* [In the Shadow of Surveys, or Weekdays of the Field Interviewer]. Moscow: “Strana OZ”; 2017 (In Russ.).
- [6] *Романова Н.Н., Филиппов А.А.* Культура речевого общения: этика, прагматика, психология. М.: Флинта; Наука, 2009 / *Romanova N.N., Filippov A.A.* *Kultura rechevogo obshcheniya: etika, pragmatika, psikhologiya* [Culture of Verbal Communication: Ethics, Pragmatics, Psychology]. Moscow: Flinta; Nauka; 2009 (In Russ.).
- [7] *Садмен С., Брэдберн Н.* Как правильно задавать вопросы: введение в проектирование опросного инструмента / Пер. с англ. А.В. Виницкой; под ред. Д.М. Рогозина. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002 / *Sudman S., Bradburn N.* *Kak pravilno zadavat voprosy: vvedenie v proektirovanie oprosnogo instrumenta* [Asking Questions: A Practical Guide to Questionnaire Design]. Per. s angl. A.V. Vinitzskoy; pod red. D.M. Rogozina. Moscow: Institut Fonda “Obshchestvennoe mnenie”; 2002 (In Russ.).
- [8] *Турчик А.В.* Конверсационный анализ смеха в речевом взаимодействии: случай конструирования оценок власти // Социологический журнал. 2010. № 1 / *Turchik A.V.* *Konversatsionny analiz smekha v rechevom vzaimodeistvii: sluchai konstruirovaniya otsenok vlasti* [Conversational analysis of laughter in verbal interaction: A case of assessing the authorities]. *Sotsiologicheskyy Zhurnal*. 2010; 1 (In Russ.).
- [9] AAPOR Report: Current knowledge and considerations regarding survey refusals. <https://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/Survey-Refusals.aspx>.
- [10] *Bakken D.* Saying goodbye: An observational study of parting rituals. *Man-Environment Systems*. 1977; 7.
- [11] *Bell K., Fahmy E., Gordon D.* Quantitative conversations: The importance of developing rapport in standardized interviewing. *Quality and Quantity*. 1997; 50.
- [12] *Beullens K., Loosveldt G.* Interviewer effects in the European Social Survey. *Survey Research Methods*. 2016; 10 (2).
- [13] *Cheron E., Hayashi H.* The effect of respondents’ nationality and familiarity with a product category on the importance of product attributes in consumer choice: Globalization and the evaluation of domestic and foreign products. *Japanese Psychological Research*. 2001; 43 (4).
- [14] *Chico V., Taylor M.J.* Using and disclosing confidential patient information and the English common law: What are the information requirements of valid consent? *Medical Law Review*. 2018; 26 (1).
- [15] *Chrimes N., Marshall S.D.* The illusion of informed consent. *Anaesthesia*. 2018; 73 (1).
- [16] *Conrad F.G., Schober M.F.* Clarifying question meaning in a household telephone survey. *Public Opinion Quarterly*. 2000; 64.
- [17] *Davis R.E., Couper M.P., Janz N.K. et al.* Interviewer effects in public health surveys. *Health Education Research*. 2010; 25 (1).
- [18] *Dumitrescu D., Martinsson J.* Surveys as a social experience: The lingering effects of survey design choices on respondents’ survey experience and subsequent optimizing behavior. *International Journal of Public Opinion Research*. 2016; 28 (4).

- [19] Fowler F.J. Reducing interviewer-related error through interviewer training, supervision, and other means. *Measurement Error in Surveys*. Ed. by P.P. Biemer, R.M. Groves, L.E. Lyberg, N.A. Mathiowetz, S. Sudman. Hoboken: Wiley; 2004.
- [20] Fowler F.J., Manione T.W. *Standardized Survey Interviewing: Minimizing Interviewer Related Error*. Newbury Park: Sage; 1990.
- [21] Frey H.J., Mertens Oishi S. *How to Conduct Interviews by Telephone*. London: Sage; 1995.
- [22] Frunza A., Sandu A. Values grounding the informed consent in medical practice: Theory and practice. *Sage Open*. 2017; 7 (4).
- [23] Garbarski D., Schaeffer N.C., Dykema J. Interviewing practices, conversational practices, and rapport: Responsiveness and engagement in the survey interview. *Sociological Methodology*. 2016; 46 (1).
- [24] Glenn P. *Laughter in Interaction*. Cambridge: Cambridge University Press; 2003.
- [25] Hargie O., Saunders C., Dickson D. *Social Skills in Interpersonal Communication*. New York: Routledge; 1994.
- [26] Jaecle A., Lynn P., Sinibaldi J., Tipping S. The effect of interviewer experience, attitudes, personality and skills on respondent co-operation with face-to-face surveys. *Survey Research Methods*. 2013; 7 (1).
- [27] Kadan-Lottick N.S., Friedman D.L., Mertens A.C., Whitton J.A., Yasui Y., Strong L.C., Robison L.L. Self-reported family history of cancer: The utility of probing questions. *Epidemiology*. 2003; 14 (6).
- [28] Manson N.C., O'Neill O. *Rethinking Informed Consent in Bioethics*. Cambridge: Cambridge University Press; 2007.
- [29] Marzano M. Informed consent. *SAGE Handbook of Interview Research: The Complexity of the Craft*. Ed. by J.F. Gubrium, J.A. Holstein, A.B. Marvasti, K.D. McKinney. London: Sage; 2012.
- [30] McCollum D.W., Boyle K.J. The effect of respondent experience/knowledge in the elicitation of contingent values: An investigation of convergent validity, procedural invariance and reliability. *Environmental and Resource Economics*. 2005; 30 (1).
- [31] Miller P.V., Cannel C.F. A study of experimental techniques for telephone interviewing. *Public Opinion Quarterly*. 1982; 46 (2).
- [32] Mittereder F., Durow J., West B.T., Kreuter F., Conrad F.G. Interviewer-respondent interactions in conversational and standardized interviewing. *Field Methods*. 2018; 30 (1).
- [33] Moore R.J., Maynard D.W. Achieving understanding in the standardized survey interview: Repair sequences. *Standardization and Tacit Knowledge: Interaction and Practice in the Survey Interview*. Ed. by D.W. Maynard, H. Houtkoop-Steenstra, N.C. Schaeffer, J. van der Zouwen. New York: John Wiley; 2002.
- [34] Nedelec J.L. A multi-level analysis of the effect of interviewer characteristics on survey respondents reports of sensitive topics. *Personality and Individual Differences*. 2017; 107.
- [35] Nemeth R., Luksander A. Strong impact of interviewer on respondents' political choice: Evidence from Hungary. *Field Methods*. 2018; 30 (2).
- [36] Payne S. *The Art of Asking Questions*. Princeton: Princeton University Press; 1951.
- [37] Presser S. Informed consent and confidentiality in survey research. *Public Opinion Quarterly*. 1994; 58 (3).
- [38] Sauer C., Auspurg K., Hinz T., Liebig S. The application of factorial surveys in general population samples: The effects of respondent age and education on response times and response consistency. *Survey Research Methods*. 2011; 5 (3).
- [39] Schaeffer N.C., Maynard D.W. From paradigm to prototype and back again: Interactive aspects of cognitive processing in survey interviews. *Answering Questions: Methodology for Determining Cognitive and Communicative Processes in Survey Research*. Ed. by N.E. Schwarz, S. Sudman. San Francisco: Jossey-Bass; 1996.
- [40] Schaeffer N.C., Maynard D.W. The contemporary standardized survey interview for social research. *Envisioning the Survey Interview of the Future*. Ed. by F.G. Conrad, M.F. Schober. Hoboken: John Wiley; 2008.

- [41] Schaeffer N.C., Presser S. The science of asking questions. *Annual Review of Sociology*. 2003; 29.
- [42] Schober M.F., Conrad F.G., Firecker S.S. Misunderstanding standardized language in research interview. *Applied Cognitive Psychology*. 2004; 18.
- [43] Sin C.H. Seeking informed consent: Reflections on research practice. *Sociology — Journal of British Sociological Association*. 2005; 39 (2).
- [44] Sudman S., Bradburn N.M. *Asking Questions: A Practical Guide to Questionnaire Design*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers; 1982.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-144-166

Techniques for communication repair in the standardized telephone interview*

A.A. Ipatova, D.M. Rogozin

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Prechistenskaya Nab., 11-1, Moscow, Russia, 119034
(e-mail: ipatova_anna@mail.ru; nizgor@gmail.com)

Abstract. It is hardly possible to conduct a standardized interview in ideal conditions for it is a part of everyday interactions. Therefore, deviations from standardization, bias and mistakes in communication are the realities of public opinion polls. Key biases in information transfer are mainly determined by the characteristics of the respondent (age, sex, education, social status, etc.) and his behavior. However, the interviewer behavior is also important which explains the attention of methodological works to the interviewer effect, his actions and attitudes that lead to serious mistakes in measurement or recruiting. In verbal interaction, the interviewer can explain survey questions in his own way, comment or clarify responses. Standardization can also be violated by other circumstances such as interruptions in telephone network, intervention of third parties, technical problems (software malfunction), structure of the questionnaire and so on. Thus, there are three main sources of measurement error in the standardized interview: respondent, interviewer, and context. The qualified and experienced interviewer more successfully identify problems and find ways to solve them and repair communication. The article presents examples of such ways from the database of transcripts of three RDD ACATI surveys conducted by the Laboratory for Social Research Methodology of the Russian Presidential Academy for National Economy and Public Administration in 2017 to identify key types of successful interviewer decisions. They are considered in three dimensions: adequate responses, communication and standardization. Thus, successful interview is not just a completed questionnaire but also relevant answers, informed consent and positive emotional attitude.

Key words: standardized interview; telephone interview; bias; interviewer effect; repair; CATI; person-to-person interaction

* © A.A. Ipatova, D.M. Rogozin, 2019.
The article was submitted on 17.09.2018 г.



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-167-174

Ten years of historical sociology in Prague: A new perspective branch of Czech sociology*

N.P. Narbut

RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia)
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, Russia, 117198

Federal Research Sociological Center of Russian Academy of Sciences
Krzhizhanovskogo St., 24/5-5, Moscow, Russia, 117218

(e-mail: narbut-np@rudn.university)

Abstract. About ten years ago, a new theoretical branch appeared in Czech sociology — historical sociology. The first step and prerequisite for its development was publication of the impressive collective monograph *Historical Sociology: Theory of Long-Term Development* (edited by J. Šubrt) including works of famous Czech social scientists (P. Machonin, M. Petrusek, J. Musil, M. Hroch and others). The concept of historical sociology curriculum appeared in 2007, its form gradually developed in the discussions of J. Šubrt, J.P. Arnason (La Trobe University), M. Havelka (Charles University) and W. Spohn (University of Wrocław). In 2008, its accreditation documents were prepared under the guidance of J. Šubrt, and it was included in the academic year 2009/2010 schedule. At the same time, at the Faculty of Humanities of the Charles University the Department of Historical Sociology was founded. Until now, there are Master's and PhD programs in Historical Sociology in Czech in the form of regular daily and combined (distance) studies. In the academic year 2012/2013, a doctoral studies program was also opened, and both programs — Master's and PhD's — started in English. The article considers the decade-long development of historical sociology in the Czech Republic focusing on the research and study programs at the Faculty of Humanities of the Charles University. The author explains how historical sociology is defined and developing in the Czech Republic, emphasizing its research traditions and current interests. The article pays particular attention to the topics and representatives of historical sociology mentioning the importance of its publications — both monographs and the journal established in 2009. To conclude, the author summarizes the results of the current stage of the development of Czech historical sociology, its challenges and risks, hopes and perspectives. Ten years is usually a very short period for any science but for Czech historical sociology they became a period of significant results.

Key words: historical sociology; theory; research; curriculum; social system; social processes; social change; collective memory

* © N.P. Narbut, 2019.

The author is deeply grateful for help to the colleagues from the Department of Historical Sociology of the Faculty of Humanities of the Charles University.

The article was submitted on 19.09.2018.

According to the accreditation document on the website of the Charles University, the curriculum of historical sociology program aims at research activities and professional training of students focusing on long-term development processes and trends especially those that significantly affect the life of contemporary societies. These are mainly issues of social change and modernization, continuity and discontinuity, globalization, integration and disintegration, religious and cultural pluralities, opportunities and risks of social development [11]. According to the accreditation document, historical sociology is not just a combination of history and sociology or an interdisciplinary integration of historical and sociological approaches. Historical sociology is a research program studying historical spatially-temporally determined social reality: it combines theory and research methodology, conducts analysis of the present and near and distant past, thus, presenting an interdisciplinary theoretical-methodological perspective applied in both fundamental and specialized research to explain long-term social processes and differences and similarities of social phenomena in different historical periods.

The authors of the historical sociology curriculum at the Faculty of Humanities developed it to avoid narrow branch orientation. It is not a study based on one theory or method, it is rather a theoretical multi-paradigm based on the plurality of methodological approaches [58; 61]. In its theoretical part one can find elements of many disciplines — history, political science, economics, and anthropology. The curriculum of the Master's studies can be divided into three blocks: the theoretical-historical block consists of courses on the general concepts of historical sociology and civilizational analysis, on the perspectives of historical sociology in relation to the issues of knowledge, culture, religion, nationalism, economy, politics, international relations, democracy and everyday life. The methodological-research block introduces basic approaches of sociological-historical methodology, methods and techniques of both quantitative and qualitative analysis in the archival research. The third block is selective and focuses on (a) modernization and social change, (b) historical sociology of politics and international relations, (c) cultural history and sociology of leisure [61]. Such a program is to prepare graduates for their future professional work in both academic and practical fields, i.e. to train competent specialists with a wider outlook, good expertise and skills.

Another feature of historical sociology at the Faculty of Humanities is its personnel's efforts to strengthen international cooperation in the field of research and teaching. Over the last ten years, many foreign scientists — W. Spohn, D. Sayer, M. Maslowski, H. Staubmann, D. Smith, D. Kaesler, M. Abraham (President of the International Sociological Association) and others — visited the Department of Historical Sociology.

Over the last four decades, historical sociology has evolved globally. Thus, a good overview of the development of historical sociology in Russia is presented in the *Historical Sociology in Russia* by N.V. Romanovskiy [45], an author of the book *Istoricheskaya sotsiologiya* (Historical Sociology) [44] published in Moscow. According to J. Šubr [63], historical sociology has its own classics (M. Weber, N. Elias, etc.) and prominent scholars today (Sh. Eisenstadt, Ch. Tilly, Th. Skocpol, M. Mann, E. Wallerstein, etc.). It also has its journals (*Journal of Historical Sociology* established in 1988;

the Czech journal *Historická sociologie* [Historical Sociology] established in 2009), expert forums and conferences; it is represented in the International Sociological Association (Research Committee 56); it has extensive book production [1; 6; 10; 28; 46; 48; 49; 65; 66]. Historical sociology today is a very diverse and internally differentiated field striving to develop a general theory instead of the current range of theories moving in different directions, and to conduct more empirical studies. In 2009, the position of historical sociology in the Czech Republic was recognized; in a short period of time several important monographs were published [3; 4; 15; 17; 19; 22; 34; 57; 59]; it is presented in the Masaryk's Czech Sociological Association (Section of Historical Sociology); it has its journal and department at the Faculty of Humanities of the Charles University.

According to J. Šubr [63; 64], historical sociology has roots in the very beginning of sociology — already in Comte's theory of social dynamics, then in the works of K. Marx, H. Spencer, E. Durkheim, M. Weber, and other scholars of the second half of the 19th — early 20th century (the same applies to Czech sociology, its founding fathers T.G. Masaryk, E. Chalupný and I.A. Bláha). However, in the first half of the 20th century, the idea of interconnection of history and sociology was abandoned, and sociology defined itself as a science of contemporary societies leaving the past for historical science. Nevertheless, there were some exceptions such as P. Sorokin's *Sociocultural and Cultural Dynamics* [50], N. Elias's *The Civilization Process* [12], some ideas and works of T. Parsons [39] and his colleagues (R.N. Bellah, N. Smelser, and S.M. Lipset).

What is known today as new historical sociology [51] is the western concept represented mainly by the work of B. Moore [36] and his followers — Th. Skocpol [48] and Ch. Tilly [57] who were primarily interested in armed conflicts, revolutions and wars [see also: 21]. The second important orientation is analysis of the world system by I. Wallerstein [68] based on the Marxist path-dependency theory. The third orientation is civilizational analysis developed by Sh.N. Eisenstadt [11], the Czech-born sociologist J. Krejčí [25] and J.P. Arnason [2].

Historical sociology at the Faculty of Humanities of the Charles University recognizes this tradition and aims at developing it. At the same time, it is open to new themes, for instance, J.P. Arnason [3; 4] focuses on the civilizational analysis. At the beginning, in historical sociology there were two leading figures of then-Czech sociology — M. Petrušek [40; 41] and J. Musil [37]. J. Šubr considers theoretical-methodological problems of historical sociology [63; 64], N. Elias's civilizational theory [55], issues of social and historical time [56], historical consciousness and collective memory [33; 60]. M. Havelka [15] develops historical sociology of knowledge and religion, B. Šalanda — historical sociology of everyday life [34], J. Štemberk [52; 53] studies issues of economic development, mobility and tourism, K. Černý [8; 9] — development of the Islamic world, A. Marková [30; 31] — the past and present of post-Soviet space, A. Kumsa [26; 27] — conflicts on the African continent, M. Německý [38] — political processes and functional analysis. Thus, such a small team of the Department of Historical Sociology covers a broad range of themes.

One of the key issues for the Department of Historical Sociology is collective memory. This research was supported by several grants and resulted in many publications

in Czech, English, Russian and Belarusian, and the collective monograph *Collective Memory: On Theoretical Issues* [25] that identified theoretical concepts and methodological approaches (M. Halbwachs, P. Nora, P. Ricoeur, A. Assmann, J.C. Alexander, etc.) to study collective memory. J. Šubr contributed to the research by his own concept ‘historical consciousness’ as a combination of four elements: personal or interpersonal historical experience; ideology, especially state ideology for political regimes introduce ideological interpretation of history for the aims of their legitimation; knowledge produced by historiography and historical science; and collective cultural-historical memory, i.e. various manifestations of culture reflecting the past in a variety of ways [60].

Another internationally important contributions — the book by J. Šubr *The Perspective of Historical Sociology: The Individual as Homo-Sociologicus Through Society and History* [64], who is well-known to Russian readers by many articles and the book *Historical Processes, Social Change, Modernization in Sociology* published by the RUDN University [63]. The English book consists of seven chapters in which the author presents his ideas on historical sociology as a discipline. He begins with a search for answers to the question of how to define historical sociology and relationship between history and sociology and continues with time frames and various concepts of social change. The book is based on the classical sociological works (by O. Comte, M. Spencer, K. Marx, M. Weber and E. Durkheim), theories of structuralism, functionalism and systems approach (K. Lévi-Strauss, M. Foucault, T. Parsons, R.K. Merton, L.A. Coser, R. Dahrendorf, N. Luhmann, and I. Wallerstein). Particular attention is paid to the civilizational analysis in both monistic (N. Elias) and pluralistic versions (J. Krejčí, Sh.N. Eisenstadt), and to modernization processes such as modern nationalism (M. Hroch, E. Gellner), totalitarian trends (H. Arendt, K. Popper, R. Aron), revolutions and violent conflicts (B. Moore, Th. Skocpol, Ch. Tilly, M. Mann), transition from the first to the second modernity (D. Bell, Z. Bauman, A. Giddens, U. Beck, etc.). The final part of the book presents a historical-sociological interpretation of human life and explains the influence of prominent personalities on history and society (G.V. Plekhanov’s idea of “the role of the individual in history”).

What is most likely to affect the further development of historical sociology is the journal of Historical Sociology established in 2009 and headed by B. Šalanda. With two issues annually, first it was published in Kolín by the Independent Centre for Policy Studies, and from 2012 by the Karolinum Press of the Charles University. In 2016, the journal was accepted into the Scopus database; its articles are published in Czech and English and are in open access on the journal website [7]. The thematic structure of the journal is rather broad and diverse but with four basic clusters: 1) analysis of historical phenomena/events and their influence on social development (for example, “The unimaginable revolution: 1917 in retrospect” by J.P. Arnason or “The First World War and the population of the Czech lands” by L. Fialová); 2) issues of regional history, memory and identity (for example, the article by S. Kreisslová and V. Jaroš “German past Czech borderland in the historical consciousness of the population of Karlovy Vary Region” or “Cornerstones of Breton regionalism, its emergence and development until 1914” by M. Reiterová); 3) studies on theory and methodology (for example, “Historical socio-

logy in Russia” by N.V. Romanovskiy or “Homo sociologicus and the society of individuals” by J. Šubrt); 4) works on the contribution of prominent authors to the historical-sociological tradition (for example, “Violence control and the civilization of intimacy: Remarks on Norbert Elias” by M. Hadas, “Universal rationalization: M. Weber’s great narrative” by D. Kaesler or “Theory and practice. The establishment of sociology in the Czech environment by T.G. Masaryk” by V. Kozák).

Recently, two issues have been published by guest editors in English. In 2015, J.P. Arnason and N. Maslowski focused on key issues of historical sociology and published works by foreign contributors: M. Maslovski — “The soviet model of modernity and Russia’s post-communist political transformation” [32]; B. Strath — “The nineteenth century revised: Towards a new narrative on Europe’s past” [54]; P. Wagner — “From domination to autonomy, two eras of progress in world-sociological perspective” [67]. In 2018, J.P. Arnason published a monothematic block dedicated to the French Revolution and including, for instance, works by D. Inglis — “Is it still too early to tell? Rethinking sociology’s relations to the French Revolution” [20] and I.A. Reed — “Power and the French Revolution: Toward a sociology of sovereignty” [42].

Thus, the article summarizes results of the ten-year development of historical sociology at the Faculty of Humanities of the Charles University in Prague, which prove a success beneficial not only for Czech sociology but to some extent for international social studies. A general feature of Czech sociology — and to some degree of historical sociology too — is that its representatives focus on certain narrow topics, which is rather a rational strategy for individual scientific work. However, contemporary Czech sociology in general and historical sociology in particular still lack united efforts for the comprehensive analysis of the past and present of the Czech society. Moreover, despite its obvious successes Czech historical sociology faces serious challenges such as a shortage of students and funding for research projects (both challenges are typical for sociology in general). Ten years is a very short period for any science but regarding its results for Czech historical sociology they became a period of significant results, that is why one cannot but wish Czech colleagues further scientific successes in the next decade.

References

- [1] Abrams Ph. *Historical Sociology*. Shepton Mallet; 1982.
- [2] Arnason J.P. *Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions*. Leiden; 2003.
- [3] Arnason J.P. *Civilizační analýza: Evropa a Asie opět na rozcestí*. Praha; 2009.
- [4] Arnason J.P. *Historicko-sociologické eseje*. Praha; 2010.
- [5] Arnason J.P., Maslowski N. Situating historical sociology. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2015; 7 (2).
- [6] Bühl W.L. *Historische Soziologie: Theoreme und Methoden*. Münster; 2003.
- [7] Časopis *Historická sociologie*. <https://historicalsociology.cuni.cz>.

- [8] Černý K. *Svět politického islámu: Politické probuzení Blízkého východu*. Praha; 2012.
- [9] Černý K. *Velká blízkovýchodní nestabilita: Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950—2015*. Praha; 2017.
- [10] Delanty G., Isin E.F. (Eds.) *Handbook of Historical Sociology*. London; 2003.
- [11] Eisenstadt Sh.N. (Ed.) *The Origins and Diversity of Axial Age Civilisations*. New York; 1986.
- [12] Elias N. *The Civilizing Process: The History of Manners, State Formation and Civilization*. Oxford; 1994.
- [13] Fialová L. První světová válka a obyvatelstvo českých zemí. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2014; 6 (2).
- [14] Hadas M. Violence control and the civilization of intimacy. Remarks on Norbert Elias' sociology. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2017; 9 (1).
- [15] Havelka M. *Ideje-Dějiny-Společnost: Studie k historické sociologii vědění*. Brno; 2010.
- [16] *Historická sociologie (prezenční a kombinovaná forma)*. <https://fhs.cuni.cz/FHS-1541.html>.
- [17] Holubec S. *Sociologie světových systémů: Hegemonie, centra, periferie*. Praha; 2009.
- [18] Homolka J. *Koncept racionální civilizace*. Praha; 2016.
- [19] Hroch M. *Národy nejsou dílem náhody*. Praha; 2010.
- [20] Inglis D. Is it still too early to tell? Rethinking sociology's relations to the French Revolution. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2018; 10 (1).
- [21] Kaesler D. Univerzální racionalizace: Velké vyprávění Maxe Webera. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2018; 10 (2).
- [22] Kalenda J. *Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza*. Olomouc; 2014.
- [23] Kozák V. Teorie a praxe. Etablování sociologie v českém prostředí T.G. Masarykem. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2018; 10 (2).
- [24] Kreisslová S., Jaroš V. Německá minulost českého pohraničí v historickém vědomí obyvatel Karlovarského kraje. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2017; 9 (2).
- [25] Krejčí J. *Postižitelné proudy dějin: Civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a státy*. Praha; 2002.
- [26] Kumsa A. Agrarian question and its impact on the development of Ethiopia. *RUDN Journal of Sociology*. 2017; 17 (3).
- [27] Kumsa A. South Sudan struggle for independence, and its implications for Africa. *RUDN Journal of Sociology*, 2017; 17 (4).
- [28] Lachmann R. *What is Historical Sociology?* Cambridge; 2013.
- [29] Mann M. *The Source of Social Power*. Vol. 1—4. Cambridge—New York; 2012—2013.
- [30] Marková A. *Sovětská bělorusizace jako cesta k národu: iluze nebo realita?* Praha; 2012.
- [31] Marková A. *Shliach da saviieckai nacyii. Palityka bielarusizacyii, 1924—1929*. Minsk; 2016.
- [32] Maslovskiy M. The soviet model of modernity and Russia's post-communist political transformation. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2015; 7 (2).
- [33] Maslovskiy N., Šubrt J. a kol. *Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám*. Praha; 2014.
- [34] Maslovskiy N., Šalanda B. *Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie*. Praha; 2017.
- [35] Mrázek J. *Svět očima Samuela P. Huntingtona: Pohled z historickosociologické perspektivy*. Praha; 2014.
- [36] Moore B. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. London; 1967.
- [37] Musil J. Gellnerova filosofie dějin — interpretace a problémy. Šubrt J (Ed.) *Historická sociologie*. Plzeň; 2007.
- [38] Německý M. *Co drží společnost pohromadě? Pojetí societární komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreya Alexandera*. Praha; 2015.

- [39] Parsons T. *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives*. New Jersey; 1966.
- [40] Petrusek M. Od Třetího Říma ke „konci dějin“: Ruská filosofie na pomezí sociálních věd a literatury. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2009; 1 (1).
- [41] Petrusek M. Orwellův svět v roce 2009. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2010; 2 (1).
- [42] Reed I.A. Power and the French Revolution: Toward a sociology of sovereignty. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2018; 10 (1).
- [43] Reiterová M. Základní kameny bretonského regionalismu. Jeho vznik a vývoj do roku 1914. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2018; 10 (2).
- [44] Romanovskiy N.V. *Istoricheskaya sotsiologiya*. Moskva: Kanon+. 2009.
- [45] Romanovskiy N.V. Historical sociology in Russia. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2018; 10 (1).
- [46] Schützeichel R. *Historische Soziologie*. Bielefeld; 2004.
- [47] Skocpol Th. *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China*. Cambridge; 1979.
- [48] Skocpol Th. *Vision and Method in Historical Sociology*. Cambridge; 1985.
- [49] Smith D. *The Rise of Historical Sociology*. Philadelphia; 1991.
- [50] Sorokin P.A. *Social and Cultural Dynamics*. New York; 1937—1941.
- [51] Spohn W. Neue Historische Sociologie. Charles Tilly, Theda Skocpol, Michael Mann. D. Kaesler (Ed.) *Aktuelle Theorien der Sociologie*. München; 2005.
- [52] Štemberk J. *Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu*. Pelhřimov; 2009.
- [53] Štemberk J. *Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem: K dějinám československé turistiky v letech 1945—1968*. Pelhřimov; 2017.
- [54] Strath B. The nineteenth century revised: Towards a new narrative on Europe's past. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2015; 7 (2).
- [55] Šubrt J. *Civilizační teorie Norberta Eliase*. Praha; 1996.
- [56] Šubrt J. *Problém času v sociologické teorii*. Praha; 2000.
- [57] Šubrt J. (Ed.) *Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů*. Plzeň; 2007.
- [58] Šubrt J. *Oborové studium historické sociologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze*. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*, 2009; 1 (1).
- [59] Šubrt J., Arnason J. P. (Eds.) *Kultury, civilizace, světový systém*. Praha; 2010.
- [60] Šubrt J., Vinopal J. a kol. *Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu*. Praha; 2013.
- [61] Šubrt J. Historical sociology as a study program at Charles University in Prague. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2015; 7 (2).
- [62] Šubrt J. Homo sociologicus and the society of individuals. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2017; 9 (2).
- [63] Šubrt J. *Istorichesky process, socialnyie izmenenia s točki zrenia sociologii* [Historical Process, Historical Changes in the Sociological Perspective]. Moscow; 2017 (In Russ.)
- [64] Šubrt J. The Perspective of Historical Sociology: The Individual as Homo-Sociologicus through Society and History. Bingley; 2017.
- [65] Szakolczai A. *Reflexive Historical Sociology*. London; 2000.
- [66] Tilly Ch. *Coercion, Capital and European States, AD 900-1990*. Oxford; 1995.
- [67] Wagner P. From domination to autonomy: Two eras of progress in world-sociological perspective. *Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy*. 2015; 7 (2).
- [68] Wallerstein I. *The Modern World-System: Vol. 1—3*. New York; 1974—1989.

DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-167-174

Десятилетний юбилей исторической социологии в Праге: новое перспективное направление в чешской социологии*

Н.П. Нарбут

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН
ул. Кржижановского 24/5-5, Москва, Россия, 117218

(e-mail: narbut-np@rudn.university)

Около десяти лет назад в чешской социологии оформилось новое дисциплинарное направление — историческая социология. Первым шагом и предпосылкой для ее становления стала публикация внушительной коллективной монографии «Историческая социология: Теория долгосрочного развития» (под редакцией И. Шубрта), состоявшей из статей известных чешских ученых (П. Махонина, М. Петрусек и др.). Концепция учебного плана новой дисциплины оформилась в 2007 году в дискуссиях И. Шубрта, Дж.П. Арнасона, М. Гавелки и В. Шпона. В 2008 году под руководством И. Шубрта были подготовлены аккредитационные документы новой программы на 2009—2010 академический год. В то же время была создана кафедра исторической социологии на факультете гуманитарных наук Карлова университета, где и сегодня существуют магистерские и аспирантские программы по исторической социологии на чешском языке в очном и дистанционно-очном формате. В 2012—2013 академическом году была открыта докторантура по исторической социологии, а магистерские и аспирантские программы начали читаться на английском языке. В статье представлено развитие исторической социологии в Чехии за последние десять лет, акцент сделан на исследовательской и учебной программах факультета гуманитарных наук Карлова университета. Автор показывает, как историческая социология воспринимается и развивается в Чехии, подчеркивая ее исследовательские традиции и нынешние интересы. Особое внимание в статье уделено представителям и тематике историко-социологических исследований, подчеркивается многочисленность и значимость ее публикаций — как монографий, так и созданного в 2009 году журнала «Historická sociologie» («Историческая социология»). В заключение суммированы результаты развития чешской исторической социологии, ее проблемы и риски, надежды и перспективы. Десять лет — совсем небольшой срок для развития науки, но чешской исторической социологии они дали значительные результаты.

Ключевые слова: историческая социология; теория; исследование; учебная программа; социальная система; социальные процессы; социальные изменения; коллективная память

* © Нарбут Н.П., 2019.

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам кафедры исторической социологии факультета гуманитарных исследований Карлова университета за помощь в подготовке статьи.

Статья поступила в редакцию 19.09.2018 г.



НАШИ АВТОРЫ

Аберра Дегефа Нагаво — кандидат социологических наук, доцент юридической школы Университета Аддис-Абебы (e-mail: kaberra@yahoo.com).

Булатова Татьяна Алексеевна — кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью Томского государственного педагогического университета (e-mail: bulatowa@mail.ru).

Бурак Татьяна Викторовна — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Белорусского государственного университета (e-mail: taburak@mail.ru).

Василькова Валерия Валентиновна — доктор философских наук, профессор кафедры социологии культуры и коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: v.vasilkova@spbu.ru).

Глухов Андрей Петрович — кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Томского государственного педагогического университета (e-mail: GlukhovAP@tspu.edu.ru).

Добринская Дарья Егоровна — кандидат социологических наук, доцент кафедры современной социологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: darya.dobrinskaya@gmail.com).

Жакупбекова Дана Амангельдиевна — старший преподаватель кафедры философии и теории культуры Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (e-mail: dana.tamen@mail.ru).

Ипатова Анна Алексеевна — кандидат культурологии, старший научный сотрудник лаборатории методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: ipatova_anna@mail.ru).

Капишин Александр Евгеньевич — кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: poliarnik@yandex.ru).

Кученкова Анна Владимировна — кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной социологии Российского государственного гуманитарного университета (e-mail: a.kuchenkova@rggu.ru).

Легостаева Наталья Игоревна — кандидат социологических наук, заместитель директора Центра социологических и интернет-исследований Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: n.legostaeva@spbu.ru).

Мартыненко Татьяна Сергеевна — кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры современной социологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: ts.martynenko@gmail.com).

Нарбут Николай Петрович — доктор социологических наук, заведующий кафедрой социологии Российского университета дружбы народов; главный научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: narbut-np@rudn.university).

Попов Михаил Юрьевич — доктор социологических наук, главный редактор журнала «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» (e-mail: popov-52@mail.ru).

Рогозин Дмитрий Михайлович — кандидат социологических наук, заведующий лабораторией методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: nizgor@gmail.com).

Русакова Майя Михайловна — кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной и отраслевой социологии Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: rusakova.maia@yandex.ru).

Темнова Лариса Витальевна — доктор психологических наук, профессор кафедры современной социологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: temnova.larisa@yandex.ru).

Файман Наталья Сергеевна — аспирант Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук (e-mail: nataliafaymann@gmail.com).

Цвык Анатолий Владимирович — кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов (e-mail: tsvyk-av@rudn.ru).

Цвык Галина Игоревна — кандидат исторических наук, заместитель начальника отдела стран Азии департамента по рекрутингу и сопровождению иностранных обучающихся Российского университета дружбы народов (e-mail: tsvyk-gi@rudn.ru).



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В журнале публикуются статьи по методологии, истории и теории социологии, статьи по результатам социологических и междисциплинарных исследований по широкому кругу вопросов социально-гуманитарного знания на русском и английском языках, а также реферативные обзоры и рецензии.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, оформленные в строгом соответствии со следующими правилами:

1. **Объем рукописи** — от 30 до 50 тысяч знаков (с пробелами) для статей, от 12 до 20 тысяч знаков — для рецензий. Формат страницы — А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — полуторный, нумерация страниц не проставляется. Отступ первой строки абзаца — 1,25, поля на странице — 30 мм слева, 20 мм справа, сверху и снизу. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, стоящая после прописной буквы «С», — на номер страницы в источнике (например, [1. С. 26]; ссылка на несколько источников — [1. С. 126; 4. С. 43]). Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).
2. Все **таблицы, схемы, графики и рисунки** встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна.
3. **Формулы** размечаются, поясняются и снабжаются библиографическими ссылками.
4. В рукописях необходимо приводить два списка ссылок на использованные в работе источники — «**Библиографический список**» и «**References**». Ссылки на источники в Библиографическом списке следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; References — в стиле Vancouver в версии AMA. Требования к оформлению Библиографического списка и References приведены на сайте журнала: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. К статье обязательно прилагаются:
 - ◆ **аннотация** (резюме) объемом 250—300 слов на русском и английском языках;
 - ◆ **список 7—8 ключевых слов** на русском и английском языках; каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой;
 - ◆ **авторская справка** на русском и английском языках, где указываются: Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, должность,

ученая степень, а также **данные для связи с автором** — адрес места работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, мобильный), электронный адрес; в статье **допускается не более четырех соавторов**.

Решение о публикации выносится в течение четырех месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материалы, не принятые к изданию, не возвращаются. Редколлегия не вступает с авторами в переписку в случае отказа от публикации их материалов.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения редколлегии.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редколлегии.

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно ознакомиться на сайте журнала в сети Интернет: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

Для отправки статьи в редакцию необходимо заполнить форму на сайте журнала <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, где также приведена подробная информация для авторов.



AUTHORS' GUIDELINES

The journal publishes articles on the methodology, history and theory of sociology, articles on the results of sociological and inter-disciplinary studies covering a wide range of issues in social sciences and humanities written in Russian and English, as well as brief surveys and book reviews.

The editors will consider articles strictly complying with the following standards:

1. **The size of the manuscript** — from 30 to 50 thousand symbols for articles; from 12 to 20 thousand symbols for reviews. References are to be given in the text in square brackets, inside of which the first figure indicates the number of the source in the references list, the second one, following the capital letter “P”, indicates the page number in the source (for example, [1. P. 126]; references to several sources — [1. P. 126; 4. P. 43]). References to footnotes are to be given in round brackets, for example, (1).
2. All the **tables, diagrams, graphs, and drawings** are to be incorporated in the text of the article. They are to be numbered and supplied with a title. Tables are to be given a title placed above the table, drawings are to have captions. When several tables and/or drawings are used in the article, their numeration is obligatory.
3. **Formulas** are to be marked out, explained and provided with references.
4. The manuscript must include a list of references submitted in accordance with the Vancouver style of the AMA version. Requirements to ‘References’ can be found on the journal’s website: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. **It is obligatory to attach** the following to the manuscript:
 - ◆ **abstract (summary)** of 250—300 words in Russian and English;
 - ◆ **a list of 7—8 key terms** in Russian and English; each key term or word-combination is to be separated from another one with a semicolon;
 - ◆ **information about the author** in Russian and English, including: the author’s full name, the official name of the place of employment, position, scientific degree, as well as **the author’s contact data** — mailing address, telephone number (office, mobile), electronic address; **the number of co-authors cannot be more than four**.

The decision as to publication is made within four months from the day the manuscript is registered at the editorial office. Materials which are not accepted for publication will not be returned. The editors will not enter into correspondence with the authors in case of refusal to publish the articles submitted by them.

The authors will bear full responsibility for the selection and authenticity of the given facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, geographical names and other information.

The published materials may not reflect the viewpoint of the editorial board and the editors.

The author, submitting a manuscript to the editors, undertakes not to have it published, either in full or partially, in any other publication without the editors’ consent.

The published issues and abstracts of the articles are available on the website of the journal: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

To send the article to the editors the author need to fill in a form on the website <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, which also provides the detailed information for authors.